

история / география / этнография

Торвальд Странник



Ауртни Бергманн

Торвальд Странник



Ауртни Бергманн

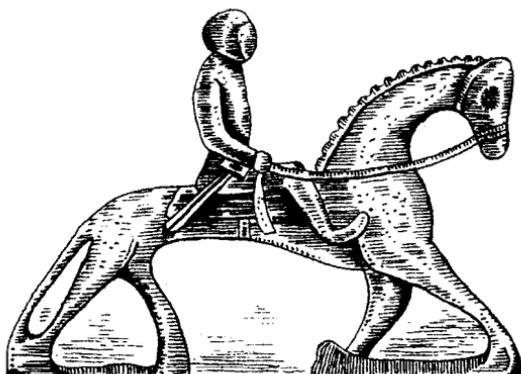


Ломоносовъ



Ауртни Бергманн

Торвальд Странник



Издательство «Ломоносовъ»
Москва • 2015

УДК 82-3
ББК 63.3(0)4
Б48

*Издание подготовлено
при поддержке Исландского литературного центра*



MIÐSTÖÐ ÍSLENSKRA BÓKMENNTA
ICELANDIC LITERATURE CENTER

Перевод с исландского Ольги Маркеловой

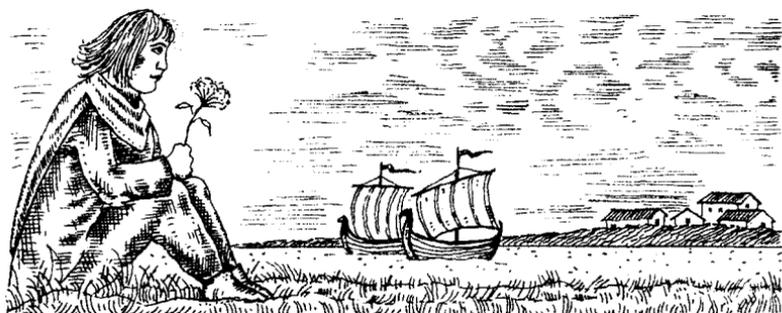
Иллюстрации Ирины Тибилевой



Scan by Greego

© Árni Bergmann
© Ольга Маркелова, перевод, 2015
© Ломоносовъ, издание на русском языке, 2015

ISBN 978-5-91678-275-2



Глава 1

На окраине мира

Мир был совсем другим — и все же похожим сам на себя. Солнце вставало по утрам и раскидывало свои лучи во все стороны — а мрак окутывал людские сердца; овцы щипали траву — а люди вели войны за земли и пастбища; птицы подносили новые соломинки к строящимся гнездам — а люди подносили зажженный факел к дому своего ближнего; цветы вверяли свою жизнь черным жукам; дети сосали материнскую грудь и не знали, что их ждет впереди.

Исландия вознеслась из безбрежного океана, она находилась на окраине мира — дальше на север были только мертвые льды и морозный туман. Остров был уже по большей части освоен, и хотя тюлени все еще радостно выплывали навстречу кораблям, птицы уже сделались пугливыми. Отчизна была свободна и прекрасна*, но никого это особенно не волновало. Когда люди обращались к Óдину** за советом, он

* Скрытая цитата из известной исландской патриотической песни.

** Верховный бог в германо-скандинавской мифологии.

посылал воронов летать по мирам и узнавать новости и поэтому казался всеведущим, но все равно на всякий случай старался отвечать туманно. Жизненная сила, мощь и плодovitость были заключены в молоте Тора* и в уде Фрейра**. Дружбу и поддержку этих двух приятелей можно было завоевать, окропив их пьедесталы кровью, а кто не хотел этого, тот брал себе в заступники духа, обитавшего в ближайшем валуне, заключал с ним союз и всячески улещивал его — ради собственной выгоды.

Вопросы, на которые не сыщешь ответ, уже давно возникли и прозвучали на юге — там, где города воздвигались на руинах других, более древних городов и где, представьте себе, были дома, полные книг. А здесь, на окраине мира, такие вопросы появлялись лишь в виде неясных, хотя и притягательных подозрений, которые ведомы были немногим, да и те гнали их прочь, когда приходила пора приступить к жизненно необходимым занятиям: дом возводить, забор городить, коней объезжать, за плугом шагать, сараи ставить да резать дерн***.

Это было время, когда никто еще не выбрал для нас события, которые мы обязаны будем чтить — или забыть. И все больше становилось тех, кто нес за плечами истории, которые все как одна могли произойти с предыдущим поколением, но с таким же успехом могли быть подняты из глубины реки времен; эти истории вобрали в себя влагу веков, и никто не знал, что было раньше, а что позже. Одно лишь было известно точно: что зиму испокон веков сменяет лето.

Тогда каждый знал поименно всех своих соседей, их отцов и дедов, их коней и волов, порой даже и собак, — а в Африке все еще бегали безголовые люди с глазами на плечах, в Азии — одноножки, приходящиеся своим детям одновременно матерями и отцами, а на берегах Белого моря — великаны, пожирающие своих родителей; а убивали они их тогда, когда те были в теле, потому что если старики умирали тощими — это позор... Иные люди ходили в далекие путешествия и узнавали, что в воздухе, чуть повыше земли, чуть пони-

* В германо-скандинавской мифологии бог грома и бури.

** В германо-скандинавской мифологии бог плодородия.

*** Скрытая цитата из эдической «Песни о Риге».

же небес, есть дивный сад Парадиз. А в нем источник жизни, глубина которого непостижима уму. И растет там древо жизни, старым и малым на благо. И ни листва, ни трава там никогда не вянет. И нет там ни ночи, ни мрака. И погода там всегда тихая, и в воздухе благорастворение. И всякую вещь там объемяют свет и красота. И каждому там дается то, чего он желает. И несть там ни злости, ни зависти, ни ненависти, ни голода, и пища, сладкая как мед, сама течет в рот и не становится в человечьем желудке нечистотами. И вход туда никому не дозволен — и все же есть такие, кому кажется, будто они там побывали.

Все это должен бы знать Дух истории, за которым мы следуем в своем рассказе. Но он робеет, потому что догадывается о большем, чем может понять. А в то же время настроение у него легкое и шаловливое — как всегда перед отправлением в путь через горы времени, — ибо он свято верит в свою удачу и неутомимость.

Глава 2

Зов

Эта история не похожа на другие рассказы о Торвальде Страннике. И вряд ли кто-то подтвердит под присягой, что все случилось в точности, как рассказано здесь. В конце концов, никто не может в одиночку рассказать обо всем, никто не знает ничего, кроме того, что сам узнал; память рассказчика коротка, как и его ноги. Никому не вычерпать моря, никому не узнать больше, чем он представляет сам.

Бонда с хутора Гиль-ау (Ущельного) в Озерной долине звали Кодран Эйливссон. Жену его звали Йарнгерд. И было у них двое сыновей — Орм и Торвальд; Торвальд на момент начала нашего рассказа прожил двенадцать зим. Кодран был силен, упорен, добычлив, но также угрюм и жаден, и все знали: хорошего от него не жди. Орм в пятнадцать лет не уступал иному взрослому, черты лица у него были грубые, поступь тяжелая, а ходил он, наклонив голову, словно не доверял земле, носящей его. Торвальд же был красивым юношей, голубоглазым, проворным и быстрым в движении



ях; казалось, часто он не знал, куда себя деть; он не был похож на других жителей Гиль-ау. Кодран считал этого своего сына неудачным.

Как-то поздним летом поутру Кодран по обыкновению занял своих домочадцев работой; каждый принялся за свое дело; никто не ожидал, что этот день будет чем-нибудь отличаться от всех прочих. Орм собирался отправиться с отцом увязывать сено во вьюки; у него хорошо получалось угадывать желания отца до того, как тот облакал их в слова. Кодрану это было по нраву, ведь он не любил спрашивать других, чего им хочется. У Орма были молодой конь и тесак; он ездил с Кодраном всюду и во всем подражал ему. Он перекинул через плечо веревку, бросил взгляд на Торвальда и высокомерно вздернул нос, словно давая понять, что для него самого все дороги открыты, и все его желания всегда будут исполнены.

«А чем сегодня займется Торвальд?» — спросила Йарнгерд.

«Пригонит лошадей из долины. А будет долго возиться — схлопочет», — ответил Кодран. На Торвальда он не смотрел, просто бормотал будничным тоном, давно уже смирившись с тем, что мальчишка никудышный работник.

Мать Торвальда быстро взглянула на него, словно хотела что-то сказать, да не собралась. Она вообще почти никогда ничего ни о ком не говорила, ни хорошего, ни худого, никогда не улыбалась, и мальчик видел ее редко: она всегда была где-то за дверью, за перегородкой, и все же никогда не уходила слишком далеко.

«Брингвет», — позвала она.

Брингвет положила Торвальду в котомку хлеб и сыр и проводила его до выхода. Свет, льющийся снаружи, обьял ее, и мальчик увидел, как она легка и стройна. Его пальцы не могли оставаться спокойными — он тихонько тронул ее волосы: рыжие, густые, пахнувшие сеном и летним солнцем. Она с улыбкой взглянула на него и легонько шлепнула по пальцам.

Брингвет была ирландкой. Она почти не разговаривала ни с кем на хуторе, кроме Торвальда. А еще они с ним хорошо умели молчать вдвоем. У нее не было своих детей — а ему иногда казалось, что у него нет матери.

Они вышли из дому и посмотрели на небо. Южный ветер дул своим разгоряченным ртом в лицо северному ветру, и тот предпочел затихнуть; день ожидался погожий, а вечер — безветренный. Как и вчера, и позавчера, и прошлым летом — взгляд Брингвет скользил мимо горной вершины, нависшей над хутором как топор, она смотрела на горы и пустоши на юге, словно ожидала, что из той стороны покажется ее знакомый верхом на коне. Что приедут ее друзья и родичи, проделавшие далекий путь под сияющим знаменем Пославшего их, Того, кто создал большие светила, Того, Кто одолел множество народов и лишил жизни могущественных царей и Кто непременно отыщет Свою дочь даже на самом далеком берегу и отнесет домой на Своих сильных ладонях и вытянутых руках.

«Le cúnamh Dé, le cúnamh Dé...»*

Торвальд терпеливо ждал, пока ее мысли вернутся из странствия по мирам надежд, где можно уповать на Господню милость. Потом он сказал:

«Брингвет, у тебя глаза как у коровы».

Она засмеялась, но не радостно.

«Ты говоришь больше, чем знаешь, Торвальд! У нас с Буренкой все отняли...»

Отчего Торвальд был таким? Иногда — ребячлив не по возрасту, иногда — мудр, словно прожил долгую жизнь. Брингвет не могла это объяснить. Никто не в силах объяснить, в силу каких причин рождаются такие мальчики — ни в давно минувшие века, ни сейчас. Никто не знал, отчего Торвальд не срывал цветов на своем пути — как не хотел бы нарочно резать собственные пальцы, — ни почему он щадил мух и вредных насекомых и не хотел сталкивать камень со склона, чтобы тот не побил и не расколол другие камни. А еще он долго с сожалением вспоминал, как однажды разбил сверкающий ком снега, похожий на птицу, шепетавшую на ледяной глыбе в устье залива Хунафлоуи по весне: ведь рушить нельзя ничего. И все же случалось, что этого мальчика охватывало неистовство — разжигало в его голове пожар и отнимало у него рассудок.



* «Бог даст, Бог даст...» (ирл.)

История каждого человека сплетается из двух нитей: мы видим, откуда тянется первая, худо-бедно понимаем, куда она ляжет в ткани; а начало и путь второй скрыты от нашего разума — но именно она делает всю историю ровно настолько необычной, что она становится достойной записи.

Торвальд отправился вверх по ущелью, давшему имя реке и хутору; тропа вела вверх по склону, а потом в Овечью долину (еще ее называли Узкой), где, вероятнее всего, и надо было искать лошадей. Но он замешкался в зарослях кустов. Не оттого, что они были густыми: если б он захотел, ему была бы потеха — продирается через них. Но сейчас произошло то, что иногда происходило и раньше: он застыл, наблюдая, как травинки и ветви принимают дуновение ветерка и стряхивают капли росы, которые становятся серебром на солнце в тот миг, когда растаются с листом или травинкой, — и его глазам хотелось собрать это серебро, пока оно не упало и не рассыпалось...

Из-за этого лошади Кодрана получили отсрочку; Торвальд знал, где может наткнуться на них. Река, как всегда, напоминала о себе ропотом, но это неспешное заклинание никогда не могло наскучить мальчику, оно всегда влекло его к себе. Заклинание воды, которая в бочагах и омутах дремлет, а на стремнинах — ярится, на слух кажется всегда одинаковым. Но если прислушаться повнимательнее, оно каждый раз новое — по крайней мере так кажется тому, кто сам еще настолько молод, что мир для него всегда нов. Торвальд сбежал вниз по каменистому склону, едва коснувшись его. Он зашел в верховья ущелья и запрыгал с камня на камень, не зная, где останутся его ноги. Он перелезал через валуны, недавно скатившиеся с горы, сгибался под уступом, нависшим над рекой в том самом месте, где она поспешно принимала в себя еще один ручей. И вот он дошел до ущелья.

Ущелье представляло собой огромное здание — одно из тех зданий, что не могло быть возведено руками человека; храм, который вода и ветра начали украшать гораздо раньше, чем помнят птицы. Отвесные стены не давили на вошедшего сюда — высоко-высоко над ними развернулся голубой полог небес, самый вид которого вселял в сердце радость. И не

важно, что скальные ворота, сквозь которые Торвальд вошел сюда, были точь-в-точь как два разинувшие пасти тролля, серые и морщинистые, слепыми глазами следящие за человеческим дитятей, чтобы заграбастать его в свои лапы. Торвальд шел вперед, и стены становились все глаже и красивы цветом, а в стенах были ниши — в них можно было спрятать что-нибудь до будущих времен. В самой глубине виднелся белый водопад; он пел свою песню при ярком освещении, и в лучах света была дуга, которую воздвиг Бог в знак данного им обещания защитить людей от уничтожения. Разумеется, мальчишке Торвальду это не могло прийти в голову, но когда он потом, много времени спустя, вспоминал этот час, ему казалось, будто он уже тогда знал, что значит радуга. А позади радуги, сбоку от водопада, там, где ущелье расширялось изящными каменными арками, солнце и водяная пыль вместе сплели зеленый покров, расстелили его на утесе и разложили на нем цветы: синие, желтые и белые.

Чем больше Торвальд смотрел вокруг, тем больше забывался. Он стал бесконечно мал под этим небом, между этими скалами — а в то же время таким большим, каким не смог бы стать сам по себе. Все было близко ему — и ново, и ясно, и восхитительно значимо, каждый камень, каждый клочок мха, каждая капля воды и каждая тень.

Через много лет Торвальд попробовал рассказать обо всем этом, но, как, наверно, любой, кто хочет поведать о чем-то очень важном, он не смог подобрать слов. Познавшие Великую Сопричастность не способны отчитаться в этом. И не важно, насколько велико их стремление рассказать все в точности, насколько хорошо они искушены в стихосложении или знании Священного Писания — слова, выходя из их уст, тотчас свертываются, подобно молоку, заражаются какой-то необъяснимой фальшью, независимо от того, насколько искренни они были, когда вытекали из сознания и ложились на язык. И значат они уже не то, что должны значить, а слишком мало — или слишком много. Поэтому наивысшая радость и наигорчайшее горе человека всегда ищут прибежища в молчании.

Торвальд увидел, как зеленый покров разделяется на отдельные нити, а из них иные меняют цвет и сплетаются в дрожащие узоры, создавая изменчивый образ. Это была



женщина в зеленом плаще, расшитом золотом, и красной котте*. Подняв руку к глазам, она смотрела на него мягко, с безграничной добротой. Радуга была ее волосами. Он и видел, и не видел ее в брызгах водопада, он слышал и не слышал ее в шуме воды. Он, скорее, чувствовал ее сердцем; она звала его, а он отвечал, не произнеся ни слова: «Я здесь!»

Глава 3

Я отомщу!

Торвальд очнулся только тогда, когда из глаза тролля позади него выпал камень и раскололся, тяжело ухнув. Он осмотрелся вокруг, словно только что вернулся из далекого путешествия. Тени подбирались к вершинам скал, солнце ушло на покой и забрало с собой радугу. Женщина в зеленом исчезла. Он и понятия не имел о том, как долго простоял в ущелье. Но теперь он не мог уйти отсюда сразу. Он пошел прочь медленно и, когда добрался до края ущелья, так и не вспомнил, зачем его посылали.

Брингвет ждала его за околицей. Она озабоченно покачала головой, увидев, как он приближается один, без лошадей.

«Тебе не светит ничего хорошего», — сказала она.

А он рассказал ей о том, где был и что пережил.

«Твой отец в ярости, — сказала она. — Он тебя изобьет».

«Брингвет, — спросил Торвальд, — что за женщина звала меня в ущелье?»

«Она звала тебя по имени?» — уточнила она.

«Да», — ответил он.

«Она была красива?» — снова спросила она.

«Да», — ответил он.

«Это такая ведьма, которая выходит из озер, увлекает к себе молодых юношей, и они пропадают навсегда, — сказала Брингвет. — Лицо у нее было доброе?»

«Как у тебя», — ответил Торвальд.

«Подумать только!» — произнесла Брингвет.

«Она хотела мне добра», — сказал мальчик.

* Туникообразная верхняя одежда с узкими рукавами.

Они незаметно подошли к дому. Загадка, с которой Торвальд вернулся из ушелья, заставила их забыть о том, что они в мире не одни и что дома их не ждет ничего хорошего. Они уже стояли на пороге, как Брингвет подумала вслух:

«Но может, ты видел ангела Господня. Или, — добавила она и перекрестилась, — самую Матерь Божию».

«Она хочет мне что-то сказать?» — поинтересовался Торвальд.

В тот же миг дверь сарая распахнулась, и оттуда вылетел бонд Кодран, вне себя от гнева. Он схватил Торвальда — «этого дурня, недоумка проклятого; никакого проку от него нет!», — втащил его за порог, потряс и швырнул на пол. А его брат Орм стоял рядом и смеялся. Торвальд увидел занесенный над собой кулак; но прежде, чем отец успел обрушить на него удар, Брингвет встала между ними: «Ты избиваешь своего сына, Кодран? Поднимать руку на слабого — недостойно мужчины!»

Кодран с силой пнул лежащего на полу мальчика — так, что его голова ударилась о колоду и он потерял сознание. А сам вцепился в волосы Брингвет, намотал их себе на руку и рывком притянул к себе, затем прижал ее голову к верстаку и заорал: «А на тебе, кобыла ирландская, я давно верхом не скакал!»

Он рванул ее одежды и натянул ей на голову, достал свой уд, красный и налитый гневом, и резко запихнул ей сзади. Брингвет тихо застонала. Орм подошел поближе, чтобы лучше разглядеть ее белую беззащитную наготу. Он чуть ли не повизгивал от возбуждения и удовольствия: в такой забаве он и сам согласился бы принять участие. Мать Орма и Торвальда вошла в сарай на шум и молча стояла в дверях с равнодушным лицом, будто все это нисколько не касалось ее. Торвальд недолго лежал без чувств; он вскочил на ноги — лишившийся дара речи, ослепший от ярости; гнев удесятирил его силы. Он схватил лежащий на полке нож и бросился к отцу. Но Орм заметил движение брата и ударил его по руке; нож вылетел и воткнулся в балку, дрожа. Пока братья катались по полу, сцепившись, словно псы, пока Брингвет кусала губы, чтобы ничем не выдать, каково ей приходится; пока Йарнгерд закрывала за собой двери, — ярость Кодрана только разгоралась. Кончив, он издал крик — рев самца или



боевой клич, словно только что в одиночку захватил целый боевой корабль и разбил всю дружину.

После этого он отпихнул Брингвет, заправил штаны, вытащил Торвальда из-под Орма, подтащил к дверям сарая и вышвырнул за порог.

Торвальд спрятался за сеновалом; ему казалось, что он больше не сможет жить: едва он узрел дивное видение, возвысившее его надо всем, что он до сих пор видел и знал, как все оказалось брошено в грязь и растоптано. Красота и грубость, радость и жестокость обрушились на него в один и тот же день, и это было бремя тяжелее, чем он мог осилить. Все предали его. Он был зол на всех, а больше всего на собственное бессилие, на незащитность свою и Брингвет.

Поздно вечером он прокрался в дом. Брингвет лежала на кровати, укрывшись с головой. Торвальд сел рядом с ней и осторожно положил руку ей на плечо. Она обернулась и увидела над собой его лицо; один глаз заплыл.

«Ты не голоден?» — спросила она первой.

Нет, он не голоден.

«Какой у тебя жуткий вид...»

Он тряхнул головой: да, его избили — но что с того?

«Я дом сожгу», — проговорил мальчик.

«Это глупо», — ответила она.

«Я лошадям кишки выпущу!»

«А они в чем виноваты?» — спросила она.

«Я убью отца!» — сказал он.

«Ты не причинишь такое сам себе», — сказала она.

Эта мысль показалась ему настолько странной, что он на некоторое время замолчал. Потом произнес решительно:

«Я за тебя отомщу!»

«Иисус Христос, — сказала она, — не для того пришел в мир, чтобы зло порождало зло».

«Иисус? А разве он указ моему отцу?»

«Никто не может мстить, кроме Бога», — сказала она.

«Но твой бог в Ирландии, — ответил он. — И тебя он не слышит».

«Бог — во всем мире», — сказала Брингвет.

«Тогда почему он не придет тебе на помощь?» — спросил Торвальд.

Она замолчала. Ей хотелось бы ответить то, что она усвоила в юности: настанет час, когда Он все исправит. Но эти слова застряли у нее в горле. Скорее, она была готова спросить: Господи, отчего Ты нас оставил? Увы, она не знала, что ответить этому мальчику, который, сам того не ведая, задал самый сложный вопрос. Она стала думать только об этом мальчике: ясном, как солнце, чистом, как вода, и все же бывшем на волосок от того, чтобы шагнуть в кромешный мрак. Днем он созерцал прекрасное видение — может быть, оно послужит им обоим утешением в их горе?

Брингвет отвернулась к стене. Как и много раз прежде, она смотрела на сучок в стропиле, долго не отрывала от него глаз, пока не увидела в сучке очертания деревянного образа, к которому обращала свои молитвы в отцовском дворе в Коннахте. Мария, Матерь Божия, Царица Небесная, благословенная между женами, обрати взор Свой ко мне в моей нужде, одели меня той благодатью, коей Ты окружена, очисти лоно мое от злого семени, посыпь власы мои пеплом, обезобрази мое лицо и выбей мне зубы, чтобы лиходей впредь не мог положить на меня глаз! Saog sinn ó olc. Спаси нас ото зла. Да будет не моя воля, но Его воля. Обрати на этого мальчика Свой милостивый взгляд, сделай так, чтобы он забыл нож и топор, чтобы жажду мести в его душе погасила живая вода; отведи его навстречу благословенному сыну Твоему, чтобы он не пропал в вековечной тьме, дай ему войти с Тобой в великий свет, что бы ни случилось со мной.



Глава 4

Друзья советуются

Когда спустя несколько дней представилась возможность, Торвальд отправился на запад через отрог в сторону перевала в гости к своему другу и товарищу — Торстейну, сыну бонда Торда и его жены Гуннхильд. Они были ровесники.

Говорят, что дружить могут только родственные натуры, но к нашим приятелям это не относится. Торвальд был молодым побегом в чаше, ладьей на море, ястребом над пустошью, а Торстейн — пнем у стены, шхуной у причала, гуса-

ком на птичьем дворе. При взгляде на их телосложение, лица и манеры нельзя было отделаться от мысли, будто между ними нет ничего общего. Очевидно, они бы и не подружились, если бы не были сверстниками.

Они лежали в высокой траве, их никто не видел, а они видели всех выходящих из дверей. Они слушали шум ветра и собачий лай, жевали щавель. Торстейн плел веревочку из травинок. Торвальд не стал рассказывать другу о том, что произошло с ним в ущелье, ему казалось, что эта тайна — не для ушей Торстейна. Но он рассказал ему обо всех неприятностях, которые случились на их хуторе в тот день, когда мир сперва наполнился прекрасными созвучиями, а потом едва не рухнул.

«И что же мне делать?» — спросил он, горя жадной мшеницей.

«Ничего страшного! — ответил Торстейн. — Меня вон каждую неделю бьют, не важно, виноват я или нет».

«Я не о себе думаю, — сказал Торвальд, — а о Брингвет».

Торстейн пожал плечами.

«Ну и что, — ответил он, — подумаешь, мужик палку не туда кинул! Да мой папаша к своим служанкам пристаёт, когда ему вздумается! А они все хихикают: мол, даже чаще, чем может! У него между ног дерево растёт».

«Не сравнивай Брингвет с ними!» — сказал Торвальд. Чем дальше, тем меньше ему нравился этот разговор.

«Я все понимаю, — ответил Торстейн. — Но Брингвет не твоя».

«Не стоило с тобой советоваться!» — сказал Торвальд.

«Ну, сделай с ним так, как я поступил со своим жеребцом-братом, — сказал Торстейн. — Наполни лоханку мочой и поставь над дверью, чтобы опрокинулась на него, когда он войдет».

«Я с тебя пример брать не буду», — отвечал Торвальд.

«Твой папаша на зиму мед варит, — сказал его друг. — Вытащи пробки из бочонков, пусть брага вытечет».

«Это мелкий и трусливый поступок».

«Никак на тебя не угодишь! — сказал Торстейн. — Прямо не знаю, почему я вожусь с таким занудой, как ты».

«Да потому что, кроме меня, тебя никто слушать не хочет», — отвечал Торвальд.

«Ну, нагадь ему в кашу или поступай как знаешь». Торстейн начал злиться.

«Придумай что-нибудь получше, — сказал Торвальд. — Ты же у нас умник, все знаешь».

«Ночью в полнолуние, когда все спят, — Торстейн поднялся, — семь раз обойди вокруг дома, потом подойди к окну возле кровати твоего папаши и семь раз прочти заклинание:

Да несут тебя кони,
Да колют травы.
Да хлещут ветры!
Будь твое ложе
Углем раскаленным!
Да будет худо
Тебе всемерно,
Коли деву
Ты возжелалешь.



Тогда ты сможешь сам спокойно тешиться со своей Брингвет. Ну все, молчи».

Они легли на спину и стали смотреть в небо, словно ждали оттуда вестей. Торстейн заметил, как маленькое белое облачко плывет за большой серой тучей. Расстояние между ними было большим, но белое облачко ветер гнал сильнее, и оно быстро нагоняло большую тучу; а большая, казалось, устала держать форму, лениво растянулась и разъехалась на части.



«Скажи мне, Торвальд, что твоему отцу милее всего? Чем он больше всего хвастается?»

«Он больше всего хвалится своим серебром и искусством владеть оружием».

«Серебро мы оставим в покое, — сказал Торстейн, — а в умении владеть оружием ты можешь его перешеголять».

«Я не умею обращаться с мечом», — ответил Торвальд.

«Да при чем тут меч? Тому, кто умеет стрелять, не надо перерубать жилы и кости. У моего родича Торира, — говорил Торстейн, — был отличный лук, и его никто не брал в руки с тех пор, как Торир утонул. Этот лук много лет пролежал в сарае. Если хочешь, я украду его для тебя. И только попробуй не научиться его натягивать!»

Глава 5

Натягивание лука

Лук, который Торир, дядя Торстейна по отцу, когда-то привез из Ирландии, потемнел от старости и забвения, но мощи своей не потерял. Из чего он был сделан — из вяза? Кем он был сработан? Была ли его тетива сплетена из женских волос, а стрелы — были ли они выточены так тщательно, что нельзя отличить одну от другой, и прочно ли были прикреплены острые наконечники?

Наверное, Дух истории хочет, чтобы все это было очевидным; точно так же он хочет, чтобы мы знали все-все о языческих жертвоприношениях, об оружии и доспехах, о сараях и уборных, о башмаках и чашах. Если собрать вместе все, что оставили или могли бы оставить нам века, тогда истории будут больше верить. Читателю хочется, чтобы герои, созданные, казалось бы, из одних лишь слов, обрели опору в вещах, которые они сами когда-то купили или украли, или сделали, или использовали, или сломали и потеряли. И без толку напоминать читателю, что душа не должна стяжать то, что пожрет моль или ржа: читатель хочет, чтобы ему дали эти игрушки, а без них он становится недоверчив и начинает думать, что рассказчик водит его за нос. Но мы никогда не видели такой вещи, как тот лук, который вытащили из недр сарая Торвальд и Торстейн и, в меру сил двенадцатилетних мальчишек, попробовали вдвоем натянуть его. Мы с вами никогда не натягивали лука, способного выпустить смертоносную стрелу. И все равно Дух истории искушает нас писать, нашептывает, чтобы мы подробно рассказали об искусстве стрельбы, чтобы мы притворились, будто знакомы с ним так же хорошо, как и со всем остальным, что содержится в нашем рассказе. Оправданием для нас здесь служит то, что в мечтах сотен тысяч мальчишек всегда фигурировал некий волшебный лук: все мы полировали его до блеска, смазывали жиром, закаляли в огне, мы спускали с тетивы стрелы прямо в брюхо всем злодеям всех времен — и они падали замертво.

Поэтому мы вместе с Торвальдом услышали, как запел вяз, когда он потянул тетиву на себя четырьмя пальцами и быстро отпустил. В этой песне был вызов: ты молокосос, силенок у тебя мало, тебе со мной не совладать! Но если ты каждый день будешь поднимать тяжелые камни, висеть на веревках, подтягиваться на перекладине десять раз по десять раз, тогда, может быть, я поддамся тебе. Может статься, вскоре ты будешь пускать стрелу на расстояние в десять шагов, а через пару недель уже и в двадцать. Но хвастаться тебе пока еще нечем. Сотню раз ты спустишь стрелу с тетивы, прежде чем с пятнадцати шагов попадешь в ствол березы, тысячу раз промахнешься, прежде чем твоя стрела расщепит ветку, которая маячит на дереве, словно недобрая ухмылка твоего папаша. Тогда, но не раньше, тебе надо будет начинать целиться в сидящую птицу; две зимы минет, прежде чем ты научишься попадать в летящую птицу, но помни, никогда тебе не расщепить своей стрелой стрелу врага в полете, как это умел Одд-со-Стрелами*.



Ты должен изменить свою жизнь, сказал лук.

Торвальд недешево покупал часы для занятий с луком. Можно было подумать, что после того скверного дня его побоями принудили к послушанию; он во всем старался угождать отцу, безропотно выполнял все его поручения, а прежде всего вызывался делать те из них, которые требовали выносливости и силы. Он все реже вступал в разговоры с Брингвет, и ей казалось, что он забыл и свой гнев, и ее унижение. Дни шли за днями, и от Кодрана его сыну не было ни хорошего, ни худого.



Орму перемена в характере брата показалась странной, и он стал украдкой следить за ним. Однажды, когда минул месяц забоя скота, Торвальд отправился в лес, где прятал лук между двух камней, а Орм пошел за ним. Он подкрался, увидел, как Торвальд вынимает лук, кладет стрелу на тетиву и тщательно целится в маленькую кадушку, укрепленную в ветвях большого дерева. Стрела вонзилась прямо в середину кадушки, как будто та сама притянула ее.

Не может быть!

* Герой исландских саг и более позднего фольклора; меткий стрелок.

Орм выскочил из своего укрытия, подбежал к дереву, вытащил стрелу из мишени и закричал:

«Тоже мне, стрелок выискался! Такому лоботрясу, как ты, пристало в хлеву коровам задницы чистить, а не портить хорошую посуду».

Он сломал стрелу пополам. Торвальд отбросил лук, подбежал к Орму и обрушил на него град ударов — ведь он еще не умел обуздывать ярость, которая, без сомнения, придает человеку силу, но в то же время делает эту силу слепой. Орм легко сносил удары. Затем он схватил Торвальда за плечи и попытался повалить его, но Торвальд вывернулся; впрочем, ему не хватило веса, чтобы свалить старшего брата с ног. Тяжело дыша, они дрались не на шутку, колотили друг друга, скрипели зубами и плевались. В конце концов они упали, вцепившись друг в друга, и покатались вниз по склону. Орм подмял Торвальда под себя и долго не давал ему встать; мальчик пытался высвободиться, но в конце концов обессилел. Орм поставил правое колено на его левую руку, а правую высвободил, поднес два растопыренных пальца к глазам Торвальда и сказал:

«Сдавайся, а не то гляделки выколю!»

Торвальд лежал распластанный по земле, он проиграл, но не хотел этого знать; зато он знал другое: что сейчас решается вопрос, как он будет жить дальше. Он собрал всю свою волю и вызвал в своем худосочном теле такую силу, какая не снилась настоящим богатырям. Пятки и локти подняли его тело — вверх, вверх — и сбросили негодяя-брата; в падении тот ударился головой о камень и потерял сознание.

Когда Орм очнулся, Торвальд сидел на нем и водил лезвием ножа по его горлу. Медленно, долго, молча; по его лицу Орм видел, что пошады не будет.

«Я не хотел перерезать тебе горло, пока ты тут валялся без чувств», — сказал Торвальд.

Он всадил нож по рукоять в землю возле щеки Орма, поднялся и пошел к хутору.

Глава 6

Убийство

Отчего соседи — Кодран из Гиль-ау и Оулав с Хунаветлир — стали враждовать? Прежде они хорошо ладили, вместе ездили торговать в Норвегию, вместе грабили эстов на балтийском побережье. Отчего вселились в них демоны вражды, которые заморочили их и свели с ума? Или сам дьявол нарочно выбрал их, себе на потеху?

В сущности, они были похожи на многих других. Оба охраняли свое имение, как собака — кость. Тот, кто щадил других, был, как мы знаем из многих других рассказов о том времени, достоин презрения. Поэтому выручать из беды другого они брались только в том случае, если это сулило выгоду. Дух истории знает, что все распри в Исландии развиваются по определенным правилам. Обычно яростнее всего враждуют из-за того, чей конь лучше или из-за кражи овец, а то и вовсе из-за копен сена.

Все началось с того, что на ярмарке в Хунаоусе Оулав предложил больше, чем Кодран за синий плащ, который захотела купить Йарнгерд, хозяйка Гиль-ау, потому что она любила наряжаться и не скрывала этого, а ко многому другому была равнодушна. Она заявила Кодрану, что он позорно скуп на деньги и что он мелкая сошка, с которой на ярмарках никто не считается. И уж совсем плохи дела стали, когда Гвюдрун — жена Оулава, стала щеголять в этом плаще на людях. А другого такого плаща во всем Хунатинге не было.

На пиру, который устроили в Хунаветлир на йоль*, Кодран и его люди пили вволю и быстро прикончили все запасы пива. Кодран скривил губы и спросил Оулава: отчего, мол, он пригласил гостей и сам заставляет их скучать всухую. Мол, не годится такое, если ты хочешь выставить себя таким уж большим хёвдингом**! «Свиное брюхо наполнить трудно», — ответил Оулав, и они расстались холодно.

* Праздник зимнего солнцестояния у германских народов.

** Племенной вождь у германских народов.



Следующей весной работники Кодрана поспорили с людьми Оулава, как разделить выброшенного на берег кита, и вместо того, чтобы бросать жребий, подрались: кто ножами, кто камнями или кусками китовины. Одному из людей Оулава покалечили правую ногу. Кодран не пожелал платить виру за ущерб, потому что, как он объяснил, «твои люди и так унесли домой больше китовины, чем мой».

Коровы Оулава паслись на земле, которую Кодран считал своей. Йарнгерд решила, что он пустил их туда с умыслом, и вслепа своим пастухам забросать стадо камнями. Бык Красавец, лучший в стаде, из-за этого лишился глаза. Тогда Гвюдрун послала своих людей в Сёйдаваль охолостить Кодранова жеребца, который там пасся, и при этом сказала, что следующим будет оскоплен «ватнсдальский кобель» (так она прозвала Кодрана).

Хозяин Гиль-ау не забывал этих обид и только о них и говорил, лишь бы слушатель нашелся.

Сестра Кодрана, Тордис с Вещуньиной горы (Спакунуфелль), раз приехала в Гиль-ау, и ее, по обыкновению, хорошо приняли. Все домочадцы любили ее, не исключая и Торвальда; он любил слушать ее рассказы о том, что давно уже позабыто или еще не произошло. Она знала больше, чем другие. Черты лица у нее были крупные, над ртом нависал большой нос, и мальчику казалось — она чувствует им и солнечный свет, и ненастье задолго до того, как остальные хотя бы смутно почувствуют, чего следует ожидать. Однако другого он не понимал: как Тордис по лицу и разговору определяла, какую судьбу человек в этот миг, сам того не зная, выбирает себе. Может, ее большие черные глаза были острее, чем у других? Или она понимала, о чем говорят вороны?

Кодран высоко ценил Тордис и не хотел принимать советов ни от кого, кроме нее. И вот как-то раз он зовет ее поговорить наедине, рассказывает все о своих отношениях с Оулавом, преувеличивает все, что когда-либо сделал ему этот подлец, а за собой никакой вины и не припоминает. Тордис быстро смекнула, в чем дело, ведь она хорошо знала своего братца и его надменный нрав. Но ей не хотелось расспрашивать его о таком неприятном деле, и она сказала:

«Сейчас уже поздно что-либо советовать».

«А что ты можешь посоветовать?» — спросил Кодран.

«С горы сорвался камень, — говорила Тордис, — он вызовет большой камнепад. И его не остановить, если ты не смиришься. Сделай для своего соседа доброе дело, которого он не ожидает, а потом не говори о нем никогда».

«Я не знаю тому примеров», — начал сердиться Кодран.

«Они, конечно, есть, — сказала Тордис, — но тебе они и в голову не придут. Посему все свершится так, как идет, и будет ваша следующая встреча хуже всех предыдущих. Я вижу ненависть и гнев, и сдается мне, что за ними последуют пляска мечей и убийства».

«Ты хочешь сказать, что я погибну?» — спросил Кодран. Только сейчас он услышал то, что на самом деле хотел узнать, когда обратился к своей вещи родственнице якобы за советом.

Тордис долго молча смотрела на него.

«Не думаю, чтобы от этого был грохот на весь мир, — сказала она. — Но может статься, ты вернешься с победой, но вместе с тем сильно проиграешь».

Кодрану такой ответ показался странным, но больше он ни о чем не спрашивал.

Тем летом трава выросла плохо, и сенокос у многих был неудачный. По осени Оулав с Хунаветлир забил меньше скота, чем было бы разумно, и запасы сена у него подошли к концу еще до весны. Но он знал, что большие запасы сена еще остаются у Кодрана.

Оулав неожиданно нагрянул в Гиль-ау: он хотел купить у Кодрана сено. Но Кодран притворился, что у него у самого мало, — и не пожелал продавать. «Ты что, — спросил он, — собираешься один захватить все сено в стране?» Серебра Оулава он не пожелал, сказав, что в Гиль-ау своего серебра хватает. И не собирался он слушать обещания летом вернуть еще больше сена: неразумно надеяться на то, что вырастет на чужом лугу. Не желал он ни дорогих одеяний, ни других вещей, которые предлагал Оулав.

«Не хочу, — сказал Кодран, — чтобы в моем жилище топтались чужие!»

Тогда Оулав умолк. Он прикинул, что жители Гиль-ау не ожидают ничего плохого, а его собственные люди хорошо вооружены; так что он велел запереть домочадцев в постройке и взять столько сена, сколько нужно.



Когда это произошло, Торвальд упражнялся в стрельбе из лука. Потому об этом позоре и грабеже он узнал только со слов других. Но как бы то ни было, он не упустил возможность примкнуть к отцу, когда тот стал собирать людей, чтобы отомстить и за плащ, и за кита, и за выпитое пиво, и за покалеченного коня, и за украденное сено. Может быть, такая поездка и была глупостью и полным бредом, но еще глупее было трусливо остаться дома и никуда не ехать. Это знала и понимала даже Брингвет; и она осенила Торвальда крестным знамением, когда он собрался в свой первый бой с луком через плечо и коротким мечом на поясе. Ему было четырнадцать зим.

В отряде Кодрана было двенадцать человек. Они еще раньше разведали, что с Оулавом дома четверо. Но когда они проехали больше половины пути, их заметил Снорри, восьмилетний сын Оулава. Он тотчас помчался домой. Кодран сказал своему сыну:

«Кот видит эту мышь? Покажи мне, Торвальд, что умеешь обращаться с луком».

«Никогда я не стану стрелять в маленького мальчика», — отвечал Торвальд.

В ответ на это Кодран мог сказать многое. Например: «Маленький пусть сразит маленького». Или: «Убить теленка — досадить быку». Или он мог, как всегда, выбрать своего трусишку-сына, от которого вечно нет проку. Многим хорошо известны слова, которые наш рассказ мог бы вложить ему в уста: «Несчастья ожидают лишь того, кто тащит трудности с собой из дому»*. Они лучше всего подходят в этом случае, потому что риск был велик: Снорри мог рассказать об их приближении отцу, а тот — достать оружие и вместе с работниками выйти за порог, и тогда бы не удалось закрыть двери и сжечь Оулава в доме, не удалось бы предложить хозяйке Гвюдрун выбор: выйти наружу в своем плаще или сгореть вместе с супругом. Вышло, однако, еще хуже: едва Кодран и Оулав встретились у изгороди в Хунаветлир и обменялись выкриками и бранью, какая в ходу у людей, желающих потерять рассудок и забыть страх, который во время битвы преследует каждого и придает быстроту

* Крылатое выражение, встречающееся в исландских сагах.

ногам, как принесло конный отряд. Это приехал Торд Иллугасон, родич Оулава. Теперь силы были почти равны.

Все взялись за оружие, бонды обнажили мечи, работники вытащили тесаки и топоры, каждый выбрал себе одного или двух, каждый рубился как только мог. Но вот меч отсек у одного союзника Оулава три пальца, а топор сломал нос Гретиру, родичу Кодрана, и тот выплюнул в траву три зуба с густой струей крови. Кодран теснил Оулава, а Орм со своим тесаком не отставал от него. Отец и сын сломали ему шит, но когда решили зарубить его, перед ними появился Торд Иллугасон и выбил меч из руки Кодрана. Тот попятился, но наткнулся на Орма и упал. Торд занес клинок над головой Кодрана, но не успел нанести удар, потому что в тот же миг с тетивы Торвальда ринулась стрела и вонзилась ему между ребер. Он выронил меч, обеими руками схватился за стрелу, словно хотел выдернуть ее из раны. Торвальд отшвырнул лук, быстро подбежал и занес меч. Удар пришелся Торду по шее, из раны потоком хлынула кровь. Кодран поднялся, дотянулся до меча Торда и бросился на Оулава; удар пришелся в живот. Оулав рухнул с громким стоном и с вывалившимися внутренностями испустил дух. Больше ничего значительного в том бою не произошло.

Жители Гиль-ау отправились домой. Кодран молчал. Он победил — но только благодаря Торвальду и его луку. В конце концов он сказал самым ласковым голосом, на какой был способен: «Сынок, я обязан тебе жизнью».

Торвальд бросил на него холодный взгляд; больше всего ему хотелось отвергнуть эту смешанную со злобой благодарность отца: я точно так же мог пристрелить и тебя! И все же этим словам не было суждено сорваться с его губ. Но выражение его лица было красноречивее слов, и Кодран начал догадываться, о чем он думает, а Торвальд понял, что отец знает об его чувствах. Тогда он бросил взгляд на своего брата Орма и сказал со смехом: «А у тебя, брат, все штаны мокрые!»

Они приехали домой. Торвальд удивлялся: этот набег больше не казался ему глупостью. Его переполняли чувства, его сердце колотилось от радости: он убил врага и утер нос отцу, а заодно и брату. Он слышал свист стрел, видел, как хлещет кровь, такая красная и горячая, — и это кружило ему голову и сводило с ума. Он получил власть над жизнью



и смертью, — по крайней мере, так он думал, потому что так нашептал ему дьявол.

Он не рассказал о своем подвиге ни одной живой душе. Только своему другу Торстейну. Они часто встречались и строили планы, как при первой возможности поедут в далекие страны и будут покорять мир. «Если, конечно, — сказал Торвальд, — у моего отца найдутся средства». С Брингвет он говорил мало, а когда они встречались, отводил глаза.

Глава 7

На острове Пуховом

Рассказывать про сражения неинтересно: все и так прекрасно знают, какими они бывают и чем заканчиваются. И все же нам придется уделить им внимание, ибо слушатели рассказов обладают странной природой, которую просто так не изменишь: они с трепетом ждут, когда случится то, про что они знают, что оно случится. Описывать любовь, напротив, гораздо увлекательнее. Про нее мы, разумеется, тоже все знаем, однако не теряем надежды, что в рассказе встретится что-нибудь такое об отношениях мужчины и женщины, чего прежде никто не слышал и тем более не видал и не переживал сам.

Также нам отлично известно, что, хотя другим хорошим развлечением издавна считались убийства, однако лучше сотворить одного человека, чем убить дюжину.

Торвальду было семнадцать зим, и он еще не познал женской ласки. Тем не менее во всей Северной Исландии в ту пору не было юноши красивее его. Его внешность говорила о близком родстве с Кодраном, и все же едва ли можно было сыскать двух более непохожих людей: жестокость и напористость в лице и внешнем облике отца у сына превратились в кротость и мягкость. Его волосы, ниспадая до самых плеч, не скрывали высокий лоб, а сами они были густые, светлые и более мягкие, чем у других, нос у него был изящный, но не чересчур маленький, очертания рта мягкие, но не скрывающие того, что он обладает доброй и сильной волей. Одним словом: его красота была столь безупречна, что нам наску-

чило бы на нее глядеть, если бы голубые глаза не придавали его лицу и всему облику замечательный блеск и не превращали этого подтянутого худощавого юношу в манящую загадку — так ярко и необычно сверкали они, и не важно, что в них светилось: гнев, или тоска, или — что бывало редко — радость. Чаще всего в них отражалось неугомонное любопытство: «Каков он — мир, в который я пришел, может быть, ты, на кого я сейчас смотрю, дашь мне ответ?»

Но этот юноша, столь пылкий и жаждущий жить, всегда начинал смотреть потупившись, стоило женщинам бросить на него взгляд (что бывало часто). По-другому он не умел. Даже при том, что Торстейн пытался «просвещать» его и подкидывал полезные советы.

В обществе женщин Торстейн расцветал. Лицо у него было широкое, веснушчатое, улыбка кривая и сальная, глазки шаловливые, бегающие, одним словом, красавец писанный, если бы не нос, который торчал как обух топора. «Нос на семерых, достался одному», — говорил он. Торвальд удивлялся, как хорошо его друг умел располагать к себе женщин, — и завидовал ему в этом. Он не знал о том, что женщины сочувствуют некрасивым мужчинам, которые не стесняются своей внешности, а напротив, обращают каждый свой недостаток себе на пользу с помощью бойких бесед и остроумия, которые нравятся женщинам больше, чем неприкрытое самодовольство красавцев, ожидающих всеобщего восхищения. С другой стороны, у Торвальда не было знаний, которые научили бы его не принимать всерьез рассказы Торстейна об умопомрачительных любовных похождениях, которые, если разобраться, все были похожи друг на друга.

Торстейн приехал на хутор на отшибе, и его там хорошо приняли. На ужин подали кровяную колбасу, и все сели за стол. Народу на хуторе было немного, и все — пожилые, кроме дочери бонда. Взгляды, которые она бросала на гостя, ясно говорили о том, что она рада ему больше всех. Когда погасили свет, а бонд захрапел, Торстейн вылез из своей постели и поднял покрывало над дочерью бонда. Она спрашивает: «Что тебе надо?» — «Мне надо причалить корабль у тебя на острове Пуховом», — отвечает он. «А где ты его найдешь?» — ворчит она, но все же отодвигается к стене, чтобы дать ему место. «Под высокой волной», — говорит он и проводит ру-



кой по ее животу вниз, пока пальцы не запутываются в волосах. «А вот, — говорит он тогда, — заросли великие, мягкие, как пух». — «Что в них проку, — отвечает она. — А где же ты причалишь?» — «Под пуховой чашей, — говорит он и проводит пальцем, — стоит утес, если подплыть к нему вплотную, в нем откроется длинная пещера; это самая надежная гавань». — «Все-то ты знаешь, — отвечает дочка бонда, — но где же твой корабль, душа моя?» — «Пощупай между ног», — говорит он. Она так и сделала, ласково погладила его уд. «Ну как тебе мой корабль?» — спросил он. «Хороший корабль, маневренный, — отвечает она, — да еще остойчивый, только почему у такого небольшого кораблика на носу такая огромная фигура?» — «Этот дракон, — отвечает он, — слишком долго пробыл в море, ему так хочется в гавань, что он просто разбухает от нетерпения». — «А можно мне ускорить его плаванье?» — спрашивает она. «Пожалуйста, — говорит он. — Раскинь-ка ноги пошире». И он проводит свой корабль через ворота, затем в пещеру, но там не останавливается. «Странно ты причаливаешь, — сказала дочка бонда, когда вновь обрела дар речи, — в гавань вошел, а сам едешь по ней взад-вперед, гребя изо всех сил». Торстейн не отвечает, потому что изо всех сил трудится. Но вот он решил перестать грести и теперь неподвижно лежит на месте, а она спрашивает: «Твой корабль, что ли, разбился, пока причаливал?» — «Вовсе нет, — отвечает он, — зато он груз на берег привез». — «А что за груз?» — спрашивает дочка бонда. «Мед с мукой», — отвечает он. Она рассмеялась: «Острову Пуховому тот мед пойдет на пользу. А все ли выгрузили?» — «Подгребай, — сказал он, — надо выгружать еще».

Торстейн был просто неистощим на такие истории. У дочки одного бонда он поил своего коня в ее пруду, а конь там утонул; у другой он хотел посмотреть, подходит ли его било к ее маслобойке, но масло вытекло раньше, чем он закончил; у третьей он хотел пожарить ее гуся на своем вертеле, но в очаге у нее между ног вертел отсырел; у четвертой он закалял мышцы своего «юного князя», а она потом смягчала их.

Торвальду становилось странно весело от этих историй, но все же он спрашивал: «А зачем вся эта возня, все эти игры и притворство? Не лучше ли прямо приступить к делу? Ведь девушки знают, чем все закончится».

«Язык умнее, чем уд, — отвечал Торстейн, — и он вышучивает его горячность и надменность. Язык может обуздать жеребца, когда тот разревится, и подхлестнуть его, когда он заленится».

Глава 8

Ласки женщин

Одними рассказами сыт не будешь, и Торвальд так и не понял из них, как ему вести себя в следующий раз, когда он встретит дочь бонда Гуннлёйга из Гримстунга. Ее звали Хельга, а жители Ватнсдале прозвали ее Хельга Красавица. Когда она появлялась на людях в красном платье, подпоясанном серебряным поясом, а ее волосы — густые и светлые — лежали поверх голубого плаща, никто не смотрел на других женщин, а уж Торвальд тем более.

Нет, он не знал, как поступить.

«Не стыдно тебе ныть? — сказал Торстейн. — Ты же лучше всех, к тому же ты прославленный воин... Трус ты несчастный, ну для чего тебе эти глаза — огромные, как миски? Дай ей разок в них посмотреть — может, потом и другое что получится».

Но Торвальд так не считал.

Однажды они с Торстейном приехали в Гримстунг, где должна была пройти игра в мяч. Там были, как водится, и коварные ратоборцы, и хвастливые весельчаки, и те, кто сам ленится участвовать в игре, но готов каждую монету, какая у него найдется, поставить на тех, кто, по его мнению, выиграет. По правде говоря, мы с вами знаем о таких играх немного, зато много — о том, для чего они нужны в рассказах. Они дают людям хороший повод рассердиться, если с ними обошлись не по правилам или слишком сурово, осыпать друг друга бранью, вступить в ожесточенную драку, поставить друг другу синяк, нанести увечье, а там уже и до убийства недалеко. Но в нашей истории будет не так: в ней игры показывают и доказывают только то, что Торвальд сильнее всех бьет по мячу, так что тот взлетает над го-



ловами, или хватает его на лету, а Хельга Красавица, которая сидит на склоне с подругами, все это замечает.

От слишком сильного удара мяч улетел на склон. Хельга Красавица спрятала его под своим платьем и сказала:

«Пусть тот, кто кинул, заберет».

Торвальд, разгоряченный игрой, подошел к ней и протянул руку за мячом — смелее, чем собирался сам. Хельге это пришлось по нраву, и он, послав мяч товарищам, сел рядом с ней и больше в тот день не играл.

«Лучше тебя не играет никто, — сказала она. — Твои товарищи уже выдохлись».

Торвальд в ответ промолчал, но она заметила, что он залился краской.

«А правда, — спросила она, — что ты пустил стрелу Торду Иллугасону прямо в глаз навывлет, так что у него мозги полезли из затылка?»

«Я такого не говорил», — ответил Торвальд. Он сидел, уставившись в одну точку, смотрел на свои пальцы, в отчаянии срывающие травинки.

«А правда, — спросила она, — что ты можешь попасть в летящую птицу?»

«Если тебе будет очень нужно», — сказал он и заглянул прямо в ее глаза, серые и озорные.

Они не сидели на склоне вместе весь день, как предписывает вежливость. Торвальд слишком долго ждал этой встречи, чтобы утруждать себя болтовней о пустяках, вдобавок он был уверен, что разговаривать с женщинами не умеет. Они пришли к молчаливому согласию, что им лучше уединиться. Хельга запросто поднялась с места с молодым человеком, который был красивее и храбрее других и с которым хотели бы ходить все девицы — если бы могли. Она торжествовала над всеми завистливыми взглядами и словами, которые полетели ей в спину, когда они уходили.

Теперь во всем Ватнсдале только о них говорить и будут!

Они дошли до лощины. Хельга бросила на него взгляд. Торвальд стоял, затаив дыхание, покорный, словно голодный пес, — он был смешон. Куда ему девать руки? Хельга пришла ему на выручку: подошла, положила свои руки ему на плечи, поцеловала его полуоткрытым ртом. Теперь его руки знали, куда им деться, они обняли ее и крепко прижали

к телу, как будто ничем другим никогда не занимались. Его страх перед тем, что должно было свершиться, но не свершалось раньше, сгорел в великом огне, который не дает миру замерзнуть. Хельга явно ощутила его силу сквозь одеяния и настолько ясно поняла, что впереди их ждет что-то приятное, что колени перестали слушаться ее.

Она огляделась: вокруг никого — и потянула Торвальда за собой на теплую траву. Ее платье задралось на живот, навстречу ему поднялись ее белые бедра, нетерпение гнало его вперед, ослепляло и жгло, когда он пытался отворить ее ворота; в юности третья нога скоро на работу, но не хочет знать никого, кроме себя, и порой обходится с женщинами несправедливо. Торвальд дрожал и трепетал от блаженства краткий миг и мог бы вообразить, что он в том самом раю, о котором ему рассказывала Брингвет, если бы его мысль пошла по этому пути. Но Хельга Красавица дохнула холодом на Эдем, которому хотелось расти в его мыслях, благоухая и источая нежность; ее забава кончилась, не успев начаться, и ей это не понравилось. Она вывернулась из-под него, приподнялась на локтях, смерила его взглядом и сказала не самым дружелюбным тоном: «Что-то твой хвастунишка быстро выдохся».

Но это не охладило пыл Торвальда, его ровесник рьяно поднял голову и принялся вновь искать вход, а вскоре уже отважно греб в гавань Хельги. Когда она закинула ноги ему на спину, и он услышал, как она бурно, со сдавленными стонами, принимает его в себя, его обуяли злость и чувство победы: сильного врага завалил я в траве, и теперь он молит о пощаде. Но гордыня задержалась в его голове ненадолго; вскоре там вновь воцарилось блаженство, которое поднимало солнце выше на небосклон, навевало чудесный аромат из кустарника и переполняло его самого сладким медом.

Немудрено: молодой человек впервые пережил такое сладкое мгновение, и ему вполне могло показаться, будто он изменил весь мир. Он лежал рядом с Хельгой и смотрел на нее с благодарностью, которая переполняла его. Он не заметил, что Хельга, которой все это было не впервой, смотрела на него с удивлением и немножко с отчуждением, как будто спрашивая: кто этот юноша и что делать с ним? Он был уверен, что она думает и чувствует то же, что и он.



Проходили недели и месяцы. Они с Хельгой часто встречались тайком, хотя не так часто, как ему хотелось. Торвальд изнывал от жажды, а его напитком была она, за этот мед он отдал и свой разум, и свою волю; дни напролет он только и думал о том, что произошло между ними в прошлый раз и чего ожидать в следующую встречу. Его страсть не угаснет всю жизнь, говорил он, иного просто не может быть, и несчастен тот, кто никогда не имел этой твердой веры. В этом он клялся с переизбытком нежности во взоре и слов на губах, ибо теперь с него слетела вся робость: «Скорее реки повернутся вспять, а камни будут плавать по воде, чем я тебя забуду!» — «Дурачок ты, — отвечала она, — не говори ничего больше!»

Конечно, такие обещания были ей приятны, но его высокопарные слова подавляли ее — а такого не должно было быть. Наоборот, она сама хотела подчинять себе его волю и развлекалась тем, что играла им, словно подкидывала его жизнь высоко в голубой небосвод: «Может, поймаю на лету, а может, и нет! Угадай-ка, где я?» Оттого порой он был счастлив и богат, словно конунг в доброе время, а порой — ненавиден сам себе, будто птица в силках. Он никогда заранее не знал, к чему готовиться.

Бывало, перед их встречей его пронзала тревога, и он терялся в догадках, что ему выпадет — награда за любовь, восхищение и верность или непонятное наказание? Однажды она повернулась к нему и сказала:

«Я тебя не хочу».

«Почему же?!» — взмолился он.

«Ты меня дурачишь», — ответила она.

И в самом деле: время от времени она спрашивала, и порой довольно сердито, когда он наконец отпразднует с ней свадьбу. Семья, мол, не для того растила цветок, чтобы разменивать его на чужую похоть и всякие глупости.

«Мои братья убьют тебя», — сказала она таким тоном, как говорила об игре в мяч в Гримстунге или о том, что скоро придет корабль.

«Следующей весной я женюсь на тебе», — сказал он.

«Но у тебя ничего нет, кроме ржавого меча и того самого лука, из которого ты уже и не стреляешь».

«Торстейн предлагает, чтобы мы отправились в плавание», — ответил он.

«А вот это новость. Я и не знала...»

«Скорее горы потонут...» — начал он.

«Больше ничего не говори, — ответила она. — Родня хочет выдать меня за благородного и богатого человека. Его зовут Грис Саймингссон, он побывал с варягами в Царьграде. Он подарил мне вот этот браслет».

Она подняла руку, и он увидел, что золотая змея трижды обвилась вокруг ее запястья, приподняла голову у тыльной стороны ладони и смотрит на него красными камешками, вделанными в глазницы.

«Вижу, что твой жених уже кажется тебе лучше, чем я», — рассердился он и хотел подтащить ее к себе, но она оттолкнула его.

«Торвальд! — сказала она. — Ты получишь меня только тогда, когда убьешь Грису Саймингссона».



Глава 9

И вышли они, и бились...

Убить Грису Саймингссона?

Они оба должны были понимать, что это легко сказать — трудно выполнить. Разве может теленок съесть волка? Такой вопрос, очевидно, возникал у каждого, кто видел Грису и Торвальда на пиру на йоль в ту зиму у Гуннлёйга, отца Хельги. Торвальд, конечно же, стал шире в плечах и был весьма ловок, но талия его оставалась узкой, как у девушки, а руки и ноги — как тоненькие весла. Грис был на целую голову выше и в два раза толще, его руки были как дубины, ноги — как мачты. Торвальд был бледен, волосы гладкие, лицо безбородое и смазливое. Грис — космат, темноволос и внушительен собой, голос он имел мощный; он без устали мог рассказывать новости со всего света. Торвальд не был уверен в своих силах и не знал другого оружия, кроме своего ирландского лука. Грис в молодости мог унести быка на плечах и большой мешок — в зубах; он разбивал вдребезги шиты и головы в Норвегии и Гардарики, отрубал руки и вы-



пускал кишки жителям Саксонии и Греции, ему было послушно любое оружие.

На второй день пира, когда все уже смыли ночную вялость хмельным напитком и шум застолья снова вернулся в дом и развязал всем языки, Торвальд поднялся с места, а Торстейн пошел следом. Торвальд подошел к Грису, который сидел, положив руку на колени Хельге, и шептал ей на ухо что-то, а она смеялась и бросала взгляды на Торвальда, словно спрашивая: «Зачем остановился, кроха?» или «Не порти нам удовольствие, щенок!». Торвальд без лишних слов сказал — громко, чтобы слышали все:

«Выйдем и будем биться, Грис!»

Пирующие поутихли, гомон обратился в возбужденный шепот: ну наконец-то в этой скучной зимней тьме начало что-то происходить! Грис отхлебнул из рога, дунул себе в бороду и сказал:

«Ты разве не знаешь, что я — крепкий орешек?»

«Но проверить можно», — возразил Торвальд.

«Кто позволил этому щенку брехать в чужих домах? — спросил Грис. — Может, ты?» Он посмотрел на Хельгу Красавицу.

Она переводила взгляд то на одного своего жениха, то на другого и не заметила, какой самодовольный у нее стал при этом вид: вот сейчас богатыри сойдутся в поединке за нее, и, пока страна не опустеет, об этом будут слагать рассказы. Торвальд заметил это, но он больше не был юнцом, который теряет рассудок в таких случаях. Он был удивительно спокоен: он точно знал, что делает. Он выхватил из рук проходящей мимо служанки бадейку со скиром*, опрокинул на колени Грису и сказал:

«На, жри, рыхлое брюхо!»

И тут многое произошло одновременно, как каждый сам может догадаться. Торстейн произнес нид** о толстом навознике, который тешился с царьградской кобылой, пуская ветры, да так и не кончил: его залягали. Грис завопил: «Снести голову этому псу!» Бонд Гуннлёйг призвал людей к порядку:

* Традиционный исландский молочный продукт, нечто среднее между сметаной и творогом.

** Форма скальдической поэзии, короткий бранный стих.

на пиру должен царить мир и все должны быть между собой в добром согласии, — но на него никто не обратил внимания. И вот, не успеешь глазом моргнуть, они уже стояли перед домом, глядя друг на друга: юный герой и бывалый боец, измазанный скиром. Грис взял свое оружие, а Торстейн нашел для своего друга меч и щит.

Грис пытался зарубить или заколоть Торвальда, но Торвальд прикрывался щитом и отступал — он знал, что нет смысла скрещивать сталь со сталью, пока оба противника полны сил. Его ловкость оказалась полезнее, чем чудовищная сила Гриса: когда тот обрушивал удар, Торвальд был уже в другом месте, и меч богатыря рубил снег. От ударов разлеталась мерзлая земля, а на щите Торвальда даже царапины не появилось. Но вот Грис прижал его к стене дома, и там он оступился на скользком камне. Но Господь судил Торвальду более долгую жизнь — из толпы вылетел Торстейн и прежде, чем Грис успел взмахнуть мечом, чтобы отсечь противнику голову, подставил ему подножку. Меч Гриса вонзился в промерзший дерн. Друзья Гриса схватили Торстейна и принялись его мутузить. Тем временем Торвальд вскочил на ноги, и снова пошла пляска мечей. Глаза Торвальда стали как щелочки от напряжения, он угадывал каждое движение Гриса, все его силы стянулись в единый узел, собрались внутри него — он ждал одного-единственного шанса. И шанс представился. Грис занес меч для удара, а Торвальд нырнул под его рукой и, со всей силы толкнув своим щитом край щита Гриса, заставил его потерять равновесие и повалиться на бок. Не давая противнику опомниться, он рубанул его мечом по правой ягодице, содрав кусок плоти до самой подколенной впадины.

Гриса унесли в дом. Торвальд швырнул оружие наземь и пошел прочь. Вечерело. Хельга догнала его, схватила за руку и повела за собой в домик на отшибе. Ему хотелось пить, он устал, и ему было все равно, куда идти.

Она прижалась к нему и услышала, как тяжело бьется его сердце.

«Ты герой, — сказала она. — Никто этого не смог сделать — кроме тебя!»

«Если бы я погиб...» — начал он.



«Нет, — сказала она, обняла его за шею, отыскала в темноте его губы и засунула руку ему в штаны. — Нет, мы живы. Возьми меня, скорее, скорее...»

Он схватил Хельгу Красавицу за плечи и, оттолкнув от себя, отвесил ей пощечину.

«Не буду я с такой кобылой путаться», — холодно произнес он.

Бывает, что душу выдергивают у человека из груди, будто репу из грядки. И кто тогда человек — оборотень? Никто этого не знает; ведь не все вещи таковы, какими кажутся. Никто не знает, когда именно любовь превращается во вражду; перемена проходит быстро, однако она и раньше подготавливалась где-то в закоулках души, выжидала; ненависть просачивалась до самого сердца, питаясь всем, что попадалось ей на пути, совсем как сама всепоглощающая любовь. Но куда же девается та горячая сила, которая прежде управляла рассудком человека и его волей? Сама перемена никогда не бывает такой же резкой, как действие, которым она символизируется, или слова, которыми она описывается. Если руку отрубить — останется нерв, который всегда будет помнить о ней, даже когда она сгниет в сырой земле.

Грис залечил раны и женился на Хельге Красавице, которая теперь выпадает из нашего повествования, не перестав тем не менее быть для него важной фигурой. С тех пор Торстейн порой слышал, как его друг Торвальд время от времени напевает грустные висы*.

Стояли вдвоем мы в туне,
И короток был день,
А я хотел, чтобы он все длился,
Мой разум от нее не отлетит... **

Не все строфы были об одном и том же, Торвальд мог так же нанизывать и отрывки стихов о толстозадом жирномясом собакоеде, который, обильно потев, возлегает с Хельгой Красавицей, а она часто и сильно брыкается, пока он овладевает ею:

* Форма скальдической поэзии, как правило, восьмистишие.

** Начало висы из «Саги о Виглунде».

Деве огня море
 Даровал он радость.
 Телеса девицы
 на перину пали*.

Торвальд поклялся больше не водиться с женщинами. Брингвет была рада услышать это; после всех этих событий она вновь обрела доверие юноши, он вновь вернулся домой — по крайней мере так ей казалось. Но его друг Торстейн еще долго морщил нос, плевался и говорил: «Надеюсь, ни одно существо, обладающее хоть какой-то властью, не слышало такой глупой клятвы!»

Глава 10

На корабле

Торвальд и Торстейн часто смотрели с завистью вслед сыновьям хёвдингов, которые отправлялись с оружием и товарами за море, где их ждали приключения и славные победы. Сами они тоже мечтали о совсем иной участи, нежели сидеть у родительского очага и покидать родной хутор только для того, чтобы посмотреть, где пасутся кони или какие товары привезли корабли. Но пока их жизнь была однообразна: они слишком хорошо знали, что будет с ними и на следующий день, и в следующую осень. Торвальду после того, как Хельга Красавица вышла за Грису и переехала к нему в Гейтаскард в Лангададе, все дни казались мрачными, чересчур долгими...



Торвальд и Торстейн рвались в далекие края, но их отцы помогать им в этом не спешили — может быть, жалели деньги, которые пришлось бы дать сыновьям, а может быть, просто не хотели перемен в своей собственной жизни. В роду Торда, отца Торстейна, никто не ездил дальше, чем в Скагафьорд, с тех самых пор, как его дед во времена Ин-

* Фрагмент висы из «Саги о Бьёрне Богатыре с Хит-реки», которую главный герой сложил о своей возлюбленной, вышедшей замуж за другого.

гимунда Старого приехал из Норвегии; крепкий хозяин, он хотел, чтобы сын пошел по его стопам, вел хозяйство на хуторе и занимался овцами. Тем не менее Торд все же уступил просьбам сына и пообещал дать денег на поездку. Но упрямство Кодрана сломить было сложнее, он не собирался уступать ни на шаг.

«Напусти на папашу твою родственницу-ведьму!» — советовал Торстейн.

По сравнению с теми планами, что порой приходили Торвальду в голову, это было не таким уж скверным.

Торвальд воспользовался советом друга, как только Тордис с Вещуंनीной горы в очередной раз приехала погостить в Гиль-ау. Он подошел к ней, когда рядом никого не было, и как на духу поведал о своих отношениях с отцом — впрочем, о многом она и сама догадывалась. Она выслушала его дружелюбно, пообещала обсудить все с Кодраном, но добавила:

«Родич, ты удачлив, и все же мне сдается, что твоей жизни угрожает опасность и будет еще долго угрожать».

Вечером Тордис завела речь о Торвальде с Кодраном.

«Я знаю, — сказала она, — что отношения с сыном у тебя неважные. Но сейчас мой совет таков: будь к нему добрее».

«Почему?» — спросил Кодран.

«Я вижу, — ответила Тордис, — что он прославится больше, чем все остальные твои родичи, и станет великим человеком».

«Ну это твое мнение...» — сказал Кодран, растягивая слова, словно не хотел больше слушать.

«Я знаю, — продолжила Тордис, — что Торвальд хочет уехать за море со своим другом Торстейном. Отпусти его и снаряди как следует».

«У этих простачков все из рук уплывет», — сказал Кодран.

Пришлось уговаривать его еще и еще. Но так как Кодран привык прислушиваться к словам Тордис (да к тому же после убийства Торда Иллугасона отношения отца и сына изменились в лучшую сторону), он в конце концов согласился, что она более права, чем ему хотелось бы признавать. Кодран погладил бороду и сказал:

«Конечно, я дам Торвальду немного серебра».

«Сколько?» — спросила она.

Кодран показал ей кошель и попросил взять, сколько нужно.

Тордис посмотрела на серебро и сказала:

«Я не приму для него этих денег».

«Что ты находишь неладного в этом серебре?» — спросил Кодран.

«Часть этого серебра ты силой или произволом отобрал у людей в качестве виры, а часть скопил нечестными ссудами и ростовщицеством. Такое серебро — плохой попутчик юноше, который по натуре справедлив и мягок».

Тогда Кодран принес другой кошель. Тордис взяла для Торвальда три марки* серебра, а остальное отдала обратно Кодрану. Он спросил, почему она хочет взять для его сына именно эти деньги.

«Потому что они достались тебе честным путем, — ответила Тордис. — Ты унаследовал их от отца».

Торвальд рассказал Брингвет о разговоре Тордис и отца. «Пусть все будет к лучшему», — сказала она еле слышно; он был радостно возбужден и не заметил, что ее голос дрожал, а в глазах был страх. Он был молод, поэтому глуп и не понимал, что она чувствует: не успел ее мальчик высвободиться из объятий злой женщины, как собирается броситься навстречу опасностям морского пути и, может быть, попадет на чужбине под град стрел или встретится с копьем. Теперь Торвальд снова говорил с Брингвет больше, чем с кем-либо на хуторе Гиль-ау; правда, эти разговоры происходили в нетерпеливом ожидании грядущего. Как будто он забыл, кем она ему приходится и приходилась всегда, сколько он себя помнил.

Накануне того дня, когда Торвальд отплыл с норвежцами, они с Брингвет поднялись на гору за хутором и стали смотреть на море.

«Я боюсь моря, — сказала она. — Волны не умолкают, их так много, они такие жадные, хотят все проглотить. Однажды я видела, как у нас в Коннахте они разбили скалу, стоявшую посреди фьорда».

* Средневековая скандинавская денежно-весовая единица; равна приблизительно 216 граммов.



«Море, — ответил Торвальд, — это просто много капель воды. Опустит руку в море, а потом поднеси к глазам, и ты увидишь, как с руки одна за другой стекают капли и какие они маленькие и жалкие».

«Но они становятся могучими и беспощадными, стоит им вновь собраться вместе, — сказала она и ненадолго замолчала. Затем она постаралась придать своему голосу радостное звучание и, вместо того чтобы попросить Торвальда не забывать ее в чужих краях, сказала лишь: — Под морем все острова встречаются».

«Или над морем», — с улыбкой добавил Торвальд и поднял взор к голубому небу.

Все это происходило ранней весной, погода стояла хорошая, но кто знал, в какую сторону она могла измениться. Когда Торвальд и его спутники отплыли, западный ветер шумно задул им вслед и бодро понес их на восток. Но северный ветер наперекор ему вознамерился сохранить власть зимы, надел себе на голову холодный шлем из тяжелых туч и задул из своей инеистой бороды, сопровождая потоки воздуха то тяжелым градом, то холодным ливнем, то гневными раскатами грома.

Корабль отнесло далеко с правильного пути, они пробыли в море уже долго сверх положенного, а ненастье все не кончалось; уставшие люди едва успевали вычерпывать воду. Можно было ожидать, что эти испытания придадут Торвальду сил для подвигов, ведь он был молод и храбр. Однако он опустил руки, когда сам Эгир* поднял лютый шторм, принялся бить по обшивке корабля и напустил на него волны, своих дочерей, холодных, сердитых и таких высоких, что они заслоняли все небо. Хороший прочный корабль вдруг показался Торвальду малой скорлупкой. Торвальд шатался, точно пьяный, от борта к борту; все, что он знал или умел, было бессильно. Небо и море — на что они гnevаются? Кто управляет их яростью?

Торвальд сидел, съежившись, на палубе у носа корабля; его переполняли мерзкая тошнота и чудовищное унижение.

Торстейн подошел к нему, взял за плечи и потряс.

* В германо-скандинавской мифологии демон моря.

«Вставай, вставай, трусишка, — сказал он, — за работу! Не будешь делать то, что должен, — выкинем тебя за борт!»

«Я туда и сам не прочь», — ответил Торвальд.

«Не притворяйся слабаком», — сказал Торстейн.

«А что мы можем поделать? — спросил Торвальд. — Разве ты решаешь, доберемся ли мы до берега?»

«Но попытаться следует, — сказал его друг. — Или ты хочешь в миг опасности призвать на помощь Тора, а может, того бога, которого дала тебе Брингвет?»

Тут Торвальд вспомнил о серебряной монетке на тонком кожаном ремешке, которую Брингвет на прощание повесила ему на шею несколько дней назад. На монетке была изображена женщина в короне, с ребенком на руках.

«Мария, Матерь Божья, — сказала она, — звезда, сияющая над бурной пучиной морской, оградит тебя от всех невзгод, друг мой! Носи ее всюду, куда б ты ни поехал».

Он запустил руку под куртку: монетка была на месте. Она вобрала в себя все молитвы Брингвет за трижды семь зим ее изгнания, поэтому его окоченевшие пальцы почувствовали, как от изображения исходит жар — единственное тепло, которое нашлось в холодном, мокром и сером мире, стремившемся поглотить его в один присест, прежде чем он успеет доказать: ему есть что поведать людям.

Торстейн не знал об этом. Он зло сплюнул в море и сказал:

«Ты хочешь опозорить меня тем, что мой лучший друг — трус?»

Темная яростная волна вслед за его словами громко ударила в корму; корабль тяжело закрипел и понесся дальше.

Торвальд встрепенулся, словно хотел согнать с себя дрему, поднялся и спросил, что от него требуется. Ему велели вычерпывать воду, и его помощь пришлась очень кстати, ведь он черпал за двоих и не уставал; наверное, в период своей слабости он накопил много сил, а еще в нем проснулось мужество. Его товарищи сочли это хорошим признаком.

День спустя шторм наконец успокоился. Ветер унес тучи и дал солнцу высушить одежду корабельщиков, согреть замерзшие пальцы. На море воцарилось весеннее перемирие, волны улеглись, качка уменьшилась, и задул попутный ветер. Земля еще не показывалась, но людей больше не терзал страх. Торвальд стоял у мачты, его вера в корабль и собствен-



ную удачу росла; трудно было поверить, что еще недавно не мог от ужаса пошевелить ни рукой, ни ногой.

Во время непогоды большая часть товаров, которые везли корабельщики, канула за борт, в том числе шкуры и сушеная рыба, которую Торстейн собирался продавать в чужих краях.

«Не беспокойся, — сказал Торвальд, — ведь у меня есть еще серебро, и мы разделим его поровну».

Глава 11

Встреча Торвальда и Фридрика

Торвальд и его спутники сошли на берег в Дании и проследовали в город Хедебю. Там они увидели такое множество домов, что у них захватило дух (хотя они не подали виду). В городе были деревянные мостовые; по улицам ходило множество народу, и все так кричали и шумели, что можно было подумать — здесь каждый день собирается тинг*. Псы облизывали миски и рылись в мусорных кучах, из нужников тянуло воню. Здесь много пили, и хватало доступных женщин, но друзья не позволили себе пуститься в разгул. Здесь был большой торг: пушнина и кость, кожи и сушеная рыба, смола и соль, кадки и кружки, янтарь и оружие. Здесь выкапывали ямы в земле, разжигали в них огонь, клали в горячие угли мясо, лук и капусту и прикрывали раскаленными камнями. Такой способ готовки пришелся по вкусу Торстейну, охочему до новинок.

Надо ли говорить о том, что серебро Торвальда истрачено быстро! Он доверял всем, он был беззащитен перед любезностью и хитростью купцов, он не умел торговаться, внимательно выслушивал, как купцы расхваливают предлагаемую ему вещь, а недостатков ее не замечал и не искал. Также он был щедр к калекам, лишившимся ноги или руки в сражении, которые пытались прокормиться крохами со столов жителей Хедебю. Неужели «хорошее» серебро Кодрана тоже было недоброй добычей, которая не пошла впрок? Неизвестно.

* Народное собрание; на Руси аналогом тинга было вече.

Произошли одновременно два события. Торвальд понял, что деньги его ослепляют, и увеличивать свое состояние он совершенно не умеет; та же часть казны, которую он отдал Торстейну, выросла вдвое. Торстейн быстро научился покупать в деревнях коней и продавать втрое дороже воинам, которые приезжали в город с добычей; при этом умел сперва подольститься к ним, подпоить их, а порой предлагал им меняться ножами или мечами — и всегда оставался в выигрыше. Это обеспечивало ему деньги и хорошее снаряжение для Торвальда, которому скоро наскучило сидеть в Хедебю и отгонять от себя здешних потаскух.

Вышло так, что побратимы познакомились со Свейном, прозванным Вилобородым. Он называл себя сыном датского конунга Харальда, сына Горма. В свое время Харальд выгнал Свейна из дома, назвав его вором и смутьяном. Гораздо позже Свейн оплатит отцу той же монетой и прогонит его из своего королевства. В год знакомства с Торвальдом и Торстейном он много времени проводил в военных походах, и дружинники, по обычаю викингов, называли его конунгом. Свейн Вилобородый хорошо принял друзей, и они вступили в его дружину.

Каким образом Торвальд Кодранссон снискал уважение в дружине Свейна Вилобородого? Куда несло это войско с яростными кличами, призванными заглушить в сердце страх смерти, где рассекали они кольчуги, разбивали щиты, ломали носы и ключицы, отрубали врагам руки, протыкали им животы, вцеплялись им в горло, крушили и жгли? Да не все ли равно; в тот век, как и во многие другие, разыгрывались тысячи тысяч битв, и все они сейчас — совершенно справедливо — позабыты. Разве что какой-нибудь богатырь перед началом сражения или перед собственной гибелью изрек слова, которые всем запомнились. Впрочем, эти слова могли быть сказаны гораздо позже, когда наш участник сражения наконец сообразил, что ему следовало сказать в минуту смертельной опасности, или вообще их просто кто-то позже придумал.

Ни одна крылатая фраза не слетела с уст Торвальда во время его участия в военных походах. Он получил под свое командование отряд отнюдь не благодаря красноречию. Он не подзадоривал товарищей перед битвой, расписывая



ожидающую их роскошную добычу. Он ничего не говорил и о грядущей славе и почете. Он обращался к ним с громкими и ясными словами: «Вперед, мои люди!», затем указывал дорогу взмахом меча и сам первый шел по ней. В этих скупых словах и во всем его облике таилась сила, которая преодолевала все колебания в зародыше; он простирал вперед руку и бросал дружину вперед своей волей и двигал ею, как ветер — волнами.

Но этого не случилось бы, если бы викинги Свейна Виллобородого прежде не видели Торвальда в ближнем бою. Пусть другие предпочитают боевому искусству глупую ярость и неоправданно быстро растрчивают силы, пусть они скрешивают сталь со сталью, затупляют клинки широкими ударами, которые корежат шлемы и ломают щиты. Торвальд дразнил и раззадоривал противника непоколебимым спокойствием, он всегда ждал подходящего момента, сам помогал ему родиться в гуще битвы, а потом набрасывался на врага, подобно льву, и тот глазом моргнуть не успевал, как падал за-мертво.

Торвальд никогда не говорил о своих подвигах, предоставив это делать другим. В число этих других не входил его побратим Торстейн: у того по вечерам, когда воины пили пиво и похлопывали женщин по задкам, всегда находилось вдоволь рассказов о себе самом. Его сражения частенько кончались тем, что, когда все оружие было изломано, кто-нибудь из врагов вцеплялся зубами в его плечо или в руку и откусывал столько плоти, сколько мог отхватить. Но Торстейн вел себя мужественно — вырывался, бил яростного врага кулаком, ломал ему нос и выбивал зубы, так что они дождем падали в траву, а бывало, пальцами раздирал ему рот от уха до уха.

«После этого его уж точно девушки целовать не станут!» — говорил Торстейн.

Торвальда любили, и никто не смел упрекнуть его за, как считалось, чудачество: половину своей военной добычи он тратил на выкуп пленных, особенно женщин, и помогал им добраться до дому.

Все началось, когда войско Свейна Виллобородого вторглось в Саксонию. Лагерь дружинники Торвальда устроили в городе под названием Эйкарбриггя. Как-то они вернулись туда из набега и принесли с собой добычу: серебро, медные

и янтарные изделия, а также привели связанных вереницей мужчин и женщин, которых собирались продать в рабство. Вечером они устроили на рыночной площади пир, который сопровождался жеребьячьим хохотом, сальными рассказами, хвастовством, обжорством и жуткими попойками; местные жители спрятались от них за крепкими запорами и молили Бога избавить их от этой напасти.

Торвальд не был охотником до пиров, но не презирал развлечения своих дружинников. А может быть, в тот вечер лежать одному в постели было ему еще менее приятно, чем бродить по площади и общаться с товарищами по оружию. Туда он и направился — и увидел, что один из викингов схватил молодую пленницу и тащит к длинному столу под стеной дома, на которой пляшут колеблющиеся отсветы костров на площади. Викинг повалил женщину на стол со словами: «Лежи спокойно, сука, а не то глаза выколю вот этим ножом!» Маленький мальчик подбежал к ним с громким плачем и попытался стащить викинга со своей матери, но насильник отпихнул его ногой. Никто не считал это происшествие достойным внимания, кроме Торвальда и еще одного человека, который в тот миг вынырнул из прохода между домами. Торвальд подбежал, вцепился руками в плечи викинга и отшвырнул его, как есть, со спущенными штанами, и тот шлепнулся голым задом прямо в навозную жижу. Он поднялся с яростным криком, готовый лопнуть от злости, потрясая в воздухе ножом, но Торвальд успел раньше: выхватил из-за пояса секиру и разбил ему голову; и из черепа вытекла каша, которая так по нраву Одину: мозги с кровью.

Викинги повскакивали с мест и стали спрашивать, отчего он так сурово обошелся с их товарищем.

«Он себя слишком буйно вел, — ответил Торвальд, — и не спросил, может, я эту женщину хотел оставить себе?»

Викинги, ворча, вернулись к своим кружкам; знать, что смерть их товарища не будет отомщена, им было не по нраву, но ссориться с Торвальдом никому не хотелось. Торвальд сказал несколько слов обиженной женщине и ее сыну, но, когда они хотели поцеловать ему руку, сделать этого не позволил.

Человек, который стоял в отдалении и видел все происшедшее, звался Фридриком; он был священником в Эйкар-



бриггье, и все звали его не иначе, как Фридрик Епископ. У него было разрешение от Свейна Вилобородого проповедовать дружине слово Божие — если кому-нибудь захочется слушать. Свейн был скорее всего далек от веры, однако считал неразумным делать Христа своим врагом, ведь многие могучие конунги почитали его и носили его знаки. Однако не хотелось ему и покупать расположение Христа, окрестившись самому, как поступили некоторые его предки, в частности, его отец Харальд, сын Горма.

На следующий день Фридрик пришел к Торвальду — поблагодарить его за спасение женщины и мальчика. Также ему не терпелось узнать: отчего глава викингов решил проявить милость?

«Милость? — переспросил Торвальд, будто не понимая этого слова. — Я просто поступил правильно».

«Это верно, — ответил Фридрик. — Но я знаю, что ты язычник, родом из Исландии. Кто научил тебя отличать правильное от неправильного?»

«Я не хочу прослыть низким человеком», — сказал Торвальд.

«Ты доблестный человек, — сказал Фридрик. — Ты считаешь, что глумиться над беззащитными не пристало. Но ведь ты пошел еще дальше. Я знаю, что утром ты выкупил эту женщину и позволил ей уехать домой. Отчего?»

«Иначе я сделал бы только полдела», — сказал Торвальд.

Позже, когда между ними установились доверительные отношения, он рассказал Фридрику, что в тот вечер он как наяву увидел перед собой уже однажды виденную картину, действующими лицами которой были он сам, Брингвет и его отец. Это видение следовало разбить, уничтожить — он сам не знал почему. Наверное, в тот миг просто не было другого пути вновь повернуть в правильное русло мир или хотя бы его малую часть.

Фридрик про себя подумал: этот исландец избегнет адского пламени. Но он не пытался просветить предводителя викингов рассказами о великолепной и безбрежной власти Господа. Он уже достаточно долго проповедовал христианскую веру, чтобы знать, что такие речи вызывают больше вопросов, чем может разрешить сотня клириков. К тому же он знал, что неподготовленным викингам рассказ о том, что

Христос победил весь мир, дав распять себя на кресте, казался отъявленным вздором. Проповедники пытались скрыть это неудобство и говорить как можно больше о Царе Небесном, сидящем на престоле в великой мощи и славе, и как можно меньше — об агнце Божиим, который избавит мир от грехов, отправившись на заклание. У Фридрика был свой способ приобщения людей к учению Христа: «Если язычник попросит тебя показать ему свою веру, своди его в церковь».

Церковь в Эйкарбригге воздвигли немногим спустя после того, как Карл Великий крестил саксов огнем и мечом. Помещение было невелико, убранство небогато, так как церковь часто грабили, воздух не был напоитан благовониями, пение было некрасивым и нестройным, у алтаря горело всего две свечи, прихожане были малочисленны и бедно одеты. И все же эта церковь была самым большим зданием, куда доводилось заходить Торвальду Кодранссону. И это было единственное пение, которое он слышал, если не считать непристойных песенок и невнятных молитв. Он никогда не видел, чтобы безоружный был наделен такой властью, как Фридрик, который своими молитвами-чарами и простертыми руками двигал своих приспешников, словно ветер — траву: то валил их на землю, то поднимал на ноги, то повергал этих несчастных в ужас, то возжигал в них искру надежды. По правде говоря, Торвальд шагнул в какой-то другой мир — но, как ни странно, он казался ему знакомым: так люди во снах путешествуют по странам чудес и ничему не удивляются.

Когда они с Фридриком по окончании службы прошли к боковому входу, взгляд Торвальда упал на образ Марии с Младенцем, стоявший на высоком столбе. Ему не нужно было объяснять, Кто это. Это деревянное изображение не украшали серебром или драгоценные камни, но вырезано оно было с большим искусством и искренней верой. Это Торвальд смог разглядеть хорошо, потому что из высокого окна на лик Девы падал солнечный луч и делал Ее улыбку одновременно грустной и лукавой, далекой и знакомой. Пречистая Матерь смотрела сверху на предводителя викингов — и на Своего Сына, который спокойно сидел у Нее на коленях, словно не подозревая, что ждет Его в мире людей; в этот момент в сознании Торвальда слетел покров с другой картины: как сам ребенком сидит на коленях у Брингвет,



которая напевает ему: «Хвала тебе, жизнь наша, и радость, и надежда, к тебе поднимаются вздохи наши из земной юдоли. Обрати свой милосердный взор на нас и яви нам благословенный плод чрева твоего. O clemens, o pia...*».

Торвальд стоял долго, все не мог оторвать взгляда от образа на столбе. Фридрих часто обнаруживал в страстном почитании нищими духом святых образов идолопоклонническую ересь; они путали мертвую материю с вечными истинами, они чтили Матерь Божию, видели в Ней всех женщин, но забывали Ее Сына. Но у Торвальда он ничего такого не почувствовал. Фридрих сказал:

«Эта церковь мала и бедна. Но она — дом Господень и врата Царствия Небесного, как и тысяча других церквей, воздвигнутых за тысячу лет. Знай же, Торвальд, что вся слава, все богатство и все подвиги — лишь пепел и тлен по сравнению с обретением в сем доме прибежища и просветления. Лишь для зла вы, викинги и воины, грабите и сжигаете беззащитных, бессмысленно укорачиваете друг друга на голову. А мы, Божии люди, епископы, клирики и монахи, объединяемся в свои войска, сила Христова — наши доспехи, наши молитвы и службы — огненные мечи, коими мы машем над тысячью голов злобного дракона, имя которому дьявол и сатана и которому суждено быть закованным в цепи и низринутым в бездну и запечатанным...»

Вдруг Фридрих умолк. Он вспомнил, к кому обращается и как мало этот викинг способен понять, рассердился сам на себя — и вместе с тем удивился: Торвальд стоял на месте, и ему, казалось, нравится слушать слова, значения которых он не вполне понимал.

Глава 12

Опасная поездка в Бьяртнарборг

Считается, что Торвальд, викинг-добродей, был настолько любим народом, что это не только помогло ему самому выбраться из темницы некоего герцога, но и вызволить

* О милостивая, о благая... (лат)

оттуда конунга Свейна Вилобородого. Однако это неправда. Исландцы жили вдали от центров мира, и тем более велико было у них искушение приписывать своим землякам участие в важных событиях, в которых они все решали за конунгов; впрочем, так оно бывает и сейчас.

Но нам доподлинно известно, что Свейн послал Торвальда Кодранссона на встречу с хёвдингом Бьяртнарборга на реку Саксэльв*. Одни называют этого хёвдинга Баурдом, а другие — Буриславом, смотря по тому, относят они его к скандинавам или к вендам.

Нам не многое известно о нем, как и о множестве других вождей, правивших в глубинах материка, куда не заходили исландские корабли, везшие людей любознательных, памятливых и беспрестанно слагающих стихи. Их землякам вечно приходилось хлопотать, чтобы эти правители и после смерти не спихивали друг друга со скрижалей истории, как они пытались делать это при жизни.

Иные превозносили Баурда за его решительность, мудрое правление и удивительное послушание, которого ему удалось добиться от своих подданных. Это лишний раз доказывает, что у великого властителя всегда много сторонников, даже если сам он — человек прескверный, и со временем всем начинает казаться, что он-то как раз и обладал некими средствами, чтобы выжить в изменчивом мире, там, где больше никому не под силу. Безусловно, у Баурда кое-какие средства были, но кому же они шли на пользу? Говорят, что у дворца Баурда в Бьяртнарборге был колодец с самой лучшей водой. Возле него стоял стол, а на нем золотой кубок, из которого пить мог всякий, кто только пожелает. Этот кубок никто не осмеливался украсть, да это было бы немислимо; глазам каждого, кто отряхивал капли с бороды и поднимал взор от колодца, представало ужасное зрелище: на крепостных стенах возвышались виселицы и столбы, на которых корчились в муках воры, развратники, вымогатели, заговорщики и прочие, кто пришелся Баурду не по нраву. Иные из них были повешены за руки, иные — за два пальца, иные за ноги, иные — за детородные органы, а иные поса-



* Река Эльба.

жены на острые колы, которые медленно, но верно и мучительно вонзались все дальше в их внутренности.

Этого-то хёвдинга Свейн и хотел заполучить в союзники против своего отца Харальда. Он снабдил Торвальда щедрыми дарами для Баурда, но при этом предупредил, что с некоторыми посланниками, приходившими к нему, Баурд обошелся скверно. Один из них, войдя к конунгу, забыл снять перед ним шапку — Баурд велел схватить его и прибить ему шапку гвоздем к голове. Другой привез для Баурда вино в бурдюке, а вино за время пути прокисло, и его утопили в выгребной яме. Так что Торвальд, сказал Вилобородый, вправе отказаться от этой опасной поездки. Но Торвальд перед этим недавно крестился и полагал, что зло убоится новокрещенного. Поехал с ним и Торстейн — по простоте душевной, которая иной раз заводит исландцев в их блужданиях по миру на самую грань. А если там их настигает конец, они думают: «Разве мне было суждено другое?»

Они прибыли в страну Баурда и на рубеже предъявили грамоты со своими полномочиями. Воины посмотрели на них злыми взглядами и отрядили двух человек, чтобы сопровождать их кратчайшим путем до Бьяртнарборга. Эти попутчики не общались с гостями, и все молчали по дороге через лес, даже Торстейн. Чем ближе к резиденции Баурда, тем чаще становился лес — и тем сильнее сгушалась тишина вокруг них.

«Я больше не слышу птичьего щебета, — сказал Торстейн своему другу как-то вечером, когда они расположились на ночлег. — Здесь даже ветердохнуть боится».

Бьяртнарборг показался приятелям большим городом. Глубокий ров, вырытый вокруг него, наполнен водой из реки Саксэльв, за ним вздымаются высокие и прочные крепостные стены, на них через каждые сто саженей стоят башни с мощными, обитыми железом дверьми, а над ними — каменные арки. Улицы прямые, широкие и чистые, словно дворцы. Горожане сыты и хорошо одеты. Никто не сидит сложа руки: или ремесленничает, ими торгует.

Никто не выразил удивления или любопытства, увидев гостей, все лишь вежливо здоровались, но ни о чем не спрашивали; казалось, местным жителям не требовалось даже переговариваться между собой. Приятели заметили висели-

цы и столбы на крепостной стене, смотрящей на реку, но не увидели на них людей — и посчитали это добрым знаком.

Огромный дворец Баурда был построен из тесаного камня черно-серого цвета, окна были узки, и поэтому он казался слепым чудищем, наострившим уши-башни; с этих башен хорошо просматривалось передвижение людей близ города. Множество дверей распахивалось перед Торвальдом и его спутниками, и вот они вошли в зал, где на троне восседал Баурд — долговязый человек в длинном одеянии, чернобровый, бледнолицый, глаза навывкате, лицо книзу сужающееся. Они приветствовали его, Торвальд поднес Баурду дары — золото и серебро, а затем изложил предложение конунга Свейна. Баурд погладил бороду — длинную и редкую. Они не понимали, по нраву ли ему такой союз. Когда Торвальд завершил свою речь, Баурд сказал, что вновь встретится с ними за ужином, и велел проводить посланников в их комнаты.



Вечером они сидели за его столом, разомлевшие от вина и свиного жаркого. Баурд говорил мало. А хозяйка дворца — еще меньше; она сидела с ними, на голове у нее был высоко повязанный платок, а на шее — тяжелая золотая цепь. Торстейну это сборище показалось унылым, и он принялся повествовать о своих подвигах на море и на суше. Торвальд молчал. Баурд оживился лишь тогда, когда Торстейн стал рассказывать, как они с товарищами гнали сконского ярла через пол-Швеции.



«Пошли мы, — говорил Торстейн, — в разведку и увидели ярла с его людьми, но нас разделяла преширокая река. И тут мы видим: ярл стоит на коленях на берегу реки и задует огонь. Тут тучи вышли из-за месяца, нет, то есть месяц из-за туч, и все стало совсем хорошо видно. Я попросил Торвальда одолжить мне лук и пустил стрелу через реку, а она вонзилась ярлу прямо в задницу, прошла навывлет и вышла изо рта».

Лицо Баурда расплылось в улыбке. «Хорошо же он получил по заднице, пусть и невеликим копьем», — сказал он. Тут Торвальд заметил, что Вилобородый потому хочет заключить союз с Баурдом, что славны его воины в сражениях.

«Мои люди, — сказал Баурд, — отличные воины. Когда они бились с богемским конунгом и им пришлось отступить из-за численного перевеса противника, тех, у кого раны были спереди, я наградил серебром, а тех, у кого сзади, — оскотил и посадил на кол».

Торстейн сказал, что нигде не встречал такой чистоты, как в Бьяртнарборге, и чтобы жители были так здоровы и богаты.

«Хороший конунг, — ответил Баурд, — не потерпит в своем королевстве нищеты и болезней».

«Золотые слова, — сказал Торвальд. — А как же вы изгоняете из страны это зло?»

«Я повелел построить к востоку от рва длинный дом, — отвечает Баурд, — и пригласить всех больных, слепых, хромых, дряхлых и хилых, всех бедных и нуждающихся туда на пир. Никто из них не заставил себя долго ждать, каждый ел и пил вволю. После трех дней пира я спросил моих гостей: не хотят ли они, чтобы я избавил их от забот и невзгод, болезней и хворостей, бед и горя. Они обрадовались и сказали: «Хотим!» Тогда я велел запереть дом и поджечь. Все сгорели, и с тех пор в моей стране нет несчастных».

Тут, как и следовало ожидать, гости примолкли. Баурд попеременно бросал взгляды на каждого из них и поджимал верхнюю губу в ухмылке; он имел сходство с большим котом.

«Ты, Торвальд Исландец, — сказал он, — пришел сюда и хочешь лестью выманить у меня согласие помочь Свейну войском. Но ты не один такой: две недели назад приходил сюда посланник его отца Харальда и хотел купить мою поддержку против Свейна».

«И что вы ему ответили?» — спросил Торвальд.

«Я его на кол посадил, — ответил Баурд. — Тут на виселицах гнили несколько заговорщиков, а посланнику Харальда это не понравилось, и он стал морщить нос. Я и велел натовчить для него кол повыше, чтобы до него смрад не долетал, потому что гостей оскорблять нельзя... Честно говоря, надоели мне эти посланники. Почему я знаю, может, они пришли разноухать, какова моя дружина, или мутить моих поданных против меня?»

Торвальд со товарищи не знали, что и ответить. Баурд встал, пообещал на следующее утро дать ответ на предложение конунга Свейна и пожелал им доброй ночи.

Товарищи вошли в комнату и услышали, что дверь за ними запирают снаружи. Они молча переглянулись. Оба тотчас подумали, что наутро их не ждет ничего, кроме жуткой смерти на колу или виселице, но как ни странно, больше всего они испугались не самих мук, а того, что никто так и не узнает об их судьбе. Посоветовавшись, они решили, что самое худшее — просто сидеть и ждать своей участи. Комната, куда их поместили, находилась — судя по горящим внизу огням — слишком высоко, чтобы думать о прыжке из окна. Но под кроватью они обнаружили длинную веревку и так обрадовались этой находке, что им не пришло в голову спросить себя, почему она там оказалась. Они привязали веревку к кровати, выкинули конец из узкого окна, через которое Торстейн едва протиснулся, и стали спускаться вниз. Но не успели они ступить на плиты двора, как набежали вооруженные люди, зажали их щитами, так что они не смогли шевельнуться, схватили и связали. Стражники молча повели их во дворец и вниз по винтовой лестнице и привели в большую темницу, где был полный набор пыточных инструментов — дыбы, колеса, хлысты, пруты и клещи, клетка с шипами и ошейники для удушения.



Здесь их подждал, злорадно улыбаясь, конунг Баурд. Он велел стражникам уйти, потом снял со стены факел, приблизился к своим гостям, сидящим связанными на скамье, и ткнул в них факелом, так что едва не опалил им волосы и бороды.



«Псы вероломные, — заорал он, — поправшие законы гостеприимства! Волки во святилище моего справедливого королевства! Прихвостни Свейна и Харальда, обманом желающие отнять у меня Бьяртнарборг! Завтра вас посадят на кол!»

Баурд ждал, что они начнут просить пощады, но друзья молчали.

«Что для вас смерть?» — спросил он.

«Одно лишь благо, — ответил Торвальд, выпрямившись, насколько позволяли его путы. — Я христианин, и меня ждет ласковый приют у Христа моего и матери Его Марии в Господнем раю».

Эти слова развеселили Баурда.

«Не будет этого ничего, Торвальд-христорболван! Не такой уж я недоумок, чтобы позволить тебе умереть за один день —

даже если этот день покажется тебе бесконечным. Нет, пока мы оба живы, ты будешь сидеть в этом узилище, и каждый день я буду изобретать для тебя новую пытку. В один день ты будешь бит шипастой плетью, в другой крысы обгложут твои руки, в третий тебя растянут на колесе, в четвертый подвешат за большие пальцы над дымом, в пятый будут жечь каленым железом, в шестой ты будешь лежать на шипах с мельничным жерновом на брюхе, в седьмой будешь пить вместо причастия мочу, и придет день, Торвальд, когда ты пожелаешь, чтобы ты никогда не родился, никогда не жил и никогда не слышал о Христе, сыне Марии, и ты отречешься от него и скажешь: «Тебя я знать не хочу, а твою потаскуху мать осуждаю»».

«Господь — пастырь мой, — сказал Торвальд. — Я не отступлюсь от Него».

«А ты, Торстейн, — спросил Баурд, — что думаешь о своей смерти?»

«Я думаю, что умереть — это совсем неплохо, — ответил Торстейн. — Только жаль, что одного я не успел».

«И что же это?»

«Я не успел переспать с твоей женой, Баурд. Просто стыдно, что такой цветок, такая пряная трава чахнет в этом вонючем городе, оттого что у тебя духу не хватает поливать ее как следует».

Баурд долго сотрясался от смеха.

«Торстейн, — сказал он, — ты наш человек! Я закую тебя в ножные кандалы, чтобы ты далеко не убежал, а на голову тебе сошьют шапку с бубенцами. Она будет знаком высокой должности: ты станешь моим придворным шутом и будешь управлять смехом у меня на пирах. Тебе будут давать вволю выпивки и позволят вскакивать верхом на жен всех тех, кого мне нужно унижить, лучше всего так, чтобы они видели. Но лучшей потехой для нас будет вот что: ты станешь палачом этого своего приятеля. Мы будем каждый день приходить сюда и обсуждать, какая пытка ему нынче предстоит, а ты будешь махать кнутом над его головой и раскалять железом, и точить для него шипы, и мочиться в его кружку, и выпускать крыс из клетки...»

Баурд шагал взад-вперед с пеной на губах. В конце концов он остановился возле Торстейна, скорчившегося на лавке,

и заговорил, обращаясь к нему, быстро, почти доверительно: такую радость доставляла ему мысль о потехе, предстоящей им обоим. И тут случилось то, на что рассчитывают все, кто попал в передрагу, — что дьявол предаст своего ученика. Когда Баурд приблизился, Торстейн съежился, и конунг встал возле него, наклонив голову. В этот момент Торстейн резко распрямился и врезал Баурду головой по челюсти; тот не устоял на ногах и, падая, ударился головой о столб и потерял сознание. Торстейн тут же скатился с лавки, докатился по полу до острого края каменной плиты и перетер свои пути. Затем он развязал Торвальда. Друзья связали Баурда и уж затем привели его в чувство.

Торстейн стал дразнить конунга срамными словами и грозился испробовать на нем его собственные орудия пыток, но Торвальд уговорил друга не терять время. Они потащили конунга за собой вверх по лестнице, держа у его горла тесак. У дверей заставили позвать стражу, приказали привести коней и принести седла. Люди Баурда подчинились; в любом случае ничего хорошего их не ждало: они знали, что, если их правитель останется жив, он велит убить каждого, кто был свидетелем его позора.

Торстейн и Торвальд привязали Баурда на спину коню, приказали опустить подъемные мосты и умчались в лес. За ними никто не погнался.

Торстейн спросил: «А с этим нелюдем что делать будем? Может быть, конунгу Свейну будет приятно получить его в свое распоряжение?» Торвальд ответил, что теперь, когда они в безопасности, следует пощадить Баурда. Торстейн ничего на это не ответил, но тут же резким движением, схватив конунга за бороду, задрал ему голову и перерезал горло. Злая черная кровь низверглась потоком по гриве коня.

«Поступить так с ним — это справедливо», — сказал он.

Когда они возвратились в Эйкарбриггю и Торстейн описал все то, что им довелось пережить, конунг Свейн спросил его, не испугался ли он, оказавшись в пыточном застенке Баурда.

«Я не знаю, господин, — ответил Торстейн, — что такое страх. Но когда он перечислял нам с Торвальдом всякие пытки, зловеще хохоча и исходя слюной, то меня прямо-таки жуть взяла».



Свейн Вилобородый поднял рог и торжественно произнес:

«Получишь ты дополнение к имени и будешь отныне называться Торстейн Жуть».

Глава 13

Господь не хочет посылать иного

Идо, и после поездки в Бьяртнарборг Торвальд часто подолгу беседовал с Фридриком. Они обсуждали угрозы, на которые так богат мир, жизненные страдания и добрую надежду, таящуюся в вере. Торвальду предстояло узнать многое — в том числе и то, что он так никогда и не узнает достаточно и умрет в невежестве, ибо кто за свой краткий век сможет увидеть больше, чем малый лучик горного света, пришедшего в мир?

Фридрик старался как только мог донести до понимания Торвальда заслуги воинов Божиих, отринувших наслаждения и пороки, развлечения и богатство, власть и почет, служащих Господу и никому более и от такого служения делающихся еще более величественными и в жизни, и в смерти.

Однажды он рассказал ему об Алексии — Человеке Божиим. Алексей был рожден в Риме, от роду ему были уготованы образование, богатство и всяческие блага, а в семнадцать лет он взошел на брачное ложе с прекрасной царевной. Но в ту же ночь он попрощался с невестой, отряхнул прах Рима с ног своих, взошел на корабль и пустился в плаванье. Он прибыл в Эдессу, где хранится плащаница Господа, раздал бедным все свое имущество и семнадцать лет истово и преданно проводил в бдениях, молитвах и бедности, до тех пор, пока молва о его благочестивом житии не начала ему докучать и не привела к нему людей его отца, долго искавших Алексея по белу свету. Тогда он почел за лучшее возвратиться в Рим и искать прибежище в отчем доме — потому что никому не пришло бы в голову искать его там. Так оно и вышло: никто не узнал Алексея в доме его земного отца. Там Алексей — Человек Божий провел следующие семнадцать лет, ютился в крошечной холодной лачуге, выполнял ту работу, какую прикажут,

предавался постам, бдениям, истово молился и сносил поношения от отцовских слуг, которые били его и обливали помоями. Он принимал это спокойно. А когда Алексею при- спела пора умирать, во время воскресной обедни в главной церкви города раздался голос и сказал, что в следующую пят- ницу Человек Божий скончается в доме отца своего, и назвал тот дом. Оба царя Рима, архиепископ, и его родители, и су- пруга, и огромная толпа народу сошлись вместе и оплаки- вали Алексия на смертном одре. Тут случилось множество чудес: слепые прозрели, хромые начали ходить, бесы были изгнаны. Тело Алексия положили в золотой ковчег, который теперь стоит в церкви апостола Петра, и каждый, кто при- коснется к нему, получит то, о чем сам просит Господа.



Фридрих был многоученный человек, хороший рассказчик, в его голосе никогда не слышалось ни тени сомнения. Каж- дое его слово было как хорошо отшлифованный камень, за- нимающий свое место в доме Божиим, который он воздвигал вокруг души Торвальда, бродившей между светом и тьмой.

Торвальду казалось важным все, что говорил Фридрих. Он был исполнен доверия и восторга, однако не мог просто так, без сожаления, отринуть все то, что знал и о чем думал раньше, будто изношенную одежду.

«Такая смерть, безусловно, прекрасна, — сказал Торвальд, когда Фридрих окончил рассказ. — Но зачем Алексей скры- вался от своей матери? Зачем он сделал свою супругу вдовой еще при жизни? Разве они в чем-то провинились? Разве от- ворачиваться от родни хорошо и правильно?»



«Прежде следует слушаться Господа, чем людей, — отве- чал Фридрих. — Написано: кто не оставит отца своего и мать, братьев и сестер, жену и детей, тот не может быть Моим уче- ником*. Победа Алексия тем была значительнее, что он ра- зорвал узы природы, а эти путы — самые крепкие. Человек Божий знает, что природа зла, хотя и красива, она скрыва- ет от наших взоров другой мир, она стаскивает дух наш с вы- сот, она убаюкивает нас на мягкой подушке в час, когда пора трудиться. А коварнее всего природа проявляет себя в люб- ви к женщине, в первородном грехе — тогда ее голос ласко- вее всего, объятия мягче всего, мед слаще всего, но под всем



* Ср. Мф. X, 37; XIX, 29.



этим таится самое страшное искушение: чтить создание больше Создателя и Сына Его едиnorodного».

На это Торвальд ничего не ответил. Его сознание на миг возвратилось к той поре, когда он лежал в объятиях Хельги и считал себя счастливее всех.

«Берегись женщин, Торвальд! — сказал Фридрих. — Нет испытания тяжелее, чем отказаться от женских объятий. Святой Бенедикт говорит, что проще восстать из мертвых, чем постоянно находиться рядом с женщиной и не возлежать с ней. Но именно это совершил Алексей — и тем больше его подвиг».

Торвальд спросил: «А разве не написано: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю? Разве Алексею не надлежало зачинать со своей женой детей, которые продолжили бы его дело в грядущих поколениях? И почему Алексей закрывался в своей хижине в непрестанной молитве? Отчего он не ходил среди людей и не рассказывал им о правильном пути?»

«Всему свое время: время искать и время находить, время молчать и время говорить, время молиться и время трудиться. Алексею свое время, а миссионеру Людгеру* свое. Сейчас, Торвальд, настали тяжелые времена. Тот, кто сейчас сеет, не знает, что пожнет, пускающийся в море не знает, достигнет ли берега, выгоняющий стадо на пастбище не знает, не зарежет ли волк его овец, имеющий детей не знает, не лишится ли их во время голода. Дружба ничего не стоит, брат поднимает руку на брата, мать пожирает своих детей, несправедливость бесчинствует, множатся руины, лед не тает под солнцем, рыбы лазают по деревьям, а птицы ныряют в пучину морскую. Все гибнет в видимом мире, вещи торопятся к своему концу быстрее ветра, *mundus senescit***.

А невидимое глазу никогда не меняется, Торвальд. Для Господа один день — как тысяча лет, и скоро будет тысяча лет с тех пор, как Христос пришел в мир. Ныне дрожит всякая тварь, превеликая буря поднимается от пределов мира

* Людгер (ок. 742–809) — католический святой, миссионер в Нидерландах и Северной Германии, основатель монастырей и первый епископ Мюнстерского епископства.

** Мир стареет (*лат.*).

и вырывает с корнями все народы, и низвергает властителей во прах, и дробит их кости, и сметает их в глотку Хель*. Когда во время шторма ты лежал на корабле и не мог шевельнуться, Бог дал тебе разумение, что сила твоя ничтожна, а корабль — не спасительный ковчег в пучине погибели и бренности, а лишь утлая скорлупка. Но пусть погибнут небо и земля — слово Божие останется нерушимо. Есть такой ковчег, что не разобьется в бурю и не потонет при потопе, Торвальд, и ты взошел на борт его, ты крещен Святым Духом и огнем. Сейчас время для трудов, Торвальд, и ты окажешь мне помощь, ты протянешь свою сильную руку и понесешь в ковчег, во святую церковь, всех тех, которые до сих пор блуждают во мраке, гонимые бурей. За дело, Торвальд. У нас мало времени, ибо мир стареет...»



Черты лица у Фридрика были резкие, волосы черные и пышные, глаза сверкали, как острые ножи; он был еще не стар годами, но в момент этой проповеди казался мудрым пророком, идущим через поток вечности.

«Я всего лишь воин...» — начал Торвальд.

«Ты воин, — согласился Фридрик, — и тебе кажется важным, что ты лучше других обращаешься с мечом, ибо оружие дает тебе власть над жизнью и смертью. Но никто не защитит тебя от измен и лжи, кроме одного лишь Господа, который хочет, чтобы ты служил Ему, и отводит тебе большую роль в Своем воинстве. Его благословение пребывает с тобой с тех самых пор, как Он послал ангела к тебе в ущелье, когда ты был еще ребенком, дабы посеять в твоей душе зерно истинной любви. Он вырвал тебя из плена порочной женщины, Он удержал на плаву твой корабль во время бури. Он научил тебя обращаться с луком и мечом, чтобы ты мог выжить в мире, полном оружия. Он избавил тебя от стяжательства, чтобы добытые тобой деньги послужили благим целям. Он направил тебя на встречу со мной и дал мне окрестить тебя, дабы мы вместе поехали на твою родину и отвратили твоих соотечественников от греха и ада. Ты станешь исландским апостолом, тебя убоятся бесы, тебя благословят люди. Народ, блуждающий во мраке, увидит великий свет».



* В германо-скандинавской мифологии повелительница мира мертвых.



«Я не красноречив, — сказал Торвальд, — и знаю мало. Но я знаю свой народ. Они засмеют меня — кто я такой, чтобы они поверили мне?»

«Я поеду с тобой, — сказал Фридрик, — я вложу слова тебе в уста и буду учить тебя, пока ты не узнаешь всего, что нужно. И не проси Господа послать вместо тебя кого-нибудь другого, Торвальд, ибо нельзя бежать с поля битвы, на которое тебя призвал Господь».

Они оба замолчали. Однако Фридрик еще не все сказал. Он тихо произнес три слова, которые прозвучали совсем иначе, нежели его предыдущие тирады, — словно шелест листьев после грозы: «Господь выбрал тебя». Эти слова сбежали с его уст как вода со склона.

«Но почему я? — мысленно спросил себя Торвальд и сам же ответил: — А почему бы не я?»

Вскоре Торвальд увидел сон. Снилось ему, что он приехал в Исландию и стоит высоко на вершине горы, а внизу большая толпа народу, все, кто живет в Исландии — отец и брат, Брингвет и мать, Хельга и Грис, и Торд Иллугасон, которого он убил, и Снорри, которого он пощадил, и вожди, и бонды, и рабы. Все взирали на него, а он стоял под синим небом, и солнце было больше и яснее, чем ему когда-либо доводилось видеть, и играло на его белых одеждах, и сверкало на золотом кольце с синим камнем у него на пальце. Но наибольшее сияние исходило от деревянного креста в его руке: он был как самый яркий светильник. Слова струились из его уст, и такими грозными они были, что люди падали на колени, простирали к нему руки и кричали: «Заступись за нас, ибо мы навлекли на себя гнев Божий, смягчи Его неистовство, и мы будем послушны тебе». Затем с неба к нему сошла лестница, сделанная из света, и услышал он, как голос сказал: «Сегодня будешь ты говорить со Мною, сын Мой!» И по лестнице к нему спустилась Мария, Матерь Божия, сестра Брингвет, Мария из Эйкарбриггьи, улыбнулась ласково, подала ему руку и повела по небесной лестнице. Они шли все выше и выше; постепенно смолкли голоса внизу, и в нем укрепилось мужество, сомнения развеялись — он знал, здесь, в горних высях, не может быть ничего, кроме радости.

«Я как будто всегда ждал, что это случится», — рассказывал Торвальд своему другу Фридрику. Он не знал, что о снах своих лучше молчать, дабы наверняка от них была польза; а тот, кто рассказал свой сон, утратил власть над ним, и нет гарантий теперь, что этот сон поможет ему.

«Это великий сон, — сказал Фридрик, — и если он сбудется, Господь пребудет с нами». Так он сказал, но в глубине души почувствовал обиду. «Господи, — подумал он, — почему Ты посылаешь такой сон новообращенному, а не мне, слушающему Тебе дважды семь лет?»



Глава 14

Изгнание духа из валуна

Сколько человек сопровождало Торвальда и Фридрика? Вряд ли двенадцать... Но каждого, кто отправляется в путь по божественным делам, незримо сопровождают апостолы. Симон-Петр, чьи кости хранятся в Риме, Иаков, которого призывают испанцы, Андрей, которого чтят на Руси и в Шотландии, и не в последнюю очередь Иуда, брат Иакова, приходящий на помощь тем, кому больше не на что надеяться.



К сожалению, дух этого доброго апостола, приходящего к отчаявшимся, слишком поздно снизошел на север, в долину Ватнсдаль, чтобы возродить надежду, которую хранила в своей груди Брингвет. Слишком долго ждала она добрых вестей от тех, кто был ей дорог, — ждала и не дождалась; свет померк в ее очах, жизнь покинула ее тело. Когда Торвальд со свитой явился на хутор Гиль-ау, ему сказали, что она уже три месяца как умерла.

Рассказывают, что Кодран весьма любезно принял сына, возвратившегося из долгой поездки. Иные люди, старея, становятся раздражительны, другим старость подливает в горячую кровь холодной водицы рассудка, и они если не становятся лучше, то хотя бы не так охочи до злых слов и поступков. Подействовало на Кодрана и то, как уверенно выглядел сын, и то, как он был одет, и то, каким хорошим оружием он владел.



Отчего исландцы сначала хорошо приняли проповеди Фридрика? Неоднократно повторялось: язычникам ничего не стоит прибавить в свой пантеон пару лишних богов — Христа или кого-то еще. Всегда разумно обеспечить себе побольше защитников на земле и представителей на небесах. Но главной причиной послужило то, что простой народ падал на новизну. Для Кодрана и его родни из Гиль-ау в первую зиму, пока там жили проповедники, было большим развлечением смотреть в ярком свете свечей на облаченного в торжественные одежды епископа Фридрика, слушать колокольный звон и дивное пение о пришедшей в мир радости.

Мы знаем, что все это пришлось весьма по нраву бонду Кодрану. Гораздо меньше мы знаем о том, какова была судьба того великолепного учения, которое проповедники привезли с собой и которое Фридрик вложил в уста Торвальду. «И тьма язычества побежит пред зарей правды, тьма диавола уступит солнцу Христа, дождь Господней милости оплодотворит землю, а мы облечемся правдой, опояшемся верой, обуемся справедливостью, увенчаемся мудростью и милосердием». Но, вероятно, семя веры посеяно было в почву столь рыхлую, что она поглотила его безвозвратно.

Фридрик и его люди быстро добрались до того аргумента, который лучше всего действовал против языческих богов: отказываться от веры, которой сопутствует большая сила, нежели прежним верованиям, просто глупо. Это выгодное предложение, торопитесь, а то потом будет поздно! Мы пока не спрашиваем, что вы можете сделать для Бога, лучше вы спросите, что Бог может сделать для вас, а мы за ответом не постоим!

Чистому душой Торвальду не нравилось, что дело принимает такой оборот, но, с другой стороны, его рвение было велико, а времени у них было мало — а в таких случаях все средства хороши.

Об этом и пойдет речь, ибо нам необходимо поведать историю о Кодране и его духе-покровителе.

Однажды Кодран своеобразно похвалил Торвальда, сказав, что в лице Фридрика он обрел очень полезного покровителя. «А у меня, — сказал он, — свой покровитель, и он всегда мне сильно пригождается. Он предсказывает мне бу-

дущее, бережет мой скот и предупреждает, чего мне опасаться».

Этот покровитель, как выяснилось, жил в большом валуне недалеко от хутора Гиль-ау. Ему, оказывается, не нравились завывания епископа, и он хотел прогнать Фридрика, Торвальда и всех тех, кто прибыл с ними.

Торвальд не пожелал дальше слушать, как его отец расточает похвалы обитателю камня, и предложил: «Если мой покровитель, — сказал он, — силою Господа небесного, в которого мы верим, изгонит твоего духа-покровителя, то ты станешь на его сторону — сторону всемогущего Бога, и примешь крещение».



Кодран согласился: предложение показалось ему интересным, хотя и рискованным. Ему было невдомек, что Торвальд, поставив свое условие, ни на миг не задумался о том, что победа может остаться и за обитателем валуна, он не сомневался в том, кто станет победителем. Однако с его стороны здесь не было ни лжи, ни обмана; тому, кто только что обрел истину, ни за что не придет в голову, что и ложь тоже может победить. Разумеется, силы в том поединке, о котором пойдет речь, были неравны. С одной стороны — епископ Фридрик с распятием, в роскошном облачении, со святой водой, которую он без счета лил на жилище духа, сопровождая это молитвами на латыни и громкими песнопениями. С другой стороны — несчастный исландский альв*, разбирающийся разве что в скотине да погоде; вот он съезжился: один, вдали от всех других существ, покинутый бедолага, которого предал хозяин, — ждет, что на него вот-вот обрушится вся мощь христианского колдовства.



«Плохо ты поступил, — сказал обитатель валуна, явившись Кодрану во сне, — что пригласил сюда людей, которые коварно хотят лишить тебя моей заботы и изгнать меня из моего дома. Они вылили на мое жильё бурлящую воду, и мои дети жестоко страдают от жгучих капель, что сочатся сквозь кровлю».

И на другую ночь явился дух-покровитель Кодрану во сне, и на третью. Он был все мрачнее. Камень, в котором он жил, пошел трещинами — то ли от молитв, то ли от обильных из-



* В германо-скандинавской мифологии дух природы.



лияний. «Епископ христиан, — голосил дух, — порушил мое жилище, изорвал и испортил мои платья, оставил меня без крова. Теперь нам придется зажить врозь и прервать дружбу, бонд Кодран, а все из-за того, что ты, бесчестный человек, отплатил мне злом за добро. Подумай о том, кто будет отныне беречь твое добро так прилежно, как берег его я!»

Удрученный горем альв так был поражен тем, как с ним обошлись, что совсем забыл про силу, которая всегда была присуща всем альвам Исландии. Он отступил, сдался, ушел в изгнание. Но на этом его история не кончилась, и это не удивительно, так как воин Божий Торвальд не сомневался в существовании этого духа, как и других коварных духов, которых создал дьявол, чтобы морочить людей.

Глава 15

Злые речи и вредоносные деяния

Жители Северной Исландии на первых порах приняли Божью весть, как уже было сказано, благосклонно. По крайней мере они проявляли к Фридрику и Торвальду дружелюбное любопытство. Но вскоре их доброжелательность сменилась резким отторжением, злобными речами и желанием как можно сильнее навредить христианским проповедникам.

Торвард, сын Бёдвара Мудрого с хутора Гребень, что в Хьяльтадале, был одним из тех, кого их слова привели к крещению. Он даже построил на своем хуторе церковь, и там был священник, которого поставил служить Фридрик. Соседи-язычники попытались сжечь церковь, но убить священника, что им больше всего хотелось, они не посмели. В поджоге участвовал и брат Торварда — Арнге́йр. Они вломились в церковь ночью, и Арнге́йр уже собрался разжечь огонь, но дерево не хотело заниматься, и он лег на пороге и принялся дуть. Тут из темноты прилетела стрела и воткнулась прямо возле его головы. Не успел он подняться, как прилетела вторая стрела и пригвоздила его рубашку к полу. Третьей он ждать не стал и заторопился прочь вместе с остальными поджигателями.

Так Бог защитил дом Свой, напомнив людям, что в этом мире победа достается все-таки тем, кто попадает, во что целится, когда на кону стоит многое. Примечательно, что стрелы чудесным образом спасли именно ту церковь, в постройке которой принял участие такой отличный стрелок, как Торвальд Кодранссон.

Но прошло совсем немного времени, а новообращенные уже начали сомневаться в новой вере. Они знали, от чего отказались, заключив союз со Всевышним, — языческие боги выполняли их просьбы лишь эпизодически, а им хотелось, чтобы так было всегда. Да, Господь защитил Свой дом на хуторе Гребень. Он спас Торвальда от беды, когда языческая чернь хотела побить его камнями на весеннем тинге в Хегра-несе. А когда хёвдинги-язычники собрали отряд и отправились в Лайкьямуут, чтобы сжечь епископа Фридрика и его людей в их доме, Он послал им навстречу стаю птиц. Перепуганные лошади понесли, язычники попадали из седел, и многие переломали о камни руки и ноги.

Однако всего этого могло и не случиться. Не выяснится ли вскоре, что длань Господня чересчур коротка? Услышит ли Он все, что говорят Ему? Все ли равны перед Ним — вдруг одним Он благоволит больше, чем другим? Заморозит ли Он на телах христиан вшей, мешающих им спать своими укусами? Спасет ли Он ягнят Энунда из Рейкьядаля суровой весной, прежде чем до них доберутся хищники? Направит ли Он корову Хленна с хутора Грязи правильной дорогой, чтобы она не увязла в болоте? И почему травы на лугу не растут у нас, христиан, лучше, чем у язычников? — спрашивали они Торвальда.

«Не поминайте имя Господа всуе, — говорил Торвальд. — Он присмотрит за всем».

«Когда?» — спрашивали они.

Они слышали, как они с Фридриком рассказывали о многих дивных деяниях Господних, но велико было расстояние от тех торжественных словес до ежедневных хлопот каждого из них. Если мои кони падут от бескормицы — что мне с того, что Лазаря воскресили из мертвых? Если весь мой запас сушеной рыбы съедят в холодную весну, какая поддержка для меня в том, что Христос накормил тысячи двумя рыбками?



«Твои земляки, — сказал Фридрик Торвальду, — обладают многими добродетелями, но терпение среди них явно не числится. Они требуют от Господа, чтобы Он сразу же защитил их дом и все, чем они владеют. Они не желают ждать, пока сами заслужат награду».

Большинство решило посмотреть, какую такую выгоду дадут их соседям-христианам распятый Христос и пение клириков. Но при этом их поклонение языческим богам тоже ослабло; Христу и Марии они не ставили свечей, но и Тору не подносили свежего мяса; они стали почитать лишь самих себя. От таких людей всегда больше всего бед. Они сидят в своем углу, повесив голову, они портят праздники и пиры, которые призваны внести порядок в годовой цикл, дать ему стабильность и смысл, освятить его жертвоприношениями и молитвами. Они дают узам древних обычаев развязаться самим по себе, а вместе с тем распускают и человеческое общество, но сами не знают, как сделать так, чтобы человек человеку был в радость*.

Те, кто все же как-то боролся за то, чтобы продолжать жить по языческим обычаям, как в прошлом жили они сами и их предки, винили Торвальда с Фридриком в начавшемся распаде. К тому же в Исландии всегда недолюбливали тех, кто знает что-то лучше других. Разумеется, простой народ охоч до новинок, но ведь всему есть свои границы, и горе тем, кто попробует заставить его — суровыми ли карами, щедрыми ли дарами — принять совершенно новое учение, новую веру. Исландцы крепко стиснут зубы, но не позволят заставить себя поклоняться тому, почитать кого они не хотят. Ведь никто не должен думать за них! Это ставило перед проповедниками немалые трудности: едва ли что-нибудь так же удручает, как говорить о добре, красоте и истине перед глухими, не ведающими разницы между сытым брюхом и спасением души. Часто Торвальду казалось, что, говоря с земляками, он блуждает в тумане, да таком густом, что нельзя сказать, струится в нем вода вверх или вниз.

Упрямство не молчит долго, оно дает о себе знать насмешками — как тот мальчонка из Лощины в Долинах, ко-

* «Человек человеку в радость» — ставшая поговоркой цитата из «Речей Высокого» (часть «Старшей Эдды»).

торый услышал, что его мать в доме молится Тору, в то время как Торвальд на дворе проповедует людям новую веру, а он слышал их обоих. По этому случаю Торвальд сложил стих:

С проповедью пришел я —
 Парень не внял поученьям.
 Жреческое отродье
 Ржать надо мной удумало*.

Насмешки и поношения быстро заходят слишком далеко, если за каждым словом стоит злой и недоверчивый разум. Недруги Фридрика и прибывших с ним людей постепенно собирались с силами. Из Норвегии пришли новости, что ярл Хакон прогнал многих попов и Христос не защитил никого; вероятно, он оказался слабее, чем утверждал Торвальд. Язычники подбадривали друг друга, строя в отношении проповедников-христиан коварные планы.

На йоль Торвальд и Фридрик отправились на пир к Орму, на хутор Маусстадир. Орм не пожелал креститься — впрочем, никто и не рассчитывал, что он сделает это. И все же отношения между братьями были неплохими. На второй день йоля их отец Кодран напился так, что уже не держался на ногах. Торвальд положил его на санки и потащил в Гиль-ау. Когда он ушел, язычники на пиру начали смущать оставшегося в одиночестве Фридрика срамными речами. «Молот Тора, — говорили они, — поднимается из его чресел, исполненный истинной мощи, а крест, который ты носишь поверх женского платья, бессильно болтается, словно уд старика».

Фридрик попросил Господа лишить дара речи тех, кто говорит такие непотребства. Но это только распалило их злость. Теперь они потребовали, чтобы епископ ел конину, как все. Но он ни за что не хотел. «Тогда пей отвар, ничтожество!» — сказали они. Но он и этого не хотел. «Тогда жри сало!» — сказали они. «Ни за что!» — ответил епископ. Тогда они придумали новую забаву: накинулись на него, заломили



* Виса, приписываемая Торвальду в «Саге о крещении Исландии» и «Пряди о Торвальде Страннике».

руки за спину, подтащили к котлу, в котором варилось мясо, раскрыли ему рот ложкой и погрузили его голову в идущий из котла пар, дабы он вдохнул мясного духа. Фридрика стошнило прямо в котел. Язычники рассердились на то, что он испортил им и еду, и развлечение, и захотели погрузить его головой в кипящую похлебку. Но в этот миг в зал вошел Торвальд, отшвырнул тех троих, что держали Фридрика, и освободил епископа.

Затем он достал меч из ножен и гневно стал смотреть по сторонам, словно спрашивая, не хочет ли кто-нибудь вступить с ним в схватку. Фридрик положил ему руку на плечо:

«Верни меч в ножны, Торвальд».

«Нет», — ответил тот.

«Христианин не мстит за себя», — сказал Фридрик.

«Я не за себя мщу».

«И за меня тоже не надо, — сказал Фридрик. — Во имя Христа, я запрещаю тебе биться!»

Торвальд крепко стиснул зубы, ударил мечом по деревянной балке и вышел вон. Фридрик — за ним; вслед им понеслись крики, что вот, мол, христианские псы поджали хвост и убежали, когда как раз пошла самая потеха. Когда они вышли под холодные звезды, Фридрик тихо сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

Торвальд не хотел слышать, что говорит ему друг. Он был зол. Возможно, Фридрик был совершенно прав, противопоставляя долготерпение и спокойствие языческому бесчинству. Но злость, которая овладела Торвальдом и держала его мощной рукой, мешала ему согласиться с этим. Гнев переполнял его душу, он готов был уничтожить этих людей.

Глава 16

Злые невзгоды добрых людей

Пять лет провели Торвальд и Фридрик в Исландии. Первый год — в Гиль-ау, еще четыре — в Лайкьямоуте. Они не сидели на месте — постоянно ездили по Исландии и проповедовали веру.

Говорят, что в это время Торвальд посватался к женщине по имени Вигдис. Некоторые считают ее дочерью Гуннлёйга с хутора Grimstung. Наверное, возражать этим рассказам, весьма старым, нехорошо, но нам кажется, что они неправдивы. И не только потому, что Торвальд когда-то давно водил шашни с сестрой этой Вигдис — Хельгой Красавицей и нажил себе от этого неприятности. Как раз в сватовстве Торвальда к Вигдис многие могли бы разглядеть христианское намерение уладить все ссоры и жить со всеми в мире. Важно другое: о Вигдис говорится крайне мало. В «Пряди о Торвальде» об их свадьбе сказано всего-навсего, что на свадебный пир пришли два брата-берсерка и вели себя очень буйно. Про этих двух берсерков также сказано в «Саге о крещении Исландии», но там они приходят на осенний пир в Гиль-ау, и нет ни слова о том, что на хуторе справляли свадьбу. Супруга Торвальда исчезла со сцены, едва появившись, и нет никаких сведений о том, что у них были дети. Так что вполне вероятно, что супруги вовсе не было; просто впоследствии христиане сочли необходимым сделать Торвальда как можно более похожим на простого исландского мужика — по причинам, о которых мы сейчас немного расскажем.

Происки язычников против них с Фридриком были многочисленны и изобретательны. Торвальд, наверное, послушался бы строгих наказов своего друга, последовал бы его примеру и принял все терпеливо — если бы язычники не нашли одну трещинку в его броне, его ахиллесову пяту. И не важно, что проблема была не в нем самом, а во Фридрике. Как известно, у кого тылы не крепки, тому нигде удачи не будет.

Когда Торвальд поведал другу сон о победе Христа в Исландии и своем вознесении, Фридрик позавидовал ему, хотя и пытался это скрыть. Но не только из-за того, что подобное откровение могло предвещать великие заслуги Торвальда перед Богом и людьми. Дело было в другом: самому Фридрику снились совсем другие сны — столь чудовищные, столь отравленные неопишным грехом, что он не мог отринуть их иначе, кроме как подвергнув себя строгим бдениям, постам и другим мучениям. Ночью он часто ходил босой: летом по острым камням, зимой — по снегу.



Торвальду захотелось узнать, отчего он так суров к самому себе. «Христос страдал, — ответил на его вопрос Фридрих, — и мне заповедал то же самое».

Он говорил «мне», но не «нам»: он не просил Торвальда распинать свою плоть из солидарности с собой и сочувствия Христу. Что бы он раньше ни говорил про гордыню природы, склонной забывать своего Творца, о ее дерзости, проявляющейся в бесстыдной красоте мира, — он не мог победить ее в себе. И подвергал себя суровым испытаниям, чтобы отогнать от себя сны и не дать плоти затянуть себя в омут порочных видений, которые никто не мог посылать ему, кроме самого дьявола.

Епископ Фридрих часто говорил об опасной женской прелести, но самого его женщины никогда не прельщали. Фридрих был из тех мужчин, с кем природа сыграла непонятную шутку. Красота являлась Фридриху в облике молодых юношей. К ним обращались его глаза, если им не было велено смотреть в другую сторону, от них исходило то, что заставляло его ощущать огонь в собственной крови. Это было его тайное преступление, его самый тяжкий крест. «Почему я? — вопрошал он со страхом. — Желает ли Господь преградить мой путь? Чем заслужил я это?»

Каждый день искал Фридрих ответ на этот вопрос, но не находил, и лишь молитва поддерживала его душевные силы. Он не поддавался греху, никогда не сажал юношей себе на колени, вообще никогда не касался их. Днем греховные мысли не заставляли его врасплох, даже если подкрадывались к нему из текста священных книг: «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской»*. Днем он мог ударить по тюленьей башке дубиной молитвы**, но по ночам бесы сковывали его волю.

Однажды летом приятели ездили по долинам Брейдафьорда и проповедовали слово Божие. Они спали вместе

* 2 Цар. I, 26.

** Аллюзия на исландскую народную легенду о Сэмунде Мудром: верхом на дьяволе, принявшем обличье тюленя, Сэмунд добрался из Парижа до Исландии, а у берегов Исландии ударил дьявола Библией по голове.

в шатре. И однажды ночью Фридрику приснилось, что они с Торвальдом вместе сидят в горячем бассейне и придвигаются друг к другу все ближе, и между ними вспыхивает искра, сжигающая разум и верные намерения, и Фридрик видит, что Торвальд не против того, чтобы они вместе предали пороку. Тут Фридрик проснулся, и его охватил ужас: он увидел, что положил руку на Торвальда, и капли своего греха на одежде.

Торвальд проснулся и заметил, что друг небывало бледен. Грех Фридрика был слишком велик, чтобы он мог нести его в одиночку, и он рассказал Торвальду все, чтобы облегчить душу. Признание далось ему нелегко, ибо даже язычники были согласны, что содомия — самый большой и самый нелепый позор человека. Юношеский идеал Торвальда, древний богатырь Ан Сгибатель Лука, услышав дразнилку о том, что, мол, Ан желает с мужчинами спать, схватил насмешника, сбрил ему волосы, окунул в смолу, выколол глаз, а напоследок оскопил. И в Законе сказано: «Если кто ляжет с мужчиной как с женщиной, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти»*.

«Но ты же ничего не сделал», — сказал Торвальд. Ему не пришлось в голову ни рассердиться, ни отшатнуться; скорее, он удивился, что Господь сыграл со святым человеком такую злую шутку.

«Грех живет в сердце моем, — сказал Фридрик, — и бремя его бывает столь велико, что мне не мило ничто из того, на что я смотрю: ни трава, ни деревья, ни горы, ни долины, я слышу, как все стонет и вопиет под тем проклятием, что лежит на мне. Отчего я родился на свет, отчего я человек, а не собака или иная тварь, не ведающая греха и не могущая навлечь на себя гнев Божий? Порой мне кажется, что никто не сравнится со мной во зле и нечестивости, кроме самого дьявола!»

«Разве дьявол стал бы нести слово Божие, как ты? — спросил Торвальд. — Скорее, он гложет тебя изнутри, чтобы побудить тебя усомниться в милости Божией».

«Я не достоин исполнять волю Божию, — сказал Фридрик. — Христос говорит: “И если правая твоя рука соблаз-



* Лев. XX, 13.

няет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну”*. А я этой заповеди не послушался».

Торвальд увидел, как взгляд Фридрика — сильного человека, сейчас ставшего былинкой на ветру, — упал на нож, который он воткнул в землю во время ужина.

«Ты пришел сюда, — сказал Торвальд, — с великим делом. И ты позволишь деянию, которое ты не совершал, вогнать тебя в отчаяние, наваждению зажать тебе рот? И что тогда скажут язычники?»

Давным-давно, когда Господь хотел истребить народ Свой Израиль, Моисей говорил пред Его лицом: «...Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли...»** И точно так же, как Господь при словах Моисея не стал причинять Своему народу то зло, которым угрожал, точно так же одумался и Фридрик при словах Торвальда и не стал делать того, что хотел причинить сам себе.

Никто не узнал об этом их разговоре. И все же он стал той кочкой, из-за которой опрокинулся большой воз. Этот разговор не шел у Торвальда из головы. Он впервые заставил его задуматься, насколько справедлив Бог. В ту пору он был молод и полон боевого задора, а потому был больше чем уверен, что свет непременно победит — и скорее рано, чем поздно, хотя, конечно же, знал, что тьма всегда сопротивляется и отказывается принимать свет. Однако бремя, возложенное на его друга, было настолько незаслуженным, что вопрос о справедливости Господа возник сам собой.

Почему хорошим людям выпадают злые невзгоды?

С такими мыслями Торвальд пришел на тинг. Никаких событий, достойных рассказа, на обсуждение вынесено не было, и тем больше внимания люди сосредоточили на прениях о старой и новой вере. Торвальд сказал перед людьми длинную речь. Но сон, который он увидел новообращенным в стране саксов, не сбылся. Отнюдь. Языческую веру защи-

* Мф. V, 30.

** Исх. XXXII, 11–12.

шал в основном Хедин со Свальбарда, а он, по правде говоря, был весьма искусен в речах, так что никто не принял на веру сказанное Торвальдом. Дошло до того, что Хедин с друзьями, дойдя в своих кощунственных нападках на святую веру до крайности, привели двух скальдов, которые сложили нид с похабными словами:

Девятерых
епископ родил,
всем им отцом
Торвальд был.

Отсюда уже рукой было подать до скверных событий. Такое зубоскальство трудно пропустить мимо ушей. Тем более мы уже знаем, что произошло весенней ночью в епископском шатре; это обстоятельство сделало нид еще обиднее для ушей Торвальда, и он пришел в бешенство. Он схватил меч — и судьба скальдов была решена. Тщетно они пытались обороняться — опытный боец Торвальд быстро зарубил их обоих.

Покончив с ними, он отправился к епископу. Когда он вошел, Фридрих оторвался от книги и, увидев в его глазах холодный блеск, сказал:

«Ты либо задумал смертоубийство, либо уже совершил его».

«Больше этим стихоплетам стихов не слагать, — ответил Торвальд. — Я не мог стерпеть обиды».

«Их ложь — невелика беда, — сказал епископ. — Но теперь их слова истолкуют наихудшим для нас образом: им поверит больше людей, чем могло бы».

«Но тот, кто не отомстит за такие слова, тоже окажется во всем виноват», — сказал Торвальд.

«Христианин не мстит за злословие», — ответил Фридрих.

Торвальд усмехнулся: эти слова он слышал очень часто и в этот момент искренне считал, что они потеряли свою силу. Он ответил:

«Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое...»*

Фридрих удрученно взглянул на друга. Впервые этот прямодушный человек употребил то небольшое, что знал из



* Рим. VII, 21.

Священного Писания; но он вспомнил слова апостола не в поисках добра и правды, а чтобы найти себе оправдание, создать из них вокруг себя дымовую завесу в надежде, что совесть в ней заплутает.

Из-за происшедшего Торвальду больше нельзя было оставаться в Исландии. Скальды были невелики птицы, но Хедин со Свальбарда обладал достаточной силой, чтобы добиться изгнания Торвальда. А если бы они отказались покинуть остров, он вполне мог устроить так, чтобы их жизни подверглись прямой угрозе. Господь ничего не делает дважды, тем более не посылает птиц небесных, чтобы напугать лошадей и сбить с толку вражье войско.

Весной Фридрик и Торвальд отплыли в Норвегию и высадились в Нидаросе. Туда же немногим позже привел свой корабль и заклятый враг Торвальда — Хедин со Свальбарда. Они встретились, и, конечно же, возник спор, переросший в поединок, и Торвальд убил Хедина, вновь взяв грех на душу. Из-за этого убийства пути Торвальда и Фридрика неизбежно должны были разойтись.

«Ты не хочешь прекратить убивать, — сказал епископ, — и, значит, я не могу больше находиться рядом с тобой».

Торвальд понял: ничто уже не смягчит приговор, который Фридрик вынес их дружбе.

Расстались они по-доброму. Прежде чем Фридрик взошел на корабль, долго сидели за нидаросскими причалами. Торвальд говорил о том времени, что они провели вместе. Бывает ли что-нибудь лучше, спрашивал он, чем когда у двух друзей общее — самое ценное: вера и надежды?

«Конечно, нет, — отвечал Фридрик. — Хотя дружба сама по себе ни хороша, ни плоха. Хороших людей она улучшает, а плохих делает еще хуже».

«Возможно, — сказал Торвальд. — Но больше всего я думаю о том, как благодарен тебе за все, что ты для меня сделал».

«Но может статься, наша дружба была настолько сильна и так беспокоила нечистого, что он не захотел оставить нас в покое», — отвечал Фридрик.

«Ты винишь его в нашем расставании? — спросил Торвальд. — Но ведь не он правит миром».

«Он хитрее, чем нам хотелось бы, — сказал Фридрих. — Верные друзья делятся самым важным и понимают друг друга с полуслова. Этим они возбуждают зависть других, и те начинают подозревать, что друзья хранят опасную для окружающих тайну. Но еще хуже бывает, когда верные друзья считают себя лучше других, сами того не подозревая, — ведь они черпают силу друг в друге. В этом случае их подстерегает гордыня. А потом — безразличие. Они забывают о других людях. Они не слышат тех, кто обделен дружбой. Они высокомерно отмахиваются от них...»

Фридрих не изменил своей привычке: что бы ни происходило, оказывалось в конечном итоге, что он хоть в чем-то виноват.

«То, чего я не крал, я все же обязан возвратить», — печально проговорил он.

Он поднялся, молча обнял друга и сказал напоследок:

«Надеюсь, что мы вновь встретимся: не здесь, так в другом месте».

Весла ударили по волнам, потом подняли парус, и корабль скрылся из виду. Фридрих плыл домой в Саксонию. Там его приняли хорошо, вскоре он стал архиепископом; по себе он оставил добрую память. Похоронен он недалеко от камня святого Людгера в Мюнстре.

Торвальд Кодранссон с хутора Гиль-ау остался один — изгнанник, потерявший дом, и проповедник, лишившийся паствы, человек без друзей, изгой, не ведающий, где преклонить голову.



Глава 17

Народ на распутье

Дух истории любит шумные компании, он болтает о том до сем, он никому не дает спуска, своих героев он преследует всюду, бесцеремонно нарушая их одиночество. Но о многом он — по непонятным причинам — все же молчит. Может, он не хочет появляться там, где и так уже побывали многие, или ему скучно знать абсолютно все, или ему неинтересно соперничать со всевидящим Богом, или ему просто-

напросто нужно когда-нибудь отдохнуть? Ведь отдых нужен всем — неутомимы лишь вода и глупость.

Насколько нам известно, о жизни Торвальда в Норвегии рассказывается мало. Там он не жил при дворе, как все другие исландцы в сагах, не предстал перед конунгом, не вызвался собрать дань с Финнмёрка, и его не посылали укорачивать век или выкалывать им глаза тем, кого конунг считал врагами себе. Его не обуревала жажда подвигов: ни военных, ни духовных. Он потерпел поражение, но был слишком молод, чтобы отчаиваться. Правда, его дух и воля были словно закованы в цепи, как во время его первого плавания, в котором он впервые осознал свою ничтожность в мире. Он сам никак не мог влиять на события, он просто давал им случаться и не думал о завтрашнем дне.

Одну зиму спустя расставания с епископом Фридриком он беспечно снарядился в поездку на восток. Большинство его попутчиков собирались пройти на юг до самого Миклагарда*, а он остановился в Хольмгарде**. И вот теперь-то мы можем позволить себе с полным правом назвать его Торвальдом Странником. Ведь до этих пор он всегда путешествовал где-то неподалеку, и события, происходившие с ним, можно было так или иначе предсказать. Теперь же и мы вместе с ним попадаем в такие края, о которых мало что известно, — как и о том, что может поджидать в них Торвальда. Дух истории, вероятно, радуется невиданной свободе.

А Торвальд сейчас бродит по новгородским пристаням и смотрит, как товары тащат в сараи, а оттуда на корабли, пришедшие с Балтики или отправляющиеся к Черному морю по большому водному пути — из варяг в греки. При этом его ум вовсе не занимают товары, будь то льняное полотно или воск, пушнина или мед, атлас или парча. Однажды он наткнулся в Новгороде на товарища по походам Свейна Виллборорого — шведа по имени Ауки. Тот любопытствовал, отчего Торвальд бродит между лотками, но ничего не покупает.

«Смешно узнать, — ответил Торвальд — что на свете есть столько вещей, которые мне совсем не нужны».

* Древнескандинавское название Константинополя.

** Древнескандинавское название Великого Новгорода.

Так он сказал, но ни словом не обмолвился, что деньги у него на исходе.

Они с Ауки услышали, как с большого моста через Волхов доносится шум, и пошли туда. На мосту было многолюдно, народ напирал со всех сторон. Большинство было из корабельщицких и купеческих артелей. Все были озлоблены, многие грозились и были готовы броситься в драку. Оказывается, что какой-то купец убил плотника в поединке, а сам убежал. А в Хольмгарде, сказал Ауки, есть такой закон: если артель не отыщет убийцу в своих рядах, ей придется выплачивать виру за убитого товарища из своей казны.

«Вчера на тинге они сказали, что заплатят за него не полную виру, а всего пять гривен, ведь он был не вольнорожденным, а вольноотпущенником. А если им не удастся договориться на своем тинге — у них он называется “вече”, — тогда они выходят на мост и бьются».

Торвальду все это показалось знакомым по родным краям, только в Хольмгарде дела тинга вершили не роды, а артели. Но его удивило, что новгородцы пришли на мост безоружные. Сначала они распаляли себя руганью, затем в ход пошли кулаки. Многие падали с моста в реку, но в пылу драки никто не смотрел, выбрались ли они на берег.

Драка была суровой и жестокой и длилась до тех пор, пока корабельщикам, которые были сильнее, не удалось очистить мост. А наши приятели стояли в сторонке, и Торвальд радовался, что все это их не касалось.

«А они не могли попросить князя рассудить их?» — спросил он у Ауки, когда они отправились на ночлег.

«Здесь непонятно, кто чем управляет, — сказал швед и сплюнул. — Так оно было раньше, пока они не призвали из Швеции Рюрика, чтобы он княжил над ними и положил конец беззаконию и вражде. Никто теперь не знает, удастся князю приструнить народ или, наоборот, народ прогонит князя из города по приговору веча, чтобы потом драться между собой и, устав от этого, поставить над собой нового князя».

Хольмгард был поселением не новым, однако власть в нем не устоялась. То же самое было и в вопросах веры. Заморские купцы возводили для себя церкви, многие варяги, побывавшие в Миклагарде, были крещены. Но по берегам



реки высились и идолы языческих богов: Сварога — небесного князя, Волоса — покровителя купцов, Перуна — громового бога, который был из них величайшим. А еще местные не знали, кто они: здесь уже почти стерлась разница между скандинавами и «русью» — теми, кто жил в городе; откуда же пошло это название — «русь», не знал никто.

Пробыв некоторое время в Новгороде, Торвальд попал в свиту князя и вместе с ним ходил в «полюдь» — так в Гардарики называлось выколачивание из крестьян налога мехами, зерном и воском. В кутерьме этого полюдья он услышал много рассказов о Вальдимаре, который был князем в Хольмгарде несколько полугодий тому назад — пока его отец Святослейв, князь Кенугарда*, не пал от рук печенегов — жестокого племени из южных степей, пьющего мед из черепов своих врагов.

После этого Вальдимар посватался к Рагнхейд, дочери князя Регнвальда из Палтескьи**. Ей это пришлось не по нраву, ведь ее помыслы склонялись в сторону его брата Ярополка, воссевшего на престоле отца в Кенугарде. Никогда, говорила она, не стану я стаскивать башмаки с сына рабыни — ведь Вальдимар был и в самом деле рожден от наложницы. Но Вальдимар не заставил себя долго ждать. Он пошел с варягами на Палтескью, захватил в тяжелом бою Верхнюю крепость, мечом проложил себе путь до палат Регнвальда, изнасиловал Рагнхейд в присутствии ее отца и братьев, которых потом убил. А после этого он отправился с Рагнхейд в Кенугард, обратил своего брата Ярополка в бегство, а после велел убить его. Затем он ходил походом на ляхов, ятвягов и вятичей и везде одержал победу. Новые приятели Торвальда говорили, что им совсем не нравится Вальдимар; они боялись, что Хольмгарду придется несладко, если он подчинит себе города на великом речном пути.

Во вторую зиму Торвальда в Хольмгарде из Кенугарда пришла загадочная весть: Владимир князь ищет себе правильную веру. Это было тем более невероятным, что Вальдимар оказал громовнику Перуну немалый почет, воздвигнув в Киеве огромный его идол. Сам идол был деревянный, но

* Древнескандинавское название Киева.

** Древнескандинавское название Полоцка.

голова серебряная, усы золотые, и он был выше любого дома, выше церкви Илии Пророка, построенной в городе христианами. Когда-то по праздникам Перуна Среброглавого потчевали человечиною, но сейчас от таких жестоких жертвоприношений на Руси отказались.

Вальдимар призвал послов от волжских булгар, поклоняющихся пророку Магомету, от хазар, придерживавшихся иудейских обычаев, от саксов и греков, исповедующих христианство, — он хотел сравнить, какая вера лучше всего.

Торвальд спросил, отчего Вальдимар пригласил и саксов, и греков; ведь он не слышал раньше, что в христианстве существует не один обычай, а несколько, тем более не знал он, что Папа Римский и Патриарх Константинопольский не ладят между собой. Но сейчас его разум не задержался на этом, ибо Торвальд был поражен вестью о том, что язычник Владимир Киевский ищет Бога.

Варягов, приехавших с юга, расспрашивали, как прошел разговор Владимира с послами. Они рассказывали, что булгары посулили Владимиру: принявший магометанскую веру получит в награду в раю семьдесят женщин, одну другой прекраснее.

«От такого предложения Владимир не отказался бы, — сказал предводитель княжеской свиты Хёскульд. — Здесь у него было шестнадцать наложниц, а ему все казалось мало».

В русских книгах потом записали, что наложниц у Владимира было восемьсот; писавший, видимо, хотел представить Владимира не меньшим женолюбом, чем царь Соломон.

«Конечно, он не отказался бы, — ответил прибывший с юга варяг. — Но магометанская вера велит подрезать кожу на уде, а это понравилось ему уже гораздо меньше».

«Тогда понятно, почему дело пошло таким образом, — согласился Хёскульд, — ведь Владимир ни за что не согласился бы, чтобы его укоротили. Я знаю, что, прежде чем взгромодиться на женщину, он писал для укрепления на своем уде Перунов трезубец».

«Но Владимир отпустил булгар домой несолоно хлебавши совсем из-за другого, — сказал еще один варяг. — Они сказали ему, что Магомет запрещает своим людям пить ви-



но. Тут Владимир отрезал: «На Руси веселие пити, и нельзя без того быти»».

Такая речь всем понравилась, и они как следует отхлебнули из своих кружек: да, скорее рыба зачирикает на дереве, чем мы выльем мед на землю. Также они посчитали, что Владимир хорошо «срезал» иудеев, спросив их: «Где ваша земля?» — «В Иерусалиме», — ответили они. «Тогда почему же, — спросил Владимир, — вы не там?» — «Наш бог, — отвечали они — разгневался на Свой народ за грехи его и рассеял его по всем землям». — «Да как у вас хватило дерзости, — сказал Владимир, — проповедовать веру, если ваш бог от вас отвернулся?»

«Этот ответ заставил иудеев прикусить язык», — рассказывали варяги-христиане.

Владимир, по их словам, отнюдь не был худородным: его отец Святослав состоял в родстве с самим императором Константинополя, про его бабушку Ольгу говорили, что она телом женщина, а духом мужчина; ведь она отомстила за мужа, напоив главарей его убийц допьяна, а потом задушив их в бане.

«Но, — спросил Торвальд, — что же сказали ему христиане?»

Константинопольский император, оказывается, послал ученого попа просвещать Владимира, но вся его философия пошла насмарку, когда грек показал князю картину страдания грешников в аду. Владимир задумчиво погладил бороду и сказал, что еще подумает. Однако все считали, что Владимир и весь его народ, вероятнее всего, крестится в греческую веру.

«А почему?» — спросил Торвальд.

«Владимир не только принимал у себя проповедников, — ответил ему самый многознающий. — Он разослал людей на восток, на запад и на юг, чтобы они убедились, где лучше служат Богу. Они рассказали ему, что на востоке у Волги болгары взывают к Богу диким безрадостным воем, а мессы саксов показались им скучными и храмы их бедными. Но когда послы Владимира вошли в Айисив — Айя-Софию в Миклагарде, самое великолепное в мире здание, и послушали там мощнее богослужение, они решили дальше не искать. Они вернулись в Киев и сказали Владимиру: «Мы не могли ска-

зять, на земле мы или на небе, ибо нигде в мире больше нет подобного великолепия. У нас нет слов, чтобы описать этот миг, но мы знаем, что там Бог живет среди людей, и это служение отличается от всех других вер, ибо никак не можем мы забыть такой красоты. Вкусивший сладости больше не поднесет к губам своим горький напиток”».

Торвальд внимательнее всех слушал этот рассказ; ведь он знал, что значит ощутить это Великое Присутствие и не быть в силах описать его словами. Но одновременно он спрашивал себя: как так вышло, что огромные строения и красивое пение больше повлияло на выбор язычниками веры, чем истолкованное слово Божие? Что сказал бы его друг Фридрих?



Глава 18

В Киеве

Каждый новый город, увиденный Торвальдом, оказывался величественнее прежнего. Сам того не зная, он шел через дни и годы к столице мира, и чем ближе к ней он был, тем сильнее ощущалось ее влияние на другие города.

Кенугард на Днепре был большим поселением, больше Новгорода. Город возвышался на холмах, окруженный высокой крепостной стеной с четырьмя воротами — все это было деревянным. Перед стенами и за стенами были широкие рыночные площади, где велась торговля армянской медью, богемским свинцом, царьградскими шелками, золотыми украшениями, вином и парчой, азиатским серебром, дамасскими клинками, арабскими конями. Здесь встречались верблюжьи караваны, пришедшие с далекого Востока, и корабли, приплывшие великим водным путем, — струги и насады. В нижней части города, между рекой и крепостной стеной, соорудили себе глинобитные дома ремесленники и челядь, а выше эти постройки сменялись просторными домами бояр и другой знати из свиты Владимира. Выше всех на горе стояло единственное каменное строение в Киеве — дворец Владимира, построенный его бабушкой княгиней Ольгой. Она приняла крещение в Царьграде, но ей пришлось долго ждать, пока остальные князья последуют ее



примеру; она была единственной чистой жемчужиной среди языческой грязи. Руси пока еще не требовался настоящий апостол-покровитель, хотя когда-то в древности апостол Андрей завернул сюда по пути в Рим. Он поплыл вверх по Днепру, нарушил покой нечистого, который до того и, кстати, долгое время после того сидел спокойно, и пророчествовал на вершинах холмов, что здесь Божией милостью воздвигнется великий город, богатый церквями.

Торвальд прибыл в Киев вместе с Хёскульдом — или Аскольдом. Еще до их приезда, летом, Вальдимар призвал к себе большой отряд варягов. Заранее не сообщалось, какое задание им уготовано, но поговаривали, что собирается войско, дабы идти на помощь Василию, императору константинопольскому, которому сейчас приходилось туго. Этот слух оказался верным. Василий Второй, еще юный годами, был разбит Симоном, царем болгар, в Фессалии, после чего его военачальник Бардас Фокас поднял мятеж и подчинил себе почти всю Анатолию. Как это рано или поздно случается со всяким, император ромейский (а так желали называть себя греки) оказался в трудном положении: его лишили почти всех земель, кроме собственно Царьграда. И никакой защиты у него не было: лишь местный флот со своим чудесным оружием — греческим огнем да еще варяги. Василию требовалось шесть тысяч варягов — и их он своевременно получил. По рассказам, варяжское войско соперничало с самой Богородицей в том, кто же принес Василию победу, а значит, предопределило судьбу Царьграда на несколько грядущих веков. Варяги в пух и прах разбили войско Бардаса при Крисополе, а в сражении при Абидосе Василий держал в левой руке образ Пречистой Девы, а в правой — меч, когда Бардас Фокас понесся на него во весь опор на своем коне. И поразила Богоматерь предателя раскаленным солнечным лучом, и упал он с коня замертво. Когда его осмотрели, на его теле не обнаружили никаких ран.

Торвальд и Хёскульд прибыли в Киев осенью. Владимира здесь они не застали — с двенадцатью тысячами воинов он отправился вниз через днепровские пороги. Кравчий Добрыня, родич Владимира, тут же послал наших друзей в полюдь на Десну. Когда они возвратились ранней весной, киевляне пребывали в смятении; сведения о Владимире бы-

ли скудны, и никто не знал, во что верить. Рассказывали, что половина войска Владимира отправилась в Царьград, а другая половина осадила Корсунь — богатый греческий город на черноморском побережье. Да в здравом уме ли князь? Неужели он собирается сражаться одновременно и за, и против самого властителя мира — ромейского императора? Что за гордыня обуяла его, прежде столь предусмотрительного? К этим рассказам обычно прибавляли, что Корсунь неприступна. И это находило мистическое подтверждение: люди Владимира хотели воздвигнуть гору вровень с крепостной стеной, чтобы удобнее было штурмовать город, но, сколько они ни нагребали туда землю и камни, она не становилась выше. Позже выяснилось, что греки сделали под это сооружение подкоп со своей стороны и по ночам выгребали в город все то, что люди Владимира наносили за день.

Однажды вечером Торвальд направился в трактир в Нижнем городе — или, как он назывался, Подоле. Внутри стоял шум и гвалт, говорило много людей разом. Торвальд спустился в плохо освещенный подвал. Там за длинным столом сидели несколько человек — в большинстве своем юноши, находящиеся в том возрасте, когда кажется, что до всех на свете приключений и развлечений рукой подать, только они, к сожалению, еще не случились. Самим им было нечего высмеивать и нечем похвалиться, и они радостно смотрели в рот рыжебородому громиле, который сидел во главе стола. Начало рассказа Торвальд не слышал, но сейчас рыжебородый вещал о том, как он нанялся оберегать жизнь и честь некой молодой вдовы в Греции. А она была столь строгих нравов, что не могла слышать неприличного слова — и взяла себе телохранителя с условием, что он никогда не осквернит ее слух нечестивыми речами.

«Однажды, — говорил рассказчик, — я повез госпожу в колеснице осматривать ее хозяйство. У дороги мы увидели стадо свиней, и боров вскочил на одну хрюшку и принялся охаживать ее с таким усердием, что у него аж пена изо рта пошла. Госпожа спрашивает: “Что это такое?” Я отвечаю: “Свинья, которая сверху, заболела, а та, которая снизу, — это, наверно, ее брат или родич, и он несет больного домой”. — “А почему бы и нет”, — ответила молодая госпожа и рассмеялась. А чуть позже мы видим: бык взгромоздился на корову и ре-



вет что есть мочи. “А тут что происходит?” — спрашивает госпожа. “А вот что, — говорю я, — корова обессилела, потому что съела здесь всю траву, а бык гонит ее на новое пастбище”. — “Надо же, ни за что бы не подумала”, — отвечает она и снова смеется. Мы едем дальше — а там жеребец кроет кобылу, и снова госпожа желает знать, что мы видим. “Смотри, вон оттуда валит дым, — говорю я. — Там пожар, и жеребец поднялся, опираясь на кобылу, чтобы лучше его видеть”. — “Верно говоришь”, — отвечает боярыня, а сама смеется лучше прежнего».

Чем дальше, тем более знакомым казался Торвальду и сам рассказ, и голос рассказчика. Он зашел с другой стороны стола, и когда госпожа в рассказе сбросила с себя одежду из-за жары, чтобы искупаться в прохладной речке, и велела своему слуге сделать то же самое, и когда у него поднялось то оружие, которым куют новых людей, а госпожа указала на него и спросила, что это такое, — тогда Торвальд схватил рассказчика за плечи, пригнул его голову к столу и договорил за него: «А это мой жеребчик — молод, необъезжен!»

Больше в тот вечер в трактирном подвале непотребных историй не рассказывали. Конечно, мир велик, но в тех местах, куда стекается много кораблей и другого транспорта, он сильно уменьшается в размере. Оттого-то рано или поздно вновь встретились старые друзья — Торстейн Жуть и Торвальд Странник; такое прозвище дал Торстейн своему другу в этот вечер, даром что сам объездил гораздо больше стран.

Побратимы не виделись с тех самых пор, как Торвальд увлекся беседами с епископом Фридриком в Эйкарбриггье. Торстейну это не понравилось, но вслух он об этом не сказал, а потихоньку отбил от Торвальда и примкнул к варяжскому отряду. Тогда они не попрощались, а сейчас вышло так, что и здороваться им было не нужно. Однако расспросить им друг друга было нужно о многом.

Торстейн, оказывается, только что вернулся из-под Корсуни и поведал невероятную новость: осаждающие взяли город. Владимир теперь с войском шел домой, а Торстейн был в отряде разведчиков, высланном впереди основных сил за днепровские пороги, чтобы следить за печенегами и прочим сбродом.

Торвальд спросил, велика ли добыча, которую они захватили в Корсуни.

«Взять город было очень трудно, — сказал Торстейн. — Однако всем его жителям даровали пощаду, и ничего не было разграблено».

Торвальд удивился.

«А еще я скажу вот что, — продолжил Торстейн. — Из Царьграда пришло множество украшенных кораблей, и на них приплыла Анна, сестра императора. И тогда заключили мир между ромеями и Русью, греками и Гардарики, который будет длиться до тех пор, пока камни не станут плавать, а соломинки тонуть, — но с тем условием, что Владимир и народ его крестится, а Анна станет его царицей. Владимир тотчас и крестился, и женился, и поднес Анне в качестве утреннего дара тот город, который он с таким трудом покорил. Корсунь снова отошла к Царьграду».

Торвальду хотелось узнать обо всем этом как можно больше, но Торстейну было лень еще что-нибудь рассказывать.

«Мы скоро ждем князя, его жену и сотню попов, — сказал он, — тогда сам все увидишь. А расскажи-ка лучше, какие новости в Ватнсдале? Или с тех пор, как мы оттуда уехали, там ничего не произошло?»



Глава 19

Сошествие Святого Духа на Русь

Население Киева начало спешно креститься в новую веру, ибо сказано: «Кто не со Мной, тот против Меня»*. А это понять проще, чем другое, что сказано: «Кто не против вас — тот за вас»**.

Сподвижники Владимира ходили по городу и ниспровергали идолы. Волоса — бога торговли — они изрубили в щепки на ярмарочной площади. Мокошь, повелевавшую мужской силой, с тяжелыми грудями и большим лоном, — сожгли на костре. Но суровее всех обошлись с Перуном — старинным

* Мф. XII, 30.

** Мк. IX, 40.



приятелем Владимира. Высоко взметнулись лестницы — до его золоченой бороды, до серебряной головы, которая в сумерках сверкала на вершине горы, словно маяк; шею его обвила веревка, его свалили, и он рухнул с превеликим грохотом. Затем бога посекли плетью, привязали к хвостам коней, подтащили к Днепру и утопили.

Истинно сказано, что идолы язычников — всего лишь творения рук людских: уста имеют — и не говорят, очи имеют — и не видят, нос имеют — и не обоняют запахов. Но попы подозревали, что Перун со товарищи — не только куски дерева, как и Фридрих с Торвальдом не сомневались, что в валуне у Кодрана с хутора Гиль-ау живет пророк. Для них все эти фигуры были пришельцами из царства дьявола, выдавшими себя за других, дабы обмануть невинных, блуждающих в потемках страха. А значит, их надо было схватить — вместе с грехами людскими — и утопить в воде или сжечь в огне.

Сподвижники Владимира — ниспровергатели идолов — при обходе города кричали и радовались; но иные киевляне плакали, увидев, какая участь постигла их покровителя Перуна. В этих краях люди более падки на слезы — в отличие от такого хладнокровного народа, как исландцы. Однако никто не стал выручать Перуна — и пикнуть не посмел в его защиту. Всем киевлянам — и старым и малым, и богатым и бедным, и мужчинам и женщинам — было приказано на следующее утро явиться на берег Днепра и принять крещение. К этому князь Владимир прибавил, что тот, кто не придет креститься, — тот его враг. Иных слов и не потребовалось: ибо кто же на Руси недруг князю, кто же не знает, что князь и его бояре в своих суждениях всегда правы?

И взошло солнце для бесчисленного количества народа. На склоне пред Златыми вратами стоял Владимир, великий ростом, в высокой шапке, украшенной золотом, в долгополом кафтане и красных башмаках, которые зять прислал ему из Царьграда. Перед ним стояли его двенадцать сыновей, многие из которых еще дети, а рядом с ним княгиня Анна в белой рубашке и парчовом плаще. Сетка из золотых нитей обвивала ее волосы и поддерживала длинное пурпурное покрывало. По ее лицу было видно, что ее дух еще не переселился на север к этим дикарям, он все еще был привязан к отеческому дому, к самым высоким в мире палатам, к привычной рос-

коши и изящным искусствам. Священнослужители большой толпой спускались к реке с кадилами, иконами и пением:

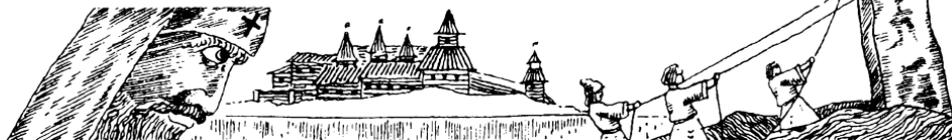
«Смилостивись над этими людьми, Господи, забери у них их заблуждение и наполни верой, надеждой и любовью, дабы знали они, что один Ты — истинный Бог с сыном Твоим и Святым Духом».

«Аминь», — произнес Владимир, и те, что стояли подле него, подхватили, а за ними и остальные, и небеса над ними возликовали и повторили: «Да будет так!»

После этого один за одним стали выходить епископы; они изгоняли Сатану из селений и из сердец людских.

«Бог святой, страшный и славный, во всех делах и силе Своей пребывающий непостижимым и непознаваемым, Он, предопределивший тебе, диавол, наказание вечною мукой, через нас, недостойных Его рабов, повелевает тебе и всей помогающей тебе силе убраться прочь отсюда, именем Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего. Заклинаем тебя всезлобного, и нечистого, и скверного, и мерзкого, и чуждого духа силою Иисуса Христа, имеющего всякую власть на небе и на земле, сказавшего глухому и немому демону: “Выйди из человека и больше не входи в него!” Отступи, познай свою суетную силу, даже над свиньями не имеющую власти: вспомни Повелевшего тебе по твоему прошению войти в стадо свиное. Убойся Бога, Чьим повелением земля на водах утвердилась, создавшего небо и поставившего горы отвесно, и положившего песок морю пределом, и в воде великой — надежный путь. Заклинаем тебя спасительным страданием Господа нашего Иисуса Христа, и священным Его Телом и Кровию, и пришествием Его страшным: ибо придет Он и не замедлит совершить суд над всею землей, и тебя и помогающую тебе силу накажет в геенне огненной, предав во тьму внешнюю, где червь неусыпающий и огонь неугасимый».

Епископы трижды спрашивали народ, отступается ли он от Сатаны, деяний его и его злых ангелов, служения ему и гордыни. Трижды сказал Владимир «да» перед своими сподвижниками, и трижды вторили ему те, кто услышал. И дьявол громко застонал и изрек: «Увы мне! Ныне изгнан я отсюда, где прежде было славное жилье мое и где хотел я владычествовать в мире, а хуже всего, что должен я отступить не перед апостолами и мучениками, но перед неразум-



ными невеждами». Он имел в виду князя Владимира; ведь нечистый глуп и не понимает, что милость Господня нисходит и на недостойного, если Ему того захочется, — не важно, по нраву ли это придется другим.

«Плюньте на него», — сказал архиепископ. Владимир так и поступил, а вслед за ним и остальные, со всей силы, так, что дьявол, наверно, еще долго бежал оттуда с воем.

«Хотите ли вы соединиться с Господом Христом?» — спросил епископ.

«Мы хотим быть едины со Христом».

«Верите ли вы в Него?»

«Мы верим в Него — Господа нашего и Бога».

Тихо струился Днепр, как было и будет от века. Клирики благословили воду, которая во время оно губила грешное человечество потопом, а сейчас, при Новом Завете, очистит его от грехов. Велик Ты, Господи, пели священнослужители, и дивны дела Твои. Солнце поет Тебе хвалу, и месяц, и звезды собираются пред лицом Твоим. Свет послушен Тебе, глуби морские трепещут пред Тобой, а ветра — посланники Твои. Ты освятил воды Иорданские, когда послал с небес на землю Святого Духа и сжег главу змия. Приди, о Господь, возлюбивший род человеческий, приди и освяти эту воду присутствием Духа Святого!

Трижды погружали священнослужители пальцы правой руки в Днепр и осеняли крестным знаменем. И река сделалась вся святая, и люди вошли в нее: иные по колено, иные по пояс, а иные по шею. Иные держали на руках детей. Попы — греки и болгары — пели «Херувимскую песнь» и другие красивые молитвы: «Святой Боже, Святой крепкий, помилуй нас». И стар, и млад трижды погружались в освященную воду. Затем они отряхивались и выходили на сушу. Иные дрожали в своих мокрых одеждах и смотрели по сторонам, словно хотели спросить: «Что мы еще забыли сделать?»

Вышли ли они из вод Днепра обновленными? Начали ли новую жизнь?

Торвальд надеялся, что да. Он все утро наблюдал за этим божественным действием; восторг развеял его скуку и дал забыть о душевных горестях. И все же радость никогда не властвует над человеком одна; в тот же миг Торвальд слишком ясно осознал собственные чувства и ощутил во рту желчь за-

висти. Отчего ему не было суждено в один день погрузить весь свой народ в священную купель? К счастью, эта злая мысль не смогла наложить свою лапу на его сердце; ее отпугнули само величие события, многолюдная толпа, пение, а еще ветерок, который взволновал воду, когда великое крещение окончилось. Мысль, порожденная завистью, приняла крещение и поднялась вновь очищенная, и ему показалось, что в это утро небо было голубее, а люди — пригожее, чем когда-либо.

Глава 20

Радостный праздник победы



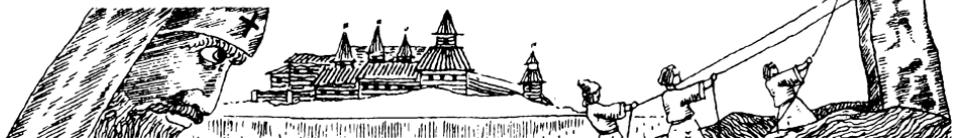
Но даже если доблестные герои способны заковать горечь и зависть в собственном уме, коварный змей сомнения все же лежит, сокрытый от них, куда бы они ни шли, и оплевывает ядом глумления их самые светлые минуты. В тот день змей принял облик Горстейна Жути.

Они с Торвальдом вместе вышли из церкви Илии Пророка — единственной, которая в ту пору была воздвигнута в Киеве. Там по окончании крещения было устроено богослужение для власть имущих, и Афанасий, епископ Корсунский, обратился к Владимиру с цветистым красноречием, в котором греки не знали равных:



«Отчего ты уверовал, о светлый князь? Что тебе проку в том, что ты показал мудрость бóльшую, нежели у мудрецов земных, мудрость любви к тому, что не видимо очам? Каким образом воспылал ты любовью ко Христу? Поведай нам, откуда донеслось до тебя благовоние Духа Святого, кто протянул тебе сладкую чашу, напоминающую о жизни иной, откуда пришло к тебе понимание милости Господней? Ибо не видел ты Христа, не шествовал по Его стопам — как же сделался ты учеником Его и уверовал в Него? Воистину сбылись на тебе слова Господни к Фоме неверующему: “Блаженны не видевшие, но уверовавшие”*. Каким же образом отверзлось сердце твое, милостивый князь, и вошел в него страх Божий? Как случилось, что ты разделил любовь к Нему? Не видел

* Ин. XX, 29.



ты апостолов, пришедших в землю твою, которые могли бы умягчить сердце твое нищетой и наготой своей, не видел ты, как бесы изгоняются во имя Христа, как больные исцеляются, мертвые воскрешаются, огонь в лед превращается, — отчего же ты уверовал? О, великое чудо! Другие цари и правители видели все подобные деяния святых людей — и не уверовали, но лишь ожесточились и усилили гонения на посланников Христовых. А ты вбежал в объятия Его благодаря острому уму твоему и правильным мыслям, благодаря тому, что уразумел ты: Бог — единый творец всего видимого и невидимого и послал Сына Своего едиnorodного в мир ему на спасение...»

«А лучше было бы, — сказал Торстейн Жуть, когда они вышли, — вырвать этому корсунскому лжецу и льстецу язык».

Торвальд с удивлением посмотрел на друга: откуда у него столько гнева и злости?

«Сдается мне, — продолжал Торстейн, — что недалек тот день, когда они сделают князя, этого распутника и братоубийцу, святым».

Тут Торвальду стало весело. Да разве Торстейну не все равно, кто кого убивает и кто с кем спит в Киеве?

«Нехорошо сидеть под великой ложью», — сказал Торстейн.

Торвальд спросил, что он имеет в виду.

«Во-первых, — ответил Торстейн, — то, что Вальдимар якобы нашел правильную веру собственным умом и добротой».

«Всем открыт этот путь: увидеть свои заблуждения и одуматься», — сказал Торвальд и напомнил другу пример апостола Павла, который грозил ученикам Господним и убивал их, пока свет с небес не пригнул его к земле и глас не воззвал к нему и не изменил его.

«Апостола Павла я не знаю, — ответил Торстейн, — и не ведаю, какие дела творились в древности. Зато я знаю, какой такой Святой Дух снизошел на Вальдимара. Он отлично знал, что императора теснят со всех сторон, и послал ему варягов с тем условием, что получит руку царевны Анны. Василий с братьями прежде не слыхали подобной дерзости. От века не бывало, чтобы женщина, рожденная в Миклагарде в пурпуре, была выдана за заморского конунга, тем более — язычника, у которого уже четыре жены, а наложниц

и не счесть. Но положение Василия было таким плачевным, что он согласился на эти тяжкие условия, однако попытался ответить хитростью на хитрость и потребовал от Вальдимира и всего его народа крещения. Вот князь и распустил слух, что ищет лучшую веру».

Торвальд напомнил ему о посланниках Владимира, которые во время богослужения в главном соборе Миклагарда как будто побывали на небесах. Может, это они поддержали Вальдимира добрым советом?

«Эту историю, — сказал на это Торстейн, — уже рассказывала Вальдимарова бабка Ольга: она видела, как по всей Айсив порхали ангелы, когда император Константин собрался подводить ее к крещению».

«А зачем, — спросил Торвальд, — Вальдимар осадил Корсунь?»

«Что тут удивительного: он не доверял Василию. Император при первой возможности пошел бы на попятный и не сдержал слова. И когда Вальдимар решил, что уже слишком долго прождал Анну у устья Днепра, он взял в осаду этот греческий город, чтобы поторопить заключение родственных уз».

Торвальд же видел в падении неприступной Корсуни перст Господень.

«Думай как хочешь! — ответил Торстейн Жуть. — Но мы бы нипочем не взяли Корсунь, если бы греческий попишка по имени Анастас не перекинул Вальдимару через крепостную стену восточку, что надо всего-навсего раскопать желоб, по которому с гор в город поступает вода, и тогда они сладутся от жажды. Мне сказали, что здесь, в Кенугарде, этот Анастас станет епископом. После взятия города Василий смирился. Он, видимо, ожидал еще, что Владимир велит варягам из своего войска объединиться с болгарам. И Анну поташили на корабль, она плакала и проклинала брата, который продал ее в рабство дикарям, чтобы спасти свою задницу и трон под ней».

«Разве Вальдимар уже не исправился? — спросил Торвальд. — Разве он не пощадил жителей Корсуни и их дома?»

«Он ожидал бóльшей добычи», — ответил Торстейн.

«Разве он не отослал всех своих наложниц?» — спросил Торвальд.

«И навязал их неженатым боярам», — сказал Торстейн.



«И разве народ не крестился?»

«Из-за глупости и рабьего страха», — ответил Торстейн.

Вот так разговаривали побратимы, поднимаясь по холму на пир в палатах Владимира. Каждый из нас устроен так, что видит в человеческих поступках то, что сам выбирает для себя; верящий в священную мудрость увидит именно ее там, где другой найдет лишь предательство и ложь. Станным может показаться другое: отчего Торстейна так беспокоило, каковы были побуждения Владимира. Может быть, он еще не успел забыть, как Владимир под Корсунью обманул свое войско, а значит, и его, Торстейна, лишив его богатой добычи: золота, серебра и женщин, — на которую дружинники имели полное право после долгой тяжелой осады? Но надо принять во внимание и другое: позже Владимир действительно был причислен к лику святых и назван равноапостольным. По-хорошему, такое дело перво-наперво следует передать для рассмотрения в духовный суд, а там есть только один категорический противник святых. Зовут его адвокат дьявола. И вот в день победы Владимира, в день начала его святости, Торстейн Жуть, исландский викинг, взял на себя именно эту роль, хотя, надо подчеркнуть, сам того не ведал.

В городе начало смеркаться. Перед белым дворцом Владимира зажглись факелы и осветили поддерживающие его большие деревянные колонны, а также двух бронзовых коней на дыбах, встречающих гостей у входа. Кони были свадебным подарком князю от императора Василия. Внутри было светло как днем, столы ломились от яств: здесь были и жареные свиньи, и лебеди в меду, и печеные рыбы, и каши, и квас, и медовые пряники, и заморские плоды. Те, кто сидел выше всех, ели только на серебряных блюдах, люди попроще — из деревянных лоханок, украшенных затейливой резьбой, — но серебряные ложки были у всех. Князь Владимир был гостеприимен, любезен с каждым, а порой и красноречив, когда говорил заздравные речи и не уставал хвалить императора, епископов, попов и своих воинов, которым помог Святой Дух, да и сами они были храбры:

То не трубы золотые взревели,
То не дудки серебряные взыграли,
То возговорил сам Владимир князь,

Молвил он зычным голосом:
 Слуги же вы мои верные!
 Наливайте-ка чару зелена вина.
 Наливайте-ка вторую пива пьяного.
 Наливайте-ка третью меду сладкого!
 Слейте эти чары в едино место,
 Поднесите-ка эту чару
 Илье-богатырю, сыну Иванову.
 Пусть он выпьет эту чару на единый дух.

Илья отпил из огромной чаши, затем Добрыня, сын Никитич, затем Алеша Попович и все богатыри по чинам. А епископ Афанасий сказал еще не все, что нужно было сказать, он поднялся с места, отряхнул капли вина с бороды и принялся ударять языком по словесным струнам, рассыпаясь в похвалах и пророчествах:

«Тьма диавольская развеялась, солнце добрых событий светит над страной, капища падут, и церкви поднимутся, благовония освятят воздух, монастыри вознесутся на горах, мужчины и женщины, млад и стар наполнят храмы сладостным пением: “Един свят, един Господь”».

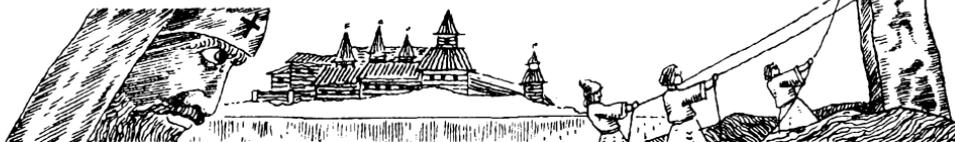
Все слилось воедино: пища и мед, слово Божие и хвала богатырям, отрывка и похвальба, молитвословие и скомошество. Адвокат дьявола Торстейн Жуть тоже погрузился в общую атмосферу и отдал дань яствам и напиткам, в которых понемногу тонула его черная желчь. Пир еще не закончился, а уже было трудно сказать, кто из них с Торвальдом в большей степени считал князя Владимира хорошим правителем, способным на великие деяния.



Глава 21

Святые образа

Следующей осенью Торстейн Жуть отправился на север, в Хольмгард; он не знал, поедет ли дальше, в Исландию. Про него нельзя сказать, что его тянуло к отчим лугам. Он уже достаточно постранствовал по миру — больше, чем его побратим Торвальд. Одни из кожи вон лезут, чтобы пови-



дать множество городов, подивиться их красоте и величию, узнать нрав непохожих народов, другие обращают внимание прежде всего на самого себя в путешествиях и все, что видят и слышат там, мерят взятой из дома меркой. Любопытство у них есть, но легковесное, они быстро все понимают, но не высоко ценят это понимание. Таков был и Торстейн.

Торвальд остался в Киеве. Ему хотелось посмотреть, как христианство будет пускать корни на киевских холмах, и он бессознательно ждал, что это произойдет очень быстро. Он был по-юношески нетерпелив и знать не хотел о том, что людям непросто менять свои привязанности, отбрасывать разом и мудрость, и глупость предков. Впрочем, в Киеве происходили зримые перемены. Корабли привозили из Миклагарда роскошные вещи и одеяния для богослужений, из Болгарии приезжали священники, нагруженные книгами на славянском языке, и учили боярских сыновей их читать. К лику святых причислили княгиню Ольгу, бабушку Владимира, а значит, и русского христианства. Издалека пришли каменотесы, чтобы воздвигнуть по греческому образцу церковь святой Марии — это строение обычно называют Десятиной церковью, поскольку при ее освящении через восемь лет Владимир исполнил обет, данный им при крещении, и отрядил на нее десятую часть своего имущества для поддержания священников, вдов и сирот. Да, так он и сделал — этот неутомимый распутник и братоубийца! Неужели прав оказался Торвальд, а не Торстейн Жуть?

А еще город заполнили люди, умевшие писать по дереву святые образы или иконы. Без этих образов не может обойтись ни одна церковь в православной вере, они располагаются множеством рядов на иконостасе — покрытой картинами стене перед алтарем, и обретаются там как в небесном чертоге каждый в своем окошке, взирают вниз на грешников и ожидают молящихся; иные из них рассказывают священную историю, другие представляют кого-нибудь во всем его великолепии. Такое скопление икон Торвальд впервые увидел в церкви святого Василия — и был поражен. Фридрикова церковь в Эйкарбригге, где стоял образ Марии, когда-то тронувший его до слез, была как будто нага, лишена цвета и аромата по сравнению с этой небольшой деревянной церковью в Киеве, которая при всем том была лишь предтечей

того, что должно вскоре настать. Золотистое сияние этих образов казалось ему прекрасным, их голубизна — мягкой, они притягивали его к себе тихими чарами. И все же ему казалось, что святые, сидящие и стоящие на иконах во всем своем величии, бесконечно далеки от земли, по которой ступал он сам. Они не выходили ему навстречу, не говорили с ним, не знали о нем. Между ним и иконостасом как будто встала другая стена — невидимая, и она казалась еще выше оттого, что те, кто снискал наибольший почет в Царствии Небесном, были на иконах разодеты в шелка и украшены драгоценными камнями.



Было рано еще писать иконы для Десятинной церкви. Но в православной вере иконы живут не только в храмах, их место в каждом доме, где перед ними горят лампадки, словно отблески того света, что пребывает в самой иконе. Ближние люди Владимира немедленно пожелали заказать иконы для своих домов; им важно было показать, что они усердно следуют тому, что так радостно принял князь. Самые богатые обращались к женщине, прожившей в Киеве две зимы; о ней шла молва, что никто не сравнится с ней в искусности. Звали ее Феодора.

Феодора была родом из Царьграда. Ее мать происходила из греческого рода, насчитывавшего не одно поколение иконописцев. Ее отец Свейнальд был скандинав, предводитель варяжского отряда. Ее муж Ингвар, или Игорь, владел ходившим по Черному морю торговым судном, но сам переехал из Корсуни в Киев, который находился ближе к северу, и к занимавшим его товарам, а торговал он мехами — соболем, бобром, рысью, куницей и горностаем.



Торвальд часто бывал в доме Феодоры. Хёскульд, или Аскольд, с которым он прибыл в Киев, и Ингвар вместе промышляли мехами. В дом приходили многочисленные гости и о многом рассказывали. Феодора была со всеми вежлива, но скромна, и всегда исчезала, когда настаивал вечер и шум в горнице усиливался. Ее муж не скупился на угощения, но те, кто засиживался с ним до ночи, на чем он обычно настаивал, могли ожидать чего угодно. От выпитого Ингвар становился злым и частенько набрасывался на ни в чем не повинного гостя в самый неожиданный миг и задавал ему трепку.



Однажды вечером в доме Ингвара и его супруги странствующий певец для развлечения собравшихся завел песни о Тристраме и Исенд, они же — Тристан и Изольда. Эта история пришла издалека, в ней говорилось о сладостных поцелуях и объятьях, и обо всем другом, что происходит между любовниками, об их утехах и восторгах. Песня рассказывала, как влюбленные друг в друга мужчина и женщина добиваются своего, хотя все запрещают им встречаться, — они любят друг друга с искусством изящным и тайным. Песня лила сладкий яд в уши слушающих: о том, что любовь сама себе полагает законы, которые сильнее и выше дружбы, родства, жалости или святого причастия. Она рассказывала о тяжелых муках, ждущих влюбленных, — муках, которых все страшатся, но которых никто не хотел бы лишиться, ибо без них мы не можем сказать, жили ли мы вообще.

Торвальд прежде никогда не слышал песен о любви — разве что стишки с непристойностями и насмешками. Неудивительно, что он был тронут: эта песня сорвала засов с давно запертой двери в его разуме, струны в его душе затрепетали. Его взгляд упал на Феодору: она сидела как зачарованная, со смиренно опущенной головой и, казалось, была целиком захвачена рассказом певца. Он вдруг увидел, что она красавица — краше, чем он думал раньше; слушая горькие жалобы Тристрама, он подумал, что она, наверное, унаследовала от отца светлые волосы, а от матери большие черные глаза. Когда гуслер в своей песне дошел до того места, где Изольда говорит, что и смерти боится меньше, чем разлуки с Тристрамом, Феодора подняла взгляд. Торвальд заглянул ей в глаза и больше не мог отвести взора: в ее взгляде читалась тоска Исенд по Тристраму, который до сих пор не пришел, чтобы пробудить ее к жизни.

Песнь о Тристраме была спета не за один вечер. В другой раз зазвучал рассказ о том, как Тристрам, уже женатый в чужой стране, спасается от тоски тем, что тайком строит себе под горой сводчатый домик. Там он воздвиг статую, красотой и величием настолько похожую на королеву Исенд, словно она сама стояла тут живая. На голове у нее была корона, и одета она была в лучший пурпур с белой опушкой. От нее струился аромат, наполнявший дом, и устроено это было искусным образом: внутри статуи, там, где должно быть

сердце, Тристрам поставил сосуд, наполненный растертыми в порошок травами. Из сосуда шли вверх две тростинки, одна выпускала аромат на затылке, там, где волосы встречаются с телом, а другая — изо рта. В этот домик Тристрам приезжал тайной тропой и обнимал статую, будто живую, и говорил ей нежные слова, вспоминая об утраченной радости.

Когда все встали из-за столов, Торвальд подошел к Феодоре и сказал, что поступок Тристрама выглядит странным. Особенно же странным ему показалось то, что Тристрам заставил статую выпускать благовония.

Феодора с ним не согласилась.

«Нос, — сказала она, — помнит больше и лучше, чем глаза и уши. Я запомнила мало из того, что в детстве говорил мне дедушка, но я хорошо помню, как пахли его руки».

«Сделать статую живого человека, — спросил Торвальд, — разве это не поклонение кумирам в чистом виде?»

«Может быть, любовь сама по себе — идолопоклонничество, — ответила Феодора. — Если ты питаешь к кому-то большую любовь, он становится не таким, как другие смертные».

Торвальд вспомнил, что подобное говорил и его друг Фридрих, с той разницей, что Феодоре был неведом страх епископа, боявшегося, что любовь сотворит себе иных богов, кроме Того, Кто создал небо и землю, и тогда Он будет забыт.

«Разве образ заменит то, чего мы не видим и не слышим?» — сказал Торвальд.

«Не знаю, — ответила Феодора. — Тристрам обрел в своей статуе то, чем обладал в прошлом, ведь он больше желал быть там, чем в каком бы то ни было новом дне. Изображения святых указывают и в нынешний мир, и в грядущий и возводят между ними мост. Возможно, разница между этими двумя примерами невелика: в обоих случаях людям не нравится быть там, где они находятся».

Торвальд просил ее простить свое невежество. В Исландии, сказал он, нет никаких образов и статуй, кроме тех, которые возникают сами по себе на скалах или во льду. И еще пара-тройка грубо вырезанных идолов Тора, о которых и говорить нечего.



«Но, — добавил он, — мой друг Фридрик, епископ Саксонский, держал в своей церкви в Эйкарбригге образы, напоминающие пастве о божественных событиях. Хотя он недоверчиво относился к статуям и картинам, говорил, что они искушают людей почитать земную материю, а небесный дух забывать».

Они прошли в глубь горницы и сели на лавку. Тут Феодора рассказала ему о том, о чем он раньше не знал: в Миклагарде целых сто лет спорили о том, не есть ли почитание икон языческая ересь, не лучше ли бросить их в огонь, — или, наоборот, почитание икон как раз и есть проявление истинной веры, ибо в них дерево и краски перестают быть материей, взятой из падшего мира, и, более того, они приближают падший мир к небесному великолепию.

Феодора рассказывала о вещах, которые в доме ее матери были обыденными; она в нескольких словах коснулась того, что относилось к самой сердцевине греческой веры, но Торвальд, как и следовало ожидать, не многое понял в ее речах. Зато он понял, что создание образов может быть опасным. В Греции, оказывается, бывали и такие времена, когда неистовствовали иконоборцы, жгли и рубили святыни.

«Моего прадедушку Лазаруса, — рассказывала Феодора, — император Теофил повелел схватить, бить плетьюми и жечь его ладони раскаленными гвоздями. Если бы не помощь императрицы Феодоры — не рисовать бы ему больше!»

Торвальду было удивительно, что такому благородному ремеслу, как иконопись, может сопутствовать столь великий риск. «Но, — сказал он с надеждой, — я думаю, этот ужас уже закончился, и больше никому во владениях императора не возбраняется писать иконы?»

Феодора предложила гостю посмотреть иконы и повела его в свою мастерскую.

«Иконоборцев уже давно предали анафеме, — сказала она. — Но иконы не разрешается писать как кому вздумается. Есть строгие правила о том, что такое правильная икона, как следует изображать небеса на земле и земное на небе, не впадая при этом во грех и ересь. Никто не делает статуи святых — это идолы. Никто не изображает Бога Отца, ведь Его никто не видел».

Она подошла к иконе, представляющей Тайную вечерю. Иисус там направо раздавал хлеб, а налево — вино, и апостолы тесным кругом сидели у стола — не как двенадцать отдельных человек, каждый со своей историей, а как единый разум и единая воля, и каждый из них был звеном в цепи, которая не порвется, даже если погибнут небо и земля.

«Иуду на иконах Тайной вечери никто не пишет, — пояснила Феодора, — потому что он не сидит за столом у Христа в Царствии Небесном».

«Но ведь их двенадцать?» — сказал Торвальд.

«Иуду заменяют на Павла: его на Тайной вечери не было, но он присутствовал там в духе и в истине, ведь земное событие — это одно, а событие божественное — совсем другое».

«Тут много знать надо», — сказал Торвальд.

«Возможно, — сказала Феодора с улыбкой. — Для меня самое важное — чтобы люди держали иконы у себя дома и смотрели на них каждый день и чтобы от этого им казалось, что святые не где-нибудь далеко — что они их друзья и соседи».

Феодора подвела Торвальда к двум большим иконам, стоявшим у стены поодаль от остальных; на ее лице вдруг появилось такое выражение, словно сама не знала, должны ли они вообще здесь находиться. Одна из них представляла Богоматерь с Младенцем, на другой были Христос, Марфа и Мария.

Торвальд, конечно, не знал, что эти иконы неправильные, и не только он один был не способен об этом судить. Разумеется, многое на них было верно изображено. Золотые чаши над головой, символизирующие небесную славу. Сокращенные письма, гласящие о том, что всем и так известно, — что на них изображено. Свет, истребляющий каждую тень и напоминающий о том, что Бог есть свет и тьма не пребывает в Нем. Тогда еще не было заведено обманывать глаз, изображая отдаленные предметы маленькими, чтобы придать картине больше сходства с действительностью. Все было выписано в одной плоскости, а это делает предметы легкими, не подчиненными своему весу.

Неверно, согласно канонам православия, было другое: писать Богоматерь таким образом, как это сделала Феодора. Здесь она была представлена нежной и печальной матерью, ласково прижимающей сына к щеке, а он искал убежища



в ее объятьях, будто знал, что мир будет жесток к ним обоим. Правильная икона должна была представлять ребенка стоящим на коленях Царицы Небесной, словно он уже стал Господом Вседержителем и пришел судить живых и мертвых. Икона Христа с сестрами являла собой еще худшую ересь. Женщины сидели в сине-белых одеяниях, подобных тому, какое носил сам Христос. Перед ними была золотая чаша, а в ней лежало маленькое существо — что бы оно значило? Христос сидел в середине, на одной высоте с сестрами; на этой иконе Он также не был Вседержителем, хотя облик у Него был величественный. Женщины были как гнущиеся под ветром тополя, они словно ограждали Того, Кто был им дорог, защищали Его и от огненного жара, и от холодного ветра, и от коварства людского. Они были словно руки, тянувшиеся и друг к другу, и к Нему, правящему их помыслами, — но до Него не дотягивались. Их лица не были похожи на лики с иных икон. Они рассказывали не только о себе, но и о других людях — о большом числе людей. В глазах Марфы была глубокая печаль женщины, которая много перенесла, но все же чиста, словно цветок в поле; глаза Марии говорили о том, что хотя она уже не молода, но все еще ждет, что ее жизнь вот-вот начнется.

Торвальду захотелось расспросить про эти иконы: он сообразил, что они сильно отличаются и от тех, что он видел в церкви Василия, и от других икон в доме Феодоры. Он бросил на нее вопросительный взгляд, но она опустила глаза, словно заранее отказываясь отвечать на еще не заданный вопрос. Он догадывался, что между иконами, хозяйкой дома и им самим возникает некая связь и что все это важнее, чем он сейчас может понять. Может быть, ему доверили тайну, позволили заглянуть за дверь, закрытую для других? Торвальд не стал ничего спрашивать — в опасении разрушить эту хрупкую связь своим любопытством.

Из горницы раздался грохот. Это Ингвар осерчал на Хёскульда и, крича, что не желает видеть эту черную кость и вора у себя в доме, попытался вырвать ему бороду. Гости стали их разнимать, скамьи опрокинулись, кружки полетели на пол; все возбужденно кричали.

Феодора виновато улыбнулась Торвальду. Они вернулись в горницу. На этом их разговор прервался.

Торвальд хотел прийти и следующим вечером, чтобы послушать продолжение истории Тристрама и Исенд. Однако утром он узнал, что через три дня его отряд выступает в Царьград. Надо было готовиться к походу, и он так и не попрощался с Феодорой.

Глава 22

Церковь и дворец

Двенадцать судов отчалили из Корсуни с варяжским войском на борту. Попутный ветер нес их на юг, но Торвальду все казалось, что плывут они медленно. Каждый день длился для него как три, но не из-за дурноты, как во время первого его путешествия по морю, а из-за нетерпения. Покидая Исландию, он не знал, что ему предстоит, а теперь был уверен, что в Миклагарде, на берегах Босфора, где сужается море, его ожидает нечто очень важное — может быть, самое главное в жизни.

Те, кто рассказывал о плаваниях варягов в минувшие века, не особенно расписывали города и замки, встречавшиеся им на пути, да и на природу не обращали много внимания. Они сообщают всего-навсего, что дома там были просторные, города большие, поля широкие, а если упоминают, что в том месте, куда попал герой, было красиво, — это уже можно считать многословием. Они исходят из того, что каждый замок — или крепость, река, лес — похож на другие, и не стоит особо задерживаться на них, когда надо скорее рассказать о словах и поступках героя. Дух истории далеко не во всем согласен с такой скупой манерой. Разумеется, он знает, что один-единственный город — а тем более величайший город мира! — можно описывать так долго, что повествование замрет; кто захочет рассказать обо всем, тот претендует на то, чтобы оказаться в положении человека, решившего выпить море. Но все же Дух истории желает, при всей своей скромности, добавить краски в тот факт, что Торвальд Странник, рожденный на берегах у пределов мира, где начинается сумрак полярных морей, приплыл в город, на протяжении веков считавшийся главным чудом света. Улицы там были как



глубокие горные теснины, площади — как ушелье Альманнагьяу*, церкви — как горы близ Гиль-ау, а людские толпы — как селевые потоки. Здесь, в Миклагарде, на небольшом полуострове, разом собралось столько народу, сколько жило в Исландии от самого заселения страны и до дней епископа Йоуна Арасона**.

Торвальд увидел длинную вереницу дромонов***, готовых изрыгнуть на врагов христианского Бога греческий огонь; он впервые видел столь большой флот. Он увидел окружавшие город огромные стены с пятью сотнями башен и усмехнулся про себя: видел бы такую постройку Баурд из Бьяртнарборга — у него бы лицо вытянулось от зависти! Он увидел свод Айсив, громадные дворцы и бесконечные стены ипподрома и спросил сам себя: «Возможно ли такое на свете?» Он ходил между лотками под портиками в длинном Срединном переулке и дивился тому, что туда стеклись разом все товары в мире. Но воспринимал все это он со спокойным сердцем — вероятно, он увидел и услышал слишком много всего сразу. Или может быть, он уже не мог удивиться больше, чем когда впервые прибыл в Хедебю с Торстейном; ведь человек лишь раз в жизни «теряет невинность» и осознает, что жизнь где-то может быть совсем не такая, как в его родных краях.

Иные из чудес Миклагарда при ближайшем рассмотрении мало тронули его. Например, длинный ипподром, широкий, с высокими стенами, где днями просиживали десятки тысяч горожан, делая ставки на быстроногих лошадей, искусных возничих и силачей; они делились на партии согласно тому, кому они желали победы: у одной партии цвет был голубой, у другой — зеленый. За соперничеством партий, как котел с ядовитым зельем, скрывалась борьба за благосклонность императора — в сущности, та борьба, которую позже назовут политической. Торвальд мало что знал об этом, но он слы-

* Лавовое ушелье (Альманнагьяу — *исл.* «народное ушелье») на реке Эксарау в Исландии.

** Йоун Арасон (ок. 1484–1550) — последний католический епископ Исландии, поэт и писатель.

*** Византийское парусно-гребное судно. Дромоны оснащались огнеметными устройствами — сифонами.

шал, как нарастает и затихает рев толпы, словно неистовый прибой; все это показалось ему пустой суетой.

«Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся»*.

Торвальд был в столице христианства, в новом Риме, городе императора, почитаемого наравне с апостолами, среди народа, взявшего на себя роль Божиего избранника после того, как евреи не приняли Сына Его едиnorodного, и после того, как Господь низринул старый Рим за его грехи и заблуждения. Вот в какое место прибыл наш герой; поэтому его не интересовали развлечения и прочая суета.

«Возрадовался я, когда сказали мне: “пойдем в дом Господень”»**.

В свое первое воскресенье в Миклагарде Торвальд отправился на богослужение в Айя-Софию. Он прошел между десятижды десятью колоннами из редкостного мрамора, вошел под величайший купол мира и увидел большой алтарь из золота, а со всех стен на него взирали святые, в золоте и серебре, украшенные камнями. Перед ними сияли десять тысяч свечей, а сверху спускался свет Божественной мудрости в образе краснокрылой женщины и строгий лик Господа Христа, который всем правит и все знает.

И все же эта величественная постройка была не чем иным, как созданием рук человеческих, пусть даже эти стены и образа отрывались от земли и тянулись к небесам. Но когда началась Божественная литургия, Царствие Божие снизошло на людей и творения их рук. Тогда свершилась великая перемена, все земное освятилось Святым Духом — сладчайшим цветом православной веры. Восемьдесят священников в роскошном облачении и двести певчих запели на разные голоса. Они наполнили душу Торвальда смешанной со страхом торжественностью в молитве «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный». Собрание смертных пело в Херувимской, что они сами чудесным образом стали ангелами, и в эпиклезе*** призвали Господа, чтобы он ниспослал



* Пс. XIX, 8.

** Пс. CXXI, 1.

*** От лат., греч. — призывание (Святого Духа). Одна из важнейших частей христианской литургии.

Святой Дух, — и так Он и сделал. Ано схомен тас хардиас! — Горé имеем сердца! Хотя Торвальд до сих пор многого не понимал и не разбирал слов под этим великим куполом, кроме Христовой молитвы «Кирие элейсон»*, — в этот миг он ощутил, что все, чему его до сих пор учили, истинно и верно.

Он стоял посреди вечности, распростершейся и над тем малым разумением, которым он уже обладал, и над мудростью, которая придет потом. В высшем смысле история о посланниках князя Владимира не врала, даже если сама была вымыслом: нигде в мире не было подобного великолепия, и невозможно было сказать, на земле ты или на небе. Бог ходил меж людей, как всегда, незримый, а люди ходили по дому Господнему, будто были у себя дома, навещали своих друзей и заступников на святых иконах и приветствовали их поцелуем, крестным знамением, коленопреклонением, а потом им давали отведать Тело и Кровь Христову сложки. А священники то входили, то выходили из Царских врат, словно гонцы со срочными донесениями. Самый торжественный момент одновременно был и самым обычным, будним.

Торвальд ни тогда, ни потом не смог бы объяснить другим, что в тот миг творилось в его душе. Возможно, он посчитал бы неправильным даже пытаться сделать это. Тому, кого благодать и величие Господа потрясают, как тростинку на ветру, дарована тайна, которую нельзя осквернять мало-значительными словами. Это непроизвольно понимает всякий, кому Господь дал заглянуть за порог Царствия Своего.

Торвальд был не слишком хорошо готов, недостаточно твердо знал молитву, чтобы обуздать брожения разума, не дающие переживаниям охватить всю душу целиком — разве что на краткий миг. Но в краткий миг благодати он преисполнился новой надежды и воли, и в нем возникло желание выйти из варяжской дружины и посвятить себя служению Богу. Перед ним словно открылся путь, по которому следовало идти дальше. Торвальд поднял глаза к своду, к Христу Вседержителю, который смотрел на него не в крестных муках и не в молитвенной милости, которую призывали пением тысячи людей в церкви, — Он мерил оценивающим взгля-

* Господи, помилуй (*греч.*).

дом земного червя из Своего небесного судилища. И тут случилось самое худшее: на Торвальда нахлынуло все, что было в его жизни прежде, — словно для того, чтобы заставить его отказаться от пути, который только что открылся ему. Он прежде всего вспомнил миссионерство в Исландии, которое ни к чему не привело из-за его горячности и неумения обуздать свою ненависть. И тут же пришла новая мысль: нет, он недостоин надеть святое облачение и причащать других, он не способен достойно служить Господу. Он всего лишь невежественный чужеземец в этом городе, где любой мясник да булочник лучше него разбирается в тайнах Святой Троицы...

Но, возможно, и его жребий неплох: не умеешь того, что хочешь, — желай того, что умеешь. А он прекрасно владеет оружием, и значит, главное для него теперь — обратить оружие на добрые дела. И разве не правильно, не почетно обнажать его на защиту столицы христиан на земле, которой угрожает опасность? И освобождать христиан в восточных странах, вынужденно склонившихся под злой властью беса Магомета?

Торвальд был вторым по главенству после Хёскульда в прибывшей в Миклагард варяжской дружине. На одном корабле с ними приехал сын Владимира Ярослав (варяги называли его Ярислейвом), который должен был заключить с императором Василием новый договор о передвижениях купцов, налогах на пушнину и многом другом. Через три дня после того, как Торвальд побывал на своем первом богослужении в Айя-Софии, он в свите княжича отправился на встречу с императором во дворец Магнавра — императорскую Палату приемов.



Двор базилиевса, императора ромейского, больше всего напоминал пирамиду, идущую кверху сужающимися ярусами. Эта пирамида насчитывала двадцать тысяч чиновников, и у каждого была своя работа. Каждый носил громкий титул, у каждого была одежда особого фасона, смотря по тому, насколько он был приближен к императору, который лишь один имел право носить порфиру гиацинтового оттенка.

Чем ближе к тронному залу в Магнавре, тем больше киевским посланникам навстречу попадалось придворных и тем пышнее они были одеты. Когда распахнулись позолочен-

ные медные двери, Ярислейв вошел первый, ведомый двумя евнухами. Император Василий сидел на троне вдали от них. Приближаясь к нему, посланники должны были трижды пасть ниц.

Когда они склонились перед его величеством в первый раз, два хора пропели императору многая лета под аккомпанемент золотых и серебряных органов; воздух наполнился прекрасными звуками, которые отдались эхом, и люстры задрожали на усеянных камнями цепях. Перед императорским тронном возвышалось дерево из позолоченной бронзы, на его ветвях теснились всевозможные птицы из того же материала. Золотые львы несли стражу возле трона, а сам трон был огромен. Когда посланников повели в глубь зала, птицы на дереве запели, каждая на свой лад. Когда они склонились во второй раз, львы у трона принялись бить по полу хвостами, испуская из разверстых пастей с дрожащими языками жуткие звуки, — и тут Торвальд увидел то, о чем пелось в песне о Тристрате: оказывается, можно создавать людей и зверей из мертвой материи так искусно, что они выходят как живые! В третий раз простерлись посланники ниц, и тут свершилось небывалое: прежде император сидел на уровне их взгляда, но теперь трон по какому-то непонятному волшебству поднялся, и император сидел под самым потолком и взирал на них сверху; хоры пели, органы издавали звуки, львы ревели, птицы щебетали. А наверху восседал Василий Второй, впоследствии вошедший в историю как великий истребитель болгар. Это был он собственной персоной — царь ромейский, полководец ангелоподобный, защитник мира, герой веры, оплот христианства, изапостолос — равноапостольный, а также прочая. С высоты своего трона он сказал немного, но все поняли, что он оставил невысказанным:

«Тебе, сын Владимира, царя варваров, так уж и быть, дозволяется предстать пред моим ликом, но помни: ты — червь во прахе земном, а я — под небесами!»

Но только в этот миг помыслы Ярослава были больше заняты тем, каким образом он сам станет унижать своих хёвдингов, когда воссядет на киевский престол. И Торвальд тоже не превратился в трепещущую тростинку и презренного червя перед этим величественным зрелищем. Он ощутил одновременно торжественность и опасение. Разумеется, перед

ним было большое празднество, хорошо подготовленное и великолепно исполненное. Пришедший на него мог гордиться тем, что ради него так постарались. А еще Торвальд чувствовал гордость, поскольку ему было суждено стать дружинником Василия, а значит — частью величайшей на земле власти. Но и опасения его тоже были связаны с этой властью, которая была так ошеломляюще велика: вдруг она рано или поздно низринет его самого во прах?

Он не понимал, что столь несхожие мероприятия, как богослужение в Айя-Софии и аудиенция у императора Василия, в понимании жителей Миклагарда были звеньями одной цепи, которую греки натянули между небом и землей. Сидящий на троне редко когда был рожден для царствования: часто его путь к императорским регалиям кишел изменами и был обогрен потоками крови. Но при коронации на него изливалась вода благодати, смывавшая с него скверну всякого греха. Он был не просто первым среди царей — он был равноапостольным. Всякая власть от Бога — тем более власть над главным христианским государством, освященная Тем, Кто сотворил для людей законы наряду со всем прочим, что нужно им. Как Церковь была иконой, образом Царствия Небесного, так Константинополь был иконой небесного Иерусалима. И как люди падали ниц перед иконой Христа Вседержителя в Айя-Софии, так же они поклонялись живой иконе в Магнавре. Хотя в конечном итоге: разве не создан всякий человек по образу и подобию Божию, а значит, является Его иконой?

Так одно вытекало из другого согласно доводам, которые никому не пришло бы в голову поставить под сомнение. И все это делало греков превосходнейшим народом в мире, независимо от того, жилось им плохо или хорошо; а еще все знали, что у царя много ушей, и карающая длань его сильна, а еще больше ушей у Бога, приставившего к каждому человеку ангела, который следит за каждым его словом и поступком и ничего не забудет, когда душа будет призвана к ответу на пути в вечную обитель.

Тем вечером во дворце был устроен пир. За каждым столом сидели по двенадцать человек, и поверх одежд у каждого был шелковый плащ. Они ели лакомства, оливки, имбирь, пили вино. Органы играли, хоры пели, индийские факиры



давали разрубить себя напополам и вновь вставляли целыми, китайские шуты клали себе на голову длинные качающиеся жерди, а по ним лазили вверх-вниз ловкие юноши; в перерывах между номерами читали сочинения Иоанна Златоуста. Было много шума, но не было веселья. Император Василий склонился над своим кубком и ковырял в ухе золотой ложечкой. Ему было скучно. Он пытался забыть шутов и трубачей, еду и питье, лесть и похвалы, сосредоточив свои помыслы на предстоящей войне: как лучше распределить силы, если биться он собирается и на западе, и на востоке; какую часть войска ему возглавить лично; каких правителей можно склонить на свою сторону подкупом, а каких придется убрать с дороги?

Василий был одним из самых великих правителей Византии, он подчинил ей Болгарию на севере и множество земель на востоке до самого Каспийского моря. Никогда еще византийская армия не была мощнее, казна полнее, а родовитая знать не трепетала перед императором столь сильно. Это не мешало Василию быть злым, совершенно не ценить красоту, не уметь веселиться; он никому не доверял, не имел ни друзей, ни жены; он никогда не умывался. Таков был человек, державший во времена Торвальда Странника в своих руках большую часть мира. Его власть была настолько совершенной, что он не задумывался, что после него может прийти кто-то другой, и поэтому не озаботился ни тем, чтобы родить сына, ни тем, чтобы назначить преемника. И много позже, в день, когда Василий отправился к праотцам, государство начало приходить в упадок и не отклонялось от этого курса, покуда вовсе не исчезло.

Глава 23

Еретики

Немногим раньше, чем Торвальд отправился в свой первый поход под знаменами императора, в Миклагарде произошли грозные события. Сильное землетрясение поколебало и потрясло город. Его сила была столь велика, что рухнуло или пострадало сорок церквей. Вседержитель не

уберег даже самую Айя-Софию — посередине большого купола пролегла безобразная трещина, а часть хоров обвалилась. Горожане дрожали и молились, пытаясь покаянными слезами смыть дурное предзнаменование. Никогда люди так хорошо не вспоминают, сколь велики и многочисленны их грехи, как когда колеблется земля. Торвальд не знал, на что гневается Господь, его посетила мимолетная мысль, что Он обращается именно к нему, но он тут же подумал, что слишком ничтожен, чтобы из-за него дрогнул целый город.

Войско, частью которого был Торвальд, всего три турмы*, отправлялось далеко за фемы Бифинию и Пафлагонию, на восток в Армению и далее. Но в этот раз ему предстояло не подавлять мятеж и не пытаться отвоевать земли у багдадского халифа. Оно шло на Давида, правителя области Тао-Кларджети в Грузии, которую местные называли Сакартвело; там паслись тучные бараны, оттуда на столы знати попадали отборные фрукты. Этот Давид был союзником византийского императора и в награду получил в ленное владение большой участок Армении к северу от озера Ван. Но он совершил большую ошибку — поддержал мятеж Бардаса Фокаса, о котором мы уже упоминали. И теперь войско пошло на восток, дабы укротить гордыню Давида и покарать его за измену. Во главе его император поставил опытного полководца Иоанна Халдейского.

На привалах Торвальд подружился с друнгарием Константином Патсикосом. Константин происходил из старинного воинского рода в Анатолии и много где пускал в ход свой меч, но больше всего любил сидеть дома за книгами. Третьим человеком в их беседах был толстый евнух Михаил, ведающий хранением имущества и провианта турмы. В Византии оскопление обычно применялось в качестве наказания или когда надо было прервать род того, кому не доверял император. Но нередко родители оскопляли своих сыновей, чтобы те могли сделать чиновничью карьеру, и Михаил был из их числа. Скопцы считались более верными слугами, ибо



* Крупное подразделение византийской армии, численностью ок. 2400 человек, под командованием турмарха. Делилось на банды, во главе которых стояли друнгарии.

уменьшался риск, что они станут класть деньги в свой карман, — им не надо было покупать украшения для жен или выводить в люди детей; к тому же, даже достигая высоких чинов, они, за редким исключением, не участвовали в борьбе за престол. Дядя императора Василия, его тезка и паракоймоменос — высший советник — был скопцом. К моменту нашего рассказа его уже отправили в ссылку. И все же Михаил часто упоминал, что «один из нас» был паракоймоменосом.

Когда войско стало приближаться к городу Манцикерт, разведка донесла Иоанну Халдейскому, что Давид дрожит от страха как птица в клетке. То он созывает войско и хочет защитить свою страну, то на следующий день желает склонить шею под пяту императора; при этом прекрасно знает, что и то, и другое может быть опасно для жизни. Иоанн со своей стороны попытался парализовать волю Давида — он велел своим посланникам намекнуть, что мирные переговоры могут дать результат, но ни слова не сказал о том, на каких условиях возможно заключение мира.

Но тут с юга, из Амиды, пришли вести, что сам халиф багдадский, Абу Бакр ат-Таи, пытается разжечь в Давиде упрямство. Впрочем, Давиду на помощь он войско не послал. Но он послал оружие паликанам, жившим на границе византийских и багдадских владений. Ат-Таи попытался настроить невоинственных паликан на вражду, убедив их, будто греки намереваются закончить начатое за четыре поколения до того, когда император Феофил прошел огнем по селениям паликан на армянских землях и перебил их десятки тысяч; теперь же они будто бы хотят изгнать паликан с их земель или истребить всех до единого. В это нетрудно было поверить, ибо совсем недавно Василий Первый продолжил дело Феофила.

«Возьмите это оружие, — сказали паликанам посланники халифа, — отомстите за ваши беды и защититесь от новых набегов».

Иоанн стратег понял, что решение Давида во многом зависит от того, клюнут ли паликане на наживку арабов и позволят ли втянуть себя в новые невзгоды. Поэтому он решил послать треть войска, одну турму, на юг, в места проживания

паликан. И это оказалась как раз та турма, в которой служили Константин и Торвальд.

«Чем провинились паликане?» — спросил Торвальд.

«Это мерзкий сброд, — ответил евнух, — а притворяются, что они лучше и святее всех. А еще на Троицу они становятся такими одержимыми, что пляшут нагишом, исходя пеной, во славу Святого Духа, и пьют семя вместо крови Христовой, а потом предаются свальному греху до тех пор, пока не упадут без сил».

В подобных мерзостях обвиняли всех еретиков, и это было отлично известно книжнику Константину.

«Что-то ты загнул, — сказал он. — Конечно, бывают такие еретики, которые думают, что когда на них нисходит Святой Дух, то им все дозволено, но к паликанам это не относится».

«Тогда в чем же их преступление?» — повторил свой вопрос Торвальд.

«Они неправильно понимают сущность Христа. Они утверждают, будто у него только одна природа, а не две. Что Он истинный Бог, а не истинный человек, а больше мне об этом не известно».

Торвальд бросил взгляд на высокие неприветливые горы Армении, которые днем жарятся на солнце, а ночью дышат пронизывающим холодом, и вдруг на удивление сильно ощутил, как далеко он отъехал от родных краев. Здесь все было другим, даже овцы, скачущие по склонам, и те были жирнохвостые. Живы ли еще его родители? Тоска воссела по левую руку от него, а гордость — по правую: он и повидал, и узнал гораздо больше, чем многие, и съездил в такие дали, до которых Грису, мужу Хельги, нипочем не добраться.

Если он сложит голову здесь — узнает ли об этом кто-нибудь?

Большое множество паликан собралось в долине к северу от Амиды. Они разбили шатры на ровном поле и там держали совет, и горы окружили их тесным кругом, стоя на страже их тайн. Они не могли договориться. Одни, это были старейшины, не желали воевать, ведь они не могли рассчитывать на подмогу ни от Давида, ни от халифа, а сами паликане не очень привыкли носить оружие. Те, кто был помоложе, подбивали друг друга на подвиги, преувеличивали для себя и других прошлые злодеяния императоров и опас-



ность, которую несет с собой любое проходящее через их края греческое войско. А третьи спрашивали, не могут ли паликане извлечь выгоду из того, что и военачальник греков, и Давид находятся в трудном положении, и выторговать себе какой ни есть мир с Византией, пользуясь тем, что именно их оружие может решить, которое из двух войск победит? Это предложение сразу отвергли, ибо паликане были люди прямодушные и не торговали своей совестью.

Спорили паликане долго, но какое-либо решение так и не приняли и, забыв про осторожность, разошлись спать. Этой же ночью греки и варяги заперли выходы из долины, перед самым рассветом скрытно подошли к лагерю паликан и, не дав им опомниться, нанесли страшный удар. Мало кто из паликан оказал сопротивление; многие погибли спящими — их пронзили сквозь ткань шатров; других зарубили, едва они успели выбежать наружу.

Торвальд не убивал лежащих, а искал противника среди тех, кто уже поднялся и был в состоянии обращаться с мечом. Из-под шатра выскочил молодой человек и первым делом воткнул алебарду в живот сотника из отряда Торвальда, так что тот сразу испустил дух. С этим храбрецом и схватился Торвальд. Он был, как и прежде, проворен в движениях и смекалист в бою; он вывернулся из-под удара и перерубил древко алебарды, а затем поднырнул под противника, крепко схватил его, повалил и связал. Вскоре всякое сопротивление было подавлено. Три тысячи паликан остались лежать на поле боя, раненых безжалостно добились, а с тел сняли трофеи. Около трехсот человек из нижнего конца лагеря попытались спастись бегством — за ними послали отряд с приказом пленных не брать. Пленных набралось всего-то человек пятьдесят, из них тридцать — старейшины, которые все спали в большом шатре посреди лагеря. Он настолько выделялся из всех остальных шатров, что это послужило поводом посмотреть, кто в нем, прежде чем истыкать ткань копьями. Юноша, которого взял в плен Торвальд, был сыном одного из старейшин — величественного человека с большой бородой.

Турмарш Христофор Склерус распорядился отвести пленников в овечий загон невдалеке и допросить их. Им вырывали ногти, их жгли каленым железом, но они ничего не сказали о других паликанских отрядах. Христофор Склерус

проклинал упрямство пленных, пинался, бранился и клялся Богородицею, что скорее будет десять лет воевать с Магометом и его войсками, чем иметь дело с еретиками. Затем он пообещал, что наутро всех изжарят на медленном огне.

Торвальд весь день был занят и случайно оказался возле загона с пленными лишь под вечер. Он посмотрел на толпу, вошел в загон и направился туда, где его пленник сидел рядом с отцом. Он не был одержим гневом против этих людей, однако и добрых чувств к ним не испытывал. Впрочем, он думал не столько об их ереси, о которой знал мало, сколько о том, что они предали императора, а значит, и Божию веру. Иначе с чего бы они снюхались со злейшим врагом христиан багдадским халифом?

Этот вопрос он задал длиннородому старейшине, которому, как он заметил, оказывали бóльший почет, нежели остальным павликанам.

«Мы никого не посылали к халифу, — отвечал старец. — Он сам послал нам людей и оружие».

«Лучше просвещенный язычник, чем христианин-угнетатель», — прошипел сквозь зубы его сын; он понимал, что терять ему все равно нечего.

«Вы хотели предать императора», — сказал Торвальд, не обратив внимания на слова юноши.

«Мы не можем предать никого, — сказал старец. — Мы — овцы, которых гоняют между стаями волков. Наоборот, это нас все предали — в том числе и халиф. Ведь сказано: не доверяйте сильным мира сего».

«Все должны подчиняться какому-нибудь царю», — сказал Торвальд.

«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам»*, — ответил старец; ведь у еретиков всегда наготове гораздо больше ответов из Священного Писания, чем у живущих по правой вере.

Тут Торвальду захотелось узнать, что означает слышанное им: будто паликане не верят, что Иисус Христос — одновременно и истинный человек, и истинный Бог?

Старец провел пальцами по запекшейся крови в своей бороде и посмотрел на Торвальда, будто спросил: кто ты,



* Деян. V, 29.

чтобы спрашивать о том, что тебя не касается? Но по лицу чужестранца он увидел, что тот спрашивал без задней мысли, — и он ответил:

«Взойди на вершину какой угодно горы, посмотри на мир, и ты увидишь то же, что и в этой долине: убийства и увечья, кровь и костоломство, плач и скрежет зубовой. Проклятие Сатанаила лежит на этом мире с незапамятных времен. Сын Божий не может быть плоть от плоти этого злого мира. Его природа божественна, он — дух, становящийся видимым для человеческих глаз. Его человеческая сущность, как говорят греки, — всего лишь капля в море его неизреченной божественности».

«Но, — спросил Торвальд, — если Христос истинный Бог, а не истинный человек, значит, Он и не страдал, будучи прибит к кресту?»

«Это тайна, которая не каждому дается...» — сказал старец и замолчал. В его сознании всплыл отрывок старинного псалма из той древности, что возводят к гнозису — знанию единственно верному и тайному. Злые люди прибывают Христа к кресту и радуются, но не знают, что Его присутствие — всего лишь видение, и Он произносит слова, которые старец сейчас почти непроизвольно пробормотал себе под нос:

«Думали — Я на кресте, а Я на высоких вершинах над глупостью их смеялся...»

Старец улыбнулся сам себе, обретя это утешение. Так Господь сделает любого мудреца и властителя глупцом ныне и присно и во веки веков. Не страшитесь смерти телесной...

«Кто, — спросил Торвальд, — научил вас всему этому?»

«Над нами нет епископов, — сказал старец. — Никто, кроме Бога, не говорит нам, что истинно, а что ложно».

«А как Он говорит с вами?» — спросил Торвальд.

«Он говорил с нами в Своих святых словах, — ответил старец, как будто удивляясь его невежеству. — И Он до сих пор говорит с нами в Духе Святом. В Духе Святом все равны, Он не спрашивает, кто император, кто патриарх или папа...»

«Всякая власть от Бога», — сказал Торвальд.

«Никто не может забрать власть от Бога, — ответил старец. Он замолчал, его взгляд оторвался от Торвальда, от связан-

ных измученных товарищей и поднялся над стеной загона и над вершинами гор, которые алели, прежде чем погрузиться во тьму. — Кто трижды семь месяцев будет идти через халифат и другие языческие царства, придет в государство, где живет справедливость, — медленно и торжественно проговорил он. — Там все по очереди становятся царями и епископами и каждый день мечут жребий, кто где будет работать. Там достаточно богатства, но нет ни господ, ни рабов, ни воров, ни грабителей, ни завистников. Там есть царь всех камней — карбункул, который ночью светит, как солнце днем, там птица Феникс, после сожжения восстающая из огня и наполняющая крыла свои благовониями, там погребен апостол Фома».



Они сидели в задумчивости — варяг и еретик, и над головой у них светили те же звезды, что и поныне украшают небосвод. Торвальд не знал, чего в нем больше: отвращения к гордыне этих людей, позволяющей им судить о делах божественных, или уважения к их мужеству и твердости духа. Паликане прощались с этим миром, и хотя они считали его злым, все же разлучались с ним в тоске, которая живет в крови у всех и делает важным все, что человек теряет.

Чтобы укрепить дух собратьев по вере, старец запел:

В светоносце живет Свет,
 что сияет над миром,
 а если он не светит, то в нем лишь тьма.
 Кто не знает огня,
 сгорит в нем.
 Кто не знает воды,
 утонет в ней.
 Кто не знает тела — своего приюта,
 погибнет вместе с ним,
 когда разум оставит голову,
 красота лика померкнет,
 резвые ноги подкосятся,
 белые руки повиснут,
 день свечерееет,
 а трава на кровле завянет.
 Господь возговорил к нам:
 «Кто ближе всех ко Мне —
 тот близко к огню».



Мы знаем, что Господь развяжет спутанного,
поднимет согбенного.
Гонимые, мы не оставлены,
низринутые во прах, мы не погибли,
мы уходим, не оборачиваясь.
О том, что было, вспоминать не стоит.
Уходим мы далеко в леса,
поцелуют братья друг друга на прощание,
каждый сделает себе дом, какой умеет,
и живет там один со своим светом,
птицы райские на ветвях поют,
и ангелы, как звезды ясные,
насыщают нас пятью небесными хлебами.

Когда взошел день, Христофору Склерусу стало неохота тратить время на столь утомительное занятие — выкалывать изменникам глаза, отрезать еретикам языки, жечь их живьем. Дров для костра не напасешься! Он велел воинам согнать пленников в большую яму и завалить ее камнями, что и было исполнено. Побиваемые камнями паликане встретили смерть достойно. Они низкими голосами пели псалом, стоя под градом камней: «Из глубины взываю к тебе, Господи!»* Камни врезались в их тела, ломали им кости, придавливали их к земле, но пение не смолкало: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто устоит?»** Торвальд все видел и слышал. Он спрашивал себя: «Может, старец был прав?» Он видел, как плененный им юноша прикрыл руками голову и плечи отца и, сколько мог, защищал его. Из ямы еще некоторое время доносились слова псалма: «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи — утра»***. Потом все закончилось.

Финал был несложным. Иоанн Халдейский стянул всю свою армию к столице Давида. Затем он огласил византийские условия мира, которые оказались на удивление легкими: Давиду дозволялось держать свои ленные владения в Армении и отцовское наследство в Грузии, пока он сам жив. Более того, ему дозволялось называться куропалатом —

* Пс. СХХІХ, 1.

** Пс. СХХІХ, 3.

*** Пс. СХХІХ, 6.

почетным византийским титулом. Но после его смерти все эти владения должны были отойти к Византии. Давид поспешил ответить согласием, и византийское войско повернуло домой.

Глава 24

Другие еще хуже

Войско Иоанна Халдейского, все три турмы, медленно продвигалось на запад. Люди были рады: они не помнили, чтобы греческой армии прежде выпадала на долю война, несущая так мало трудностей и потерь; их не волновало то, что Христофору Склерусу не удалось выбить из паликанских старейшин никакого выкупа — все равно он спрятал бы эти деньги в свой карман. Солдаты не надеялись на почести в Константинополе, но там их ждало хорошее жалованье, выпивка, публичные дома и другие радости.

Никому не врезался в память день, когда большую часть паликан изрубили, а оставшихся побили камнями как собак, — только Торвальду. Но самым худшим ему казался во все не способ убийства. Он не был таким уж рыцарем без страха и упрека, чтобы считать недопустимым захватывать врагов врасплох, пока они спят; в конце концов, никто не отменял правило, что победа тем лучше, чем меньшей кровью она дается. Это можно услышать в любой песне, какие только слагают о битвах. Там никакое оружие не берет героев, симпатичных слушателям, они выходят на бой, одетые броней Божественного благословения и с неистощимыми силами, а когда они — а вернее, тот герой, которому певец решил даровать победу, — бросаются на вражьи полчища, то прокладывают сквозь строй врагов улицу настолько широкую, насколько могут вытянуть руку с мечом. Хуже другое: в сражении с паликанами — если это вообще было сражение — Торвальд впервые увидел, как христиане убивают христиан, сперва объявив их врагами из-за неправильной веры. Ему было известно, что христианские народы сражаются не только с псами-язычниками, но и между собой. Но знать — это одно, видеть и слышать — совсем другое, а при-



нимать — третья: подобные войны лишь тешили беса, они были стыдом и позором, который нужно было стереть с лица земли. Стыд жег его память. Он словно все еще слышал, как обрушиваются камни на пленников, взывающих к Господу из глубины, пока их кости сыплются в зев преисподней.

Торвальд хранил эти мысли при себе много дней, но в конце концов не удержался. Он сказал Константину и евнуху Михаилу, что не может примириться с тем, что христиане яростно убивают друг друга и при этом призывают Господа даровать им победу или утешить их при поражении. Но они не поняли, что так возмутило исландца. Все это было для них чем-то самим собой разумеющимся.

«Так оно было, так и есть», — сказал Константин.

«Но ведь все они христиане», — повторил Торвальд.

«Назвать можно как угодно, — отвечал евнух. — Еретики хуже язычников: они слышали истину, но идут за ложью».

«Халиф показался им добрее, чем император», — сказал Торвальд.

«Измена порождает измену, — ответил евнух. — На пути в ад никто не стоит на ногах твердо».

«Но все это происки зла», — сказал Торвальд.

«Да уж верно, не добра, — согласился Константин. — Но нам этого не изменить».

Они находились в лагере у реки Халис; путь до Константинополя был пройден до половины. Река журчала, плавно извиваясь по долине; Константин повторял ее движение, крутя свои усы; козы блеяли на склонах, евнух рыгал после сытного обеда; птица пела на дереве, и Торвальд смотрел поверх нее в голубое небо. Все молчали, пока Торвальд не заговорил, точнее, не схватился по неосторожности за ту ниточку, которая всех длиннее и нередко спутывает людские судьбы:

«Откуда берется зло?»

Его приятели переглянулись. Евнух поморщился, Константин слабо улыбнулся. На этот вопрос уже давным-давно получен ответ, и его не знают разве что дети, то есть все знают, что на этот вопрос нельзя ответить как следует. Сделать это может разве что мудрец, который знает то, что другим непостижимо. Но их товарищ Торвальд — не ребенок и не мудрец. Тогда кто же он?

«Зло исходит от дьявола, — сказал внук, — откуда же еще?»

«А дьявол откуда? — спросил Торвальд. — Разве Бог не сотворил его, как и все остальное?»

Внук считал, что это исключено: с чего бы это Богу создавать для Себя такое проклятие? Сам того не зная, он впал в худшую ересь всех времен, которая утверждает, что Бог поделил власть над миром с Сатаной. Эта ересь жизнеспособнее других, потому что она позволяет Богу быть всеблагим, но забирает у Него всемогущество. Она подкрадывается к каждому человеку, даже к тем, кто знать ее не хочет, улыбается ему и вызывается разрешить важнейшие вопросы: смотри, как все просто! А иначе и быть не может. Ты должен выбрать, кому будешь служить.

«Зло, — сказал Константин, — вошло в мир вместе с грехом. А грех вошел туда, потому что Адам в своей гордыне не пожелал слушать Господа».

«Потому что Ева соблазнила Адама на непослушание», — вставил внук.

«Разве не мог Господь всемогущий создать человека, не склонного к непослушанию?» — спросил Торвальд.

Константин задумался, прежде чем отвечать.

«Он запросто смог бы это, как и все другое. Создать совершенного человека».

«Но почему Он так не сделал?»

«Да кто может это знать? — спросил Константин, начиная злиться. — Наверно, Ему было бы скучно, если бы все были так же совершенны, как Он».

«То есть люди грабят, лгут, предают и убивают друг друга только потому, что Богу скучно? — возмутился Торвальд. — А разве Христос не говорит: “Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный”**?»

Константин метнул взгляд в сторону внука. Они, сами того не желая, свернули на кривую дорожку. Но только один он это осознает?

«Может быть, — примирительно сказал книжник, — что на земле не все всеблагое. Но и злое не все. Творение меньше Творца, тебе придется это признать. И все же Творец хо-



* Мф. V, 48.



чет создать как можно более совершенный мир. Это означает, что все в нем хорошо в большей или меньшей степени. Оттого-то существует и свет, и тьма, и все, что между ними, и свет виден, потому что существует тьма. Раз способность Бога созидать бесконечна, в его мире должно быть все. Мир, населенный одними лишь высшими сущностями, менее совершенен, чем тот мир, которому знакомы и святые, и великие грешники».

Торвальд не попался на этот философский крючок, хотя наживка на нем была соблазнительна.

«Если это правда, — сказал он, — и мир, в котором есть все, благ, то никому не требовалось бы впредь вмешиваться в ход вещей. Тогда ничто не изменится от того, что язычники бросят христиан львам, и этому не будет причин препятствовать. Ведь это будет происходить просто оттого, что должно произойти. И тогда будет не важно, что викинги разбивают младенцев головой о камень и насилуют их матерей. И не важно, что христианские правители убивают подданных друг друга, или что людям отрубают руки то за писание святых икон, то за их уничтожение, или что мы забросали камнями нескольких простаков в горах. Следующий шаг: сказать, что не важно, пришел ли Христос в мир, или нет!»

«Мой милый Торвальд, — мягко и терпеливо сказал Константин, — ты злишься на вероломство христиан по отношению друг к другу, и тут я тебя понимаю. Но разве тебе не говорили, что мы живем в падшем мире? Или ты не помнишь, что все люди грешны и не спасутся собственными усилиями? Или посмотри вот на что: христиане и так хуже, чем нам хотелось бы, а каковы они были бы, если бы не было Христа?»

«Эти бесы-язычники, — сказал евнух, — они гораздо хуже нас, это хотя бы ясно».

«Они хуже, — охотно подтвердил Константин. — В Индии был султан по имени Туглак. Каждый день он приказывал приводить к себе сотню людей в путах и цепях и сурово карал их за каждый проступок, большой или малый, настоящий или вымышленный. Его приговоры исполнялись немедленно: кого велели пытать — тех калечили, кого велели зарубить — тех выволакивали во двор и казнили, и каждый гость, входивший во дворец, первым делом видел гору тру-

пов между внешней и внутренней стенами дворца. Туглак так сильно выжимал налог из своих подданных, что крестьяне побросали поля, и по всей стране пошла голод и мятежи. А когда султан подавлял их, он не оставлял ничего живого, даже собак убивали, а со своих наместников в мятежных провинциях он велел живьем сдирать кожу. Он говорил своим заморским гостям, что в прошлом Магомет прописал в своих сводах законов слишком мягкие наказания, а сейчас люди стали куда более злыми и гневливыми. Поэтому, говорил султан, пока я жив, я буду сурово взysкивать со своих подданных по каждому подозрению в изменнических планах, и малейшее несогласие будет стоить им жизни, потому что они платят за мою щедрость коварством и изменой.

Немного позже он так разгневался на жителей своей столицы, что велел им за трое суток выехать из города и поселиться в другом городе, до которого было пять дней пути на север. Большинство не смело послушаться, но были и те, кто спрятался в своих домах. Султан велел своим рабам обыскать город и проверить, не осталось ли там кого-нибудь, и они нашли на улицах двух человек: один был калекой, другой слепым. Султан велел привязать их к лошадям и тащить туда, куда он прогнал остальных горожан. В конце пути от них остались лишь клочья ног и рук. Когда те, кто еще оставался в столице, узнали об этом, они в ужасе бежали, побросав все свое имущество. Вечером султан взoшел на крышу своего дворца, бросил взгляд на один из самых больших городов мира, в котором было не видать ни огня, ни дымка, ни света ламп, и сказал: «Вот мой гнев и улегся, теперь я спокоен».

В ответ Торвальд рассказал Константину и Михаилу о своей поездке к Баурду из Бьяртнарборга и его великом коварстве.

«Я же говорил, — заметил евнух, — эти собаки один другого хуже»,

«Султан Туглак, — сказал Константин, — был не какой-нибудь пень из Саксонии. Он знал поэзию, астрономию, медицину. Он был настоящий аристократ и благочестиво молился своему пророку».

«В Африке был черный царь, — сказал евнух, — у которого была тысяча жен, но каждую, которая оказывалась беременна, он убивал. Сына, которого от него спрятали, он убил



собственноручно, потому что не желал, чтобы ему кто-нибудь напоминал о том, что он смертен. Собственные братья перерезали ему горло во сне».

Таким образом, разговор перешел совсем в иное русло. Беспощадные вопросы, которые мучили Торвальда, потерялись среди рассказов о далеких краях. Но если честно, не должен ли бы быть следующий его вопрос таким: неужели для меня утешение — слышать, что где-то люди страдают от еще бóльшего зла?

Глава 25

Мечь императора

Как часто бывало и прежде, в Миклагарде сидели два императора, но считались только с одним из них. Константин, брат и порфи ровенчан ный сосед Василия по трону, был обжора и пьяница, на государство и военные походы он плевать хотел с высокой колокольни. Василий же, напротив, только о том и думал, как исправить законы и завоевать земли. Он не давал войскам сидеть без дела. Так что воины, с которыми Иоанн Халдейский ходил на Армению, отдыхали в Константинополе недолго. Вскоре их послали на подмогу основным силам греков, теснившим болгар в Фессалии.

Василий имел зуб на болгар. Как только он достиг совершеннолетия и сверг с трона своего дядю-скопца, он двинул большое войско на царя болгар Самуила, захватившего множество греческих городов в Фессалии. Войско шло прямо на болгарскую столицу. Василий в ту пору был не слишком опытным полководцем и больше полагался на доблесть, чем на осторожность. Когда его войско шло через Траянское ущелье, болгары засели в окрестных горах, и в самый неожиданный момент их конница налетела на греков. Большинство греков бесславно погибли. Болгары захватили богатую добычу, а сам Василий спас свою жизнь только благодаря резвому коню. По возвращении в Константинополь он поклялся отомстить болгарам так жестоко, чтобы они вечно раскаивались в том, что посмели поднять на него руку.

В затеянном сейчас походе Василий показал, что за короткий срок выучился по части стратегии многому. Стоило разведчикам заметить неприятеля, как полки Василия становились в плотный строй. В бою воинам было строжайше запрещено выходить за стену щитов, чтобы показать свою удаль: каждый должен был, под угрозой наказания, биться там, куда его поставили. Так войско продвигалось на запад, подобно медленно текущей лаве, и сражалось только тогда, когда было уверено в победе. Болгары сдерживали наступление греков, как только могли, но не ставили все на карту в едином решающем бою.

На Константина Патсикоса такой метод наступления нагонял скуку. «Ни то, ни се, черт знает что! — сказал он как-то. — Никогда о походах Василия не расскажут ничего такого, что было бы хоть кому-то интересно!»

«Значит, на войну ходят ради увлекательных историй? — рассмеялся Торвальд. Ему казалось хорошим знаком, что Василий старается как можно лучше беречь жизнь и здоровье своих людей. — Коль скоро война — это неизбежное зло, то, наверное, хорошо, что император старается уменьшить приносимые ею несчастья».

«Может быть, это так, а может быть, и нет, — сказал Константин; сейчас подошел его черед сомневаться в благости властей — хотя и в меру. Когда однокашники много беседуют друг с другом, они часто, сами того не замечая, меняются ролями. Константин знал без счета историй о константинопольских порфиросцах и мог с их помощью доказать что угодно, ибо его убеждения не отличались твердостью. — Только вот я часто удивляюсь, — добавил он, — сколь малые умы порой правят миром. Когда умер Лев Мудрый, государство перешло к его брату Александру. А тот уже до такой степени пропил свой рассудок, что ему чудилось, будто бронзовый медведь на ипподроме — это он сам в другом обличье. И он велел вставить этому медведю новые зубы и прикрепить ему новый уд — потому что эти части своего собственного тела он уже совсем испортил».

«Как же, — спросил Торвальд, — такой человек пробрался на престол?»

«К счастью, он продержался там всего год, — сказал Константин, который уже готов был вернуться к своей обычной



роли и начать подыскивать аргументы в пользу того, что все могло пойти гораздо хуже, чем пошло. — Вот что удивительно, после коронации люди странным образом становятся лучше, чем можно было бы ожидать».

«Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Торвальд.

«Прапрадед императора, Василий Македонянин, был всего лишь армянский невежа и тугодум, который умел обращаться разве что с лошадьми. Но он был близким другом и собутыльником Михаила Третьего и оказал ему ту услугу, что развелся с женой и женился на императорской наложнице Евдокии. Михаил наградил его за это, короновав в качестве своего соправителя. Потом Василий отблагодарил его за это, задушив пьяным во сне. Но вот в чем дело: этот Василий потом стал самым великим нашим императором со времен самого Юстиниана. Или вот Иоанн Цимисхий. Он стал любовником жены своего друга и брата по оружию Никифора Фоки. Царица впустила его и других изменников ночью к своему мужу-императору, и они забили его насмерть, вырвав при этом ему волосы и бороду. Впоследствии этот Иоанн стал самым любимым в народе императором: справедливым, храбрым, просвещенным и таким смиренным, что обмывал ноги прокаженных и был щедрее всех с бедняками. Он впервые за много веков отвоевал Сирию и почти всю Святую землю. Из того похода в Иерусалим он привез сандалию Христа и волос Иоанна Крестителя и умер святым со словами покаяния на устах».

«Ты считаешь, — спросил Торвальд, — что император должен непременно стремиться к тому, чтобы доказать, что занял трон по праву?»

«А почему нет? Много есть примеров тому, как из ростка, укоренившегося в кровавой почве, возросло большое прекрасное дерево. Царица Ирина стала править государством после мужа, и подавила иконоборцев, и вновь украсила церкви, прежде лишенные святых образов. Но прежде она повелела ослепить наследника, и ему пришлось так скверно, что он скончался от ран».

«Ты говоришь, — переспросил Торвальд, — что для того, чтобы спасти святые иконы, царице Ирине пришлось захватить власть, а для того, чтобы не потерять ее, убить собственного сына?»

«Я этого не говорил, — смутился Константин. Он не ожидал, что ему так быстро напомнят о тупике, в который попадает каждый, кто считает, будто все, что ни делается, к лучшему. — Такого я не говорил. Но во всем плохом есть свидетельство высшей милости, хотя порой оно проявляется значительно позже. А также надо учесть, что не всегда можно понять, что было на самом деле, а чего не было. Прокопий написал историю своего времени, в которой превозносил Юстиниана Великого и жену его Феодору, их мудрое правление, доброту и щедрость. Но тот же Прокопий тайком написал другую историю, и там он называет их кровожадными бесами, Юстиниана — глупцом и безжалостным расточителем и игрушкой в руках царицы, а Феодору — грубой потаскухой, которая начала свою карьеру тем, что в цирке давала гусям выклевывать ячмень у себя из промежности, и которая жаловалась, что природа не дала ей больше трех отверстий, куда можно впускать мужчин... Так где же этот человек говорил правду?»



Торвальд покачал головой: он на собственной шкуре испытал, какую напраслину способны они возвести на человека — даже если для того, чтобы выяснить правду, достаточно просто заглянуть на соседний хутор.

«Мы знаем, — сказал он, — то, что видим сами».

На этом разговор закончился.

Несколько недель спустя войско подошло к воротам Лариссы — одного из крупнейших греческих городов, захваченных Самуилом. Греки сдались болгарскому царю лишь тогда, когда в городе дошло до людоедства. Всех жителей Лариссы продали в рабство, кроме рода Георгия Никулицеса, который был связан с болгарским царем и содействовал его победе. После этого городская святыня, тело святого епископа Ахиллеса, было увезено для умножения славы собора в Пресне, новой столице Самуила. Реликвии считались более ценной добычей, чем золото и серебро; смертные могли видеть их — и все же они принадлежали вечности.



Теперь грекам предстояло отомстить болгарам за пережитое бесчестье. Осада была недолгой. Василий не желал ждать, пока горожане оголодают настолько, что начнут есть кожаные пояса и башмаки. Не обратился он и к другим военным хитростям, применяющимся при осаде городов. Он не стал



отправлять в город птиц с привязанной к их ногам горячей паклей; и не стал запруживать текущую в город реку, чтобы его войска могли пройти по сухому руслу под стены. Он сбрал вместе все катапульты и тараны и обрушил на городскую стену град камней и тяжкие удары. Когда была пробита брешь, он послал туда — прорубать основным силам дорогу — отряд, меньше всех ценивший собственную жизнь и больше всех любивший битвы. Среди таких любителей кровавой потехи первыми считались варяги, и они ринулись вперед с жуткими воплями. Болгары мужественно встретили их, они пускали стрелы и рубились с яростью людей, которым больше нечего терять. Но византийцы заполонили город, мужчин, не успевших бросить оружие, зарубили на месте, женщин насильовали везде, где только настигали, богачей хватали и пытали, чтобы они признались, где спрятали сокровища, а запершихся в домах выкуривали огнем.

Семья Георгия Никулицеса, которую Василий обвинил в измене, укрылась в церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости. Женщины забились в углы, дети устали плакать от ужаса. Сам Георгий, его двое сыновей и братья зашли в святая святых и держались за алтарь. Воины Василия никому не дали пощады, они схватили мужчин у алтаря, пинками и ударами выгнали их, а после и всех остальных, на площадь. Та, что хочет помочь всем в их невзгодах, взирала на этот ужас с середины иконостаса.

Василий не стал тратить лишних слов на этот иудин род. Сыновей и братьев Георгия оскопили, самому ему выкололи глаза, потом отрубили руки, а напоследок обезглавили, женщин насильовали до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни, а детям просто размозжили головы о камни.

Защитников города, остававшихся в живых, привели к императору Василию. Этих крепких людей, целых четыре сотни, можно было продать в рабство. Но сейчас императору было важно другое — заставить болгар дрожать от страха при одном упоминании своего имени. Он велел связанных воинов одного за другим положить на площади и выколоть им глаза, оставив один глаз каждому двадцатому.

«Свяжите по двадцать слепцов вместе, — приказал Василий, — и пусть каждую связку выводит из города одногла-

зый. Пусть идут к Самуилу, называющему себя царем болгар, и покажутся ему».

Тысячи книг полны подобного рода описаний: пытки, изнасилования, оскпления, обгорелая плоть, выколотые глаза, вырезанные языки. Авторы, похоже, сами трепещут от пронзительных воплей, от отвратительных увечий, от мучений, которые для истории уже давно стали будничными. И все же некоторые пробуют входить в мельчайшие подробности мучений, словно сами испытали их. Но вот заглянуть в сознание тех, кто отдает приказы о пытках или учиняет расправу над беззащитными пленниками, тех, кто точит ножи и секиры и заглядывает в глаза, прежде чем их выдать, решаются немногие. Как будто подразумевается, что все они настолько привыкли к своим дьявольским деяниям, что в них ничто не содрогается от сострадания, которое вообще-то считается свойственным человеку. Также подразумевается, что сострадания нет и у тех, кто смотрит на все это. Как будто они должны радоваться каждому вырываемому глазу, каждому отрезанному яичку, каждой скатывающейся с плахи голове — потому что сегодня им все дозволено, потому что сегодня они опьянены кровавыми испарениями и страдальческими стонами целого города.

И хотя все это верно — или почти верно — в отношении войска императора Василия, каким оно было в Лариссе в тот день, особенного ликования среди византийцев не ощущалось. Разумеется, никто не сомневался, что Георгий Никулицес и его семья понесут самое суровое наказание. Но в чем провинились их малолетние дети? И столь ли уже велика была вина пленных болгар, обращение с которыми было более жестоким, чем кто-нибудь видел или слышал прежде?..

Торвальд ходил между людьми и видел все ужасы этого дня словно во сне. Нигде он не пытался прийти на помощь; он не оттаскивал солдат от женщин, как давным-давно в Эйкарбриггье, не пытался избавить кого бы то ни было от мучений, как случалось раньше. Крики несчастных потрясли из него всю волю, ужас лег на его плечи таким тяжелым грузом, что казалось, у него вот-вот подкосятся ноги. Он был изранен всеми ранами — и их было так много и они были такие большие, что через них из его тела как будто излилась вся кровь.



Он не отрываясь смотрел на императора Василия, когда выкалывали глаза несчастным, и видел на его суровом лице только радость. Он сказал Константину, стоявшему рядом:

«Для такого низкого поступка потребуется большое покаяние и искупление».

Константин осмотрелся, опасаясь, что кто-нибудь их услышит, и промолчал в ответ. А когда болгар увели прочь, он взял Торвальда под руку, отвел в сторону и стал говорить о злых вещах, гораздо худших, которые происходили раньше. Он говорил, что Василий молод и вспыльчив, к тому же его сильно рассердили; скорее всего с годами он исправится, станет более зрелым и совершит многие благие дела.

«Нет, — сказал Торвальд. — Этот не исправится. Потом будет еще хуже».

Торвальд оказался прав. Через много лет война с болгарами завершилась тем, что Василий, в большем масштабе, повторил то, что впервые опробовал в Лариссе. Одержав победу над болгарским войском при Клидионе, он повелел ослепить пятнадцать тысяч пленных, но одному из каждой сотни выколоть только один глаз, чтобы тот смог привести свой горемычный отряд к царю. Говорят, сердце Самуила разорвалось от горя, когда он увидел, как жестоко обошлись с его людьми. Впрочем, победа это была знаменитая: тогда под власть Византии отошел весь Балканский полуостров. За это деяние Василия называют Болгаробойцей — Болгароктонусом, и в истории он более известен, чем какой-либо другой император с берегов Босфора, за исключением лишь Константина и Юстиниана.

Глава 26

Грехопадение

Не без причины озирался Константин Патсикос на соборной площади в Лариссе и проверял, не услышал ли кто-нибудь посторонний, как резко отозвался Торвальд о подлом поступке императора. Этот разговор слышал евнух Михаил, хотя его приятели не заметили. И хотя Константин и Торвальд были ему симпатичны, он понес слова Тор-

вальда дальше. Он знал, что у императора много ушей: если не он — так другой выдаст Торвальда, а если это сделает другой, то подозрение падет и на него, ведь он хорошо знает обоих и стоял рядом с ними.

В Византии в ходу было несколько простых заповедей, которые почитались даже сильнее, чем заповеди, принесенные Моисеем с Синайской горы, хотя они нигде не были записаны — только в сознании каждого. Об императоре говорить ничего не следует, а если кто-то заводит о нем речь, то лучше молчать — ведь все сказанное можно истолковать как угодно. Особенно подданным императора приходилось следить за собой во время застолий, некоторые старались даже не ходить на пиры без крайней на то необходимости — ведь там развязываются языки, и, как знать, может быть, встреча с друзьями будет сочтена частью заговора против императора. Часто оказывалось, что слова, оброненные в шуме застолья, именно друзьями передавались дальше, и поэтому многие не заводили друзей, видя в них лишь источник неприятностей.

Боязнь клеветы и наветов, а также уверенность, что императору и его вельможам известно о каждом слове и каждом поступке, так сильно укоренились в сознании большинства греков, что сопровождала их даже на тот свет. В знаменитом житии описано, как душа попадает в рай. Для этого ей надо пройти через двадцать одни ворота, которые называются мытнями; и у каждых ворот сидят недобрые судьи, которым ведомо все. У первых ворот перечисляются все, с кем эта душа при жизни злословила о ближнем; у одиннадцатых записано, когда она пьянствовала: все дни, все кружки; у двадцатых ей предстоит услышать имена всех, с кем она в юности предавалась пороку. Ибо к каждому человеку Господь приставил сурового ангела, записывающего все, что человек делал на своем веку. Записи свои ангел распределяет по роду и сущности прегрешения и отсылает в соответствующую мытню, иначе говоря, ведомство, в ином мире.

Торвальд еще плохо разбирался в таких делах; даже если он и слышал о чем-то таком, то как человек, приехавший издалека, еще не понимал, насколько все это касается его самого. Константин, разумеется, местные правила поведения



знал, но редко о них задумывался — он родился в Анатолии и в столице Византии тоже был, в сущности, чужим.

Войско возвратилось в Константинополь и начало готовиться к выступлению в Сирию. Торвальда повысили в чине, как и многих других, участвовавших в походе на Лариссу. Ему и в голову не приходило, что процесс уже был запущен: виновный в злословии по адресу того, кого Господь избрал царствовать над Византией, обязательно, хотя, может быть, и с некоторым опозданием, должен был угодить в темницу и предстать перед судом. В конце концов катепан*, отвечающий за безопасность императора, получил показания евнуха, расспросил других знакомых варяга-исландца, получил три печати на приказ арестовать его и привести на допрос. Так что Торвальду Страннику не было суждено принять участие в славном походе на Сирию и освободить Халеп; до Иерусалима он так и не добрался. Неправдой было и то, во что так хотелось бы верить его землякам: будто он сдружился с византийским императором и получил от него богатые дары и почет. Верно другое: среди ночи раздался стук в дверь дома близ Медных ворот, где жили варяги. Вошли пятеро стражников в полном вооружении и спросили друнгария Торвальда с Руси.

Но им пришлось уйти ни с чем, поскольку накануне вечером Торвальд отлучился, и никто не знал куда. Таким образом, он избежал темницы в подвалах древнего дворца, где стал бы сражаться с крысами за корку плесневелого хлеба, а может, и вовсе сгинул бы, как многие другие, кто вовремя не придержал язык и попался на зубок клеветникам или завистникам. Но Торвальд угодил в другую яму, сам собой упал туда, и падение его было велико.

Именно в этот вечер Торвальд вместе со своим дружкой Константином скатился со скользкого края прямо в пучину безнравственности, ибо оказался в публичном доме. Отчего такому дому позволили стоять в городе — оплоте христианства? Неужели из-за того, что под солнцем должно быть место всему, — а коли так, то пусть под тенью священной мудрости располагается гнездо порока, подобно тому, как под

* От греч. «тот, кто наверху», «верховный». Здесь: начальник дворцовой стражи.

раем располагается ад? Мерзкий порок и скотская похоть выгодно оттеняют путь целомудренных, делают их добродетель краше и напоминают о свободе воли, которой грош цена, если на каждом шагу перед человеком не маячит возможность нарушить какую-нибудь заповедь. Господь устроил все так, что человеку постоянно приходится вступать в борьбу с орудиями сатаны; если их ликвидировать, никто не получит похвалы за то, что доблестно сражался.

Грехопадение произошло словно само собой: ведь оно не предупреждает о себе, а завладевает человеком медленно и незаметно. Вероятно, дорожку к Торвальду дьявол проложил еще в Лариссе: тогда он чего-то важного лишился, а взамен ничего не пришло, ни плохое, ни хорошее. А когда в душе один сухой песок, дьявол резвится в этой пустыне как в песочнице. При этом дьявол шепчет еле слышно, но с непоколебимой настойчивостью: «Ничто не имеет значения. Ничто не истинно и не ложно, все суета. Ни одно дело не бывает сделано безупречно, и тот, кто думает, что начинает хорошее и нужное дело, не ведает, когда оно превратится в преступление. Лучше уж вовсе ничего не делать под солнцем. Разве это хуже, чем сидеть с десятками тысяч других на ипподроме и драть глотку вместе с ними? Разве не бессмысленное высокомерие — считать себя выше подобных развлечений? А коли так, то хорошо бы ходить с Константином Патсикосом по кабакам, где каждая выпитая кружка заставляет душу соглашаться со всем, что свершается и может свершиться?»



И вот они сидят в кабаке, и Константин травит разные байки, и час от часу они становятся все веселее. А главное — Торвальд смотрит на мир, видит, как он плавает в легкой дымке между тем, что есть, и тем, чего нет, и имеет полное право говорить: «Могло быть и хуже!»

«Для людей нет ничего лучше, — сказал Константин, — чем есть и пить и давать своей душе радоваться. А сейчас, Торвальд, мы пойдем и вкусим хлеб порока и изопьем его вина».

Ведь надо было как-то *это* назвать.

Красный фонарь указал им путь по длинному и узкому переулку. В глубине его располагался публичный дом, снаружи, казалось, маленький, но огромный внутри. У дверей наших приятелей приветливо встретили, ведь никто не пла-

тит в таких местах больше и щедрее, чем военные, ожидающие войны. Сперва они сидели в горячей ванне, попивая густое пряное вино из серебряных чаш. Затем возлегли на лавки, и рабы легонько прошлись по ним вениками от плеч до пят — эта полезная для здоровья процедура недавно пришла в Византию с севера, с Руси, и считалась весьма полезной для здоровья. Когда они вышли из бани — мир как будто стал лучше.

Они вошли в длинный зал, обитый красным и черным. По обеим сторонам его стояли скамьи с подушками, рядом с ними столики, на них кувшины с вином и маленькие светильники. Середина зала было хорошо освещена: там возвышался помост высотой человеку по грудь. Близ него сидели флейтисты и барабанщики и играли странную мелодию, больше всего напоминающую сладострастные стоны. Константина и Торвальда пригласили к столу. В полумраке они узнали многих, но в таких местах со знакомыми не здороваются.

Вскоре на помост взошли три блудницы-танцовщицы, одна другой краше: кожа белая как снег, волосы черные как ночь, губы алые как кровь. На каждой было множество шелковых покрывал кричащих цветов, небрежно сцепленных между собой; они сбрасывали их с себя в танце медленными сладострастными движениями. Флейты заливисто рыдали в ожидании, пока не покажутся и не станут плясать с ними их груди, потом бедра, а потом и полная нагота. Одна из них не спешила сбросить со своих чресел черный покров; перед этим барабанщики забили в барабаны изо всех сил и резко умолкли, когда всем стало видно, что на поясе у нее был прикреплен уд, искусно вырезанный из слоновой кости. Две другие блудницы склонились перед своим повелителем Фаллосом и нежно поцеловали его под неистовое ликование зала.

Греки были самыми изощренными в мире мастерами по части всякого рода церемоний, возносили ли они хвалы Господу, почитали ли императора или разжигали огонь страсти. Для всего было свое время, своя прелюдия и свое поведение. Кубки вновь наполнили, и в то же время внесли на помост широкое ложе, застеленное шелком. На это ложе возлегли три блудницы, которые только что танцевали,

и начали спектакль с двусмысленными речами. Смысл спектакля заключался в том, чтобы воздать хвалу роскоши и величию плоти, особенно тех частей тела, которые редко обнажаются, а заодно и доказать зрителям, что при известной доле изобретательности можно бесчисленными способами свести вместе и языки, и пальцы, и уста, и тот путь, которым мы все выходим из утробы матери, и то отверстие, которое все презирают. Торвальд выкатил глаза — но не оттого, что был возмущен зрелищем мерзости и порока, против которого пророки и апостолы метали громы и молнии в своем праведном гневе, а оттого, что сейчас узнал гораздо больше способов сплестать члены и проникать в тела, чем ему могло даже пригрезиться. Разнообразие оказалось даже больше, чем можно было представить себе, потому что блудницы знали всяческие трюки и своими легкими движениями больше всего напоминали змей. Игра становилась все более завораживающей, барабанная дробь чаще, а стоны флейт сильнее; три женщины превратились в один шевелящийся клубок змей, и из него доносились недвусмысленные стоны.

По окончании этого блудницы начали медленный танец и запели хвалу самим себе и своим товаркам. Смысл этой весьма откровенной песни сводился к тому, что они сумеют услужить всякому, кто к ним зайдет; они всегда готовы бесстрашно встретить даже уд жеребца и повести его по тропе наслаждений.

И тут одновременно произошло больше, чем может позволить себе наш рассказ, ведь все гости обезумели от вина и похоти. Некоторые тотчас похватили юных мальчиков и девочек, прислуживавших им. Двое крепких мужчин с мощными чреслами затеяли соревнование, кто из них быстрее возьмет женщину дважды. Торвальду захотелось непременно посмотреть на это — как и многим другим: они делали ставки каждый на своего жеребчика и подбадривали наездников бесчисленными криками.

К Торвальду подседа пригожая лицом, белая, мягкая и пахнущая благовониями молодая потаскушка — одна из тех обитательниц этого дома, что умела петь, танцевать и вести беседу, а также была начитанна в книгах, что сразу становилось заметно по ее разговору. Она как будто чувствовала, что Торвальд уже забыл, каково это — прикоснуться



к женщине. Она легла рядом с ним, засунула язык ему в ухо, а руку легонько положила между ног. Он отпрянул. Женщина поняла, что с ним надо иначе, что он не готов взять ее здесь, при всех, и тихонько напела ему на ухо:

Убрала я постель покрывалами,
Миррой усыпала ложе.
Грудь моя как виноградины,
Уста мои — как сладкое вино.
Приди, напьемся допьяна любовью,
Будем тешиться.
Лоно мое как круглая чаша,
Не оскудевающая вином.

Она провела его вверх по лестнице, раздвинула занавески, воткнула факел в гнездо в стене над своим ложем. Он шел за ней как зачарованный, никто не смог бы сейчас преградить ему путь, никакая угроза не смогла бы ослабить его стремление к наслаждению и гибели. Блудница толкнула Торвальда, и он упал на спину; она задрала его одежды и взяла в руки уд, чтобы высосать из него сок. Но на лице Торвальда она заметила испуг. Ей показалось это забавным, и она вкрадчиво произнесла:

«Не то оскверняет человека, что входит в уста его»*.

Разве могла эта лукавая болтунья впасть в большее богохульство, чем при таких обстоятельствах сослаться на слова Христа? Разве Торвальд Странник, проповедник веры в Исландии, не должен был тут же вскочить и отринуть от себя порок? Увы, в этом месте и в это время он не видел, не слышал и не знал иного, кроме того, что возлежит с женщиной, с которой может делать все, что захочет, но которая при всем том владеет им, и иго ее сладостно. И он засмеялся ее остроумию; смеялся он и тогда, когда она немного позже впустила его в свое лоно со словами: «Царство Бога уже среди вас»**.

Он смеялся как дурачок, как безумец, он раззадорился от такого кощунства против Слова и вошел в нее и в третий раз, и в четвертый. Злорадное веселье гнало его вперед, он чув-

* Мф. XV, 11.

** Лк. XVII, 21.

ствовал себя властителем — пусть его власть была мимолетна, а царство крохотно. Он погружался в огненно-жаркую красно-черную тьму, выныривал из нее и погружался снова.

Глава 27

Хожде́ние по мукам

Когда Торвальд вышел на заре следующего утра из публичного дома, его голова была как треснувший купол Айя-Софии. Язык — сухим как песок в пустыне. Ящерицы и змеи грызли его сердце. Он молился, чтобы дома обрушились и погребли его под собой. Пусть бы хоть один камень вывалился и свалился ему на голову, чтобы он забыл, зачем родился на свет в недобрый час. После убийства двух глупых стихоплетов-злословов худшего поступка он не совершал.

Человек более ученый, чем Торвальд, и более склонный к примирению с самим собой быстро нашел бы способ притупить нож совести, пронзавший его, если вовсе не примириться с этим падением. Он рано или поздно нашел бы отцов церкви и других святых, доказывавших, что над влечением к женщине человеческая воля не властна. Он мог бы убаюкать свой возбужденный разум долгим изощренным описанием того, как тайный орган мужчины вдруг начинает сам по себе вести себя недостойным образом — по той причине, что именно он должен передать первородный грех, этот великий акт неповиновения, следующим поколениям, и происходит это сразу при зачатии. Этого греха никому не избежать. На самом деле Торвальду даже не надо было далеко ходить за утешением учеными словами: незадолго до него в Византии был один высокоученый клирик, который подбирал доказательства того, что в каждом человеке по воле Божией живут две души: одна по натуре безгрешная, а другая склонная к падению, обреченная на ошибки и грехи.

Но все эти лазейки были для Торвальда закрыты, все эти трюки разума и софистики были вне его досягаемости. Каждый превращает собственный поступок, зовется ли он развратом или подвигом, в предмет гордости, в тяжкое бремя или горькую муку, смотря по тому, какой след он оставляет



в его сознании. Торвальд не видел себе прощения. Он с радостью принял порок. Он оплевал святые слова, он смеялся над ними на ложе блудницы. Он никого не убил, не покалечил, не ограбил. И все же был уверен, что сделал что-то непоправимое. Он скатился в глубокую яму, из которой не выбраться. Но хотя он горячо и искренне проклинал тот миг, когда отвернулся от Господа, как это неоднократно делал народ израильский, и возлег с блудницей, все равно рядом с ним сидел невидимый маленький бесенок и нашептывал в ухо, как сладок грех и как хорошо было бы рано или поздно вновь вкусить его, ибо живет человек один раз и должен брать от жизни наслаждений, сколько сможет, пока эту жизнь у него не отнимут.

Скорее всего Торвальд больше всего рассердился на себя именно из-за этого бесенка. В его душе одновременно звучали два голоса. Разумеется, они обладали разной силой, но все равно их было два — умолкать бесенок не хотел. Оттого-то и бродил Торвальд по улицам Константинополя как юродивый — лохматый и в рваном балахоне. Так прошло несколько дней, ноги сами тащили его улицам — он не ведал, куда и зачем. Он слал Господу свои стоны, рассказывал Ему о себе и своих грехах и просил прощения. Но потом он решил, что недостойн того, чтобы Господь выслушал его, а милости достоин еще меньше. «Так пусть же мир отвергнет меня, пусть люди перестанут узнавать меня! — сказал себе Торвальд. — Во имя справедливости, я заслужил это».

Так Торвальд сгинул для самого себя и для других — в том числе для тех, кто в те дни действительно искал его. Сам он, конечно, не догадывался, что его падение могло служить отличным примером неисповедимости путей, которыми Господь избавляет от опасности тех, к кому благоволит. Ведь та черная ночь в публичном доме уберегла его от губительной темницы. Он был в цепях порока, когда его пришли арестовывать. А потом его придавил стыд, и он был не в силах возвратиться туда, где находились на постое варяги, которые знали о его грехе — и не важно, что в их глазах ничего особенного он не совершил. И было еще кое-что, чего он пока не понимал: грехопадение столкнуло его с пути, по которому он шел бездумно, избавило от внутренней пустоты, которая мешает видеть свет и чувствовать мир вокруг. Вместо

этого ему достались страдания и муки и больше ничего, но они свидетельствовали, что он жив.

Прибежище себе Торвальд нашел в полуразрушенном доме среди таких же оборванцев, каким стал он сам. Некоторое время спустя он отважился зайти в церковь, но там сначала жался к стене, не желая попасть под строгий взгляд Христа Вседержителя, глядящего из-под купола; апостолы со стен глядели на него почти ничего не выражающими глазами; он пытался увидеть сочувствие на их лицах, но безуспешно. После долгих поисков в церкви святого Иоанна Златоуста он нашел икону, перед которой — так ему показалось — мог стоять и преклонять колени, даже будучи недостойн того. Эта икона почернела от старости, в двух местах потрескалась, на ней не было ни серебряного оклада, ни драгоценных камней, возможно, она даже была написана не по канону, если верить тому, что рассказала ему еще в Киеве Феодора-иконописица. На ней была изображена Мать Божия, пресвятая и непорочная, но выглядела Она прежде всего не Царицей Небесной, а матерью, которая знает, что ей и ее дитю предстоят нелегкие испытания. Она смотрела на грешного странника прямо, печальными глазами, но с таким дружелюбием, что только ей и никому другому он мог рассказать обо всем, что с ним произошло. Вместе с тем Богоматерь на иконе была и напоминанием о прошлом, она была похожа на женщину, которую он видел и слышал в горах в юности, и на Брингвет, и на образ в Эйкарбригге.

На ступенях церкви сидели бродяги и нищие, делились друг с другом историями о своих странствиях и чудесах, пересказывали жития святых. Торвальд, стараясь не выделяться, подсел к ним. Но его никто и не спрашивал, откуда он и знает ли он что-то, чего не знают другие.

Один нищий спросил товарищей: «Отчего Господь создал человека последним из всех тварей земных?» Они не знали. Для того, самодовольно ответил отягощенный знанием нищий, чтобы с Адама спесь сбить и чтобы люди знали, что даже навозная муха — и та была прежде них. Бродяга из Болгарии попытался рассказать длинную еретическую сказку о том, как дьявол украдкой начал лепить человека, пока Бог отвлекся на что-то другое. Тем не менее Богу удалось вдохнуть в человека какую ни есть душонку в последний момент,



когда он лежал пластом в глине, из которой был вылеплен. Маленький веселый попрошайка, издавек пришедший в Константинополь на одной ноге, рассказал про столетнего отшельника по имени Маркус, жившего в пещерке, которую он сам себе выкопал в горе Арарат. Этот Маркус, говорил нищий, был крайне суров к самому себе. Однажды, подойдя к пещере Маркуса, он услышал, как тот распекает себя на чем свет стоит: «Ну что тебе еще, дурак ты старый? Вино ты пил, мерзавец эдакий, масло жрал, ведь старым притворялся, немощным — так что тебе еще? Долго мне с тобой еще мучиться, обжора ты, грубиян?»

Следующей заговорила закутанная в серую шаль старуха, сидевшая выше всех на ступеньках. В ее голосе было нечто, какая-то такая сила, которая заставила всех слушать ее лучше, чем других. Она спросила: знают ли они историю о том, как Богородица спускалась в ад к грешникам? Все отрицательно покачали головами. Торвальд подвинулся к старухе поближе; она еще не начала говорить, а он уже почувал, что ее рассказ будет касаться его больше, чем других.

Хождение Богородицы по мукам было долгим и суровым. Она велела архангелу Михаилу отпереть для нее ад, и он водил ее по всем помещениям вместе с херувимами, серафимами и четырьмя сотнями ангелов. Странствует Богородица по аду и видит множество мужчин и женщин в огне мучительном, в морозе злом, а дыму, в зловонии или в пасти чудовищ, и наполняли они воздух стонами, воплями мучений и жалобными рыданиями. Она же оплакивает грешников, и жалеет их, но взора не опускает, хочется Ей увидеть все муки и никого не забыть. Ни тех, кто стоит в огне по пояс за то, что проклинал своих отца и мать. Ни блудников и блудниц, которых огонь лижет до подмышек. Ни клятвoprеступников, тонущих в огненной реке. Ни тех, кто получал прибыль за свое золото и серебро и теперь висит вниз головой над змеиным рвом. Ни клеветников, подвешенных за языки на железном дереве. Ни убийц, ни тиранов, ни даже епископов, изменивших делу Божию, которых варят в зловонной крови.

И просит Богоматерь Михаила пустить Ее к грешникам, ибо хочет Она принять мучения вместе с ними, но он не соглашается и велит Ей обратиться ко Вседержителю. Тогда

приходит Богородица к Господу, воздевает руки и просит Его помиловать грешников, но Он отвечает, что не может поступиться своей справедливостью:

«Всем и каждому да воздастся по заслугам, как решено было изначально».

Тогда говорит Богородица: «Все они просят Меня заступиться перед Тобой».

«Я сказал», — говорит Господь.

Тогда призывает Матерь Божия Моисея, и всех пророков, и Павла, и всех апостолов и евангелистов, и все воинства небесные, и все они склоняют головы перед Всевышним и поддерживают Ее в горячей мольбе. Тут громы грянули, молнии заблестали, трубы загремели, и снизошел Сам Христос со Своего трона и сказал:

«Явился Я сюда ради милосердия Отца Моего и ради молитв Матери Моей. И Я даю тем, кто в мучениях пребывает день и ночь, покой от мук и ужасов от Великого четверга до Троицына дня, чтобы они прославляли Бога Отца и Сына и Святого Духа».

И был великий шум истинного ликования, и все пели: «Слава милосердию твоему».

В следующее воскресенье Торвальд услышал в церкви проповедь, посвященную Той, что выше всех людей.

«Бог, — вешал голос проповедника, — не пожелал бы становиться человеком, если бы Его Мать не согласилась добровольно принести Его в мир. То чудо, что слово стало плотью, — не только деяние Отца, Его силы и духа, там не обошлось без воли и веры Той, что сказала: “Смотри, я раба Твоя, Господи. Да будет мне по Твоим словам”. И врата Рая, запершиеся из-за ослушания Евы, распахнулись вновь, когда Мария исполнила волю Божию. Узел, завязанный ослушанием Евы, развязала покорность Марии, все, что девица Ева сковала неверием, Дева Мария освободила верой и доверием».

Торвальд вышел из-за колонны, за которой прятался от лика Господня, чтобы посмотреть, кто это говорит. Это был старец Симон из монастыря Богоматери на Большом острове, рослый, широкоплечий, седобородый, чернобровый. Голос его был негромок, но говорил он на удивление четко,



и каждое его слово сопровождала мягкая сила, достигающая ушей и рассудка слушателей.

Симон запел:

Не дерзну поднять я очи к небесам,
ибо они искали зла.
Руки не дерзну я воздеть горé,
ибо они желали все присвоить.
Уст я не дерзну отверзть в молитве,
ибо полны они жалкого вздора.
Не могу я вздохнуть
под бременем суеты.

Сердце мое тяжко от жадности.
Душу мою гнев повил мраком.
Тело мое обездвижил я ленью.
Ноги мои преткнулись о камень любострастия.
Уши мои наполнил я бесчестными речами.
До носа моего долетает смрад грехов моих.
Я — словно древо не плодоносящее
или храм, что стоит в запустении.

Торвальд рассматривал этого величественного старца, и ему не приходило в голову, что этот человек — святой по лицу, виду и манерам, пересказывает собственное обращение к Господу Богу. Конечно же, эта песня была о нем, Торвальде Исландце, и ни о ком другом. И разве не чудесно, что в короткий миг сошлось столь многое в образах, историях и проповеди и показало ему прямую дорогу из зловонного рва, сплело ему, недостойному, веревку, по которой он мог бы выбраться из бездны страха?

Глава 28

У старца Симона

Старец Симон принял Торвальда любезно и выслушал его исповедь. Он пристально смотрел ему в глаза, поглаживая бороду, сначала молчал, потом стал спрашивать. Торвальд поведал обо всем, что с ним произошло, и лишь в од-

ном не смог сознаться — разве что намеком: как он осмеивал Слово Божие, будучи в объятиях блудницы.

«Ты, Торвальд, потерпел кораблекрушение, спеши же ухватиться за плот раскаяния, чтобы он принес тебя в гавань Бога всемилостивого, — сказал на это Симон. — Нет человека без греха». Он обрадовался тому, что Торвальд проследился, ибо слезы раскаяния и милости есть вода Небесная, лишь она способна превратить сухую муку в тесто, из которого можно выпечь хлеб жизни. Он сказал Торвальду, что если сейчас он раскаивается в своем блюде больше, чем в убийствах, совершенных в Исландии, значит, сейчас он ближе к Богу, чем тогда.

«Душа, — сказал он, — сначала как ребенок, но потом она взрослеет. — И добавил: — Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех согбенных». Он положил епитрахиль на голову Торвальду, положил сверху руку и произнес слова отпущения грехов: «Все, что ты сейчас сказал мне, смиренному слуге Господню, о твоих прегрешениях, и все, о чем ты не сказал по неведению или по забывчивости, — да простит тебе Господь в этом мире и грядущем! Ступай с миром и ни о чем не беспокойся».

Но Торвальд не хотел уходить. Ему негде было преклонить голову. Он стал просить старца не прогонять его от себя.

«Хорошо, сын мой, — сказал Симон, — пойдем со мной».

Они вышли из церкви и пошли вниз по улице, ведущей к Железным вратам. Там Симона поджидала лодка с четырьмя гребцами. Они ударили веслами по морской воде и направились к Большому острову. Торвальд ни о чем не спрашивал, Симон молчал. Лодка резво летела вперед, неся Торвальда в монастырь. Ему не хотелось думать, что будет дальше, хотя его жизнь была на пороге великих перемен. Но он был преисполнен доверия к Симону, к этой лодке, увозящей его в новый мир, ко всему этому новому миру, что готов был открыться ему, и поэтому над ним не были властны никакие сомнения или страхи. Он отринул все колебания и сидел теперь окруженный благодатью, как будто новообращенный, перед которым впервые рассеялась тьма.

Симон назывался старцем, но не в том смысле, что он был согбен под тяжестью лет; старец — это тот, кто стар и опытен, у кого все ищут поддержки и душеспасения. Старцем нель-



зя стать по назначению. Все, чем обладает старец, — это дар понимать Божию волю и толковать ее другим. Потому и велел Симон Торвальду следовать за ним в монастырь Божией Матери, ибо провидел, что лучшего для себя Торвальд не мог и желать.

Симон был отличным утешителем, он мог говорить с каждым, терпящим нужду, и он был рад приобрести ревностного ученика. Торвальду многое предстояло узнать, и он жадно впитывал в себя каждое слово учителя. Особенно хотелось Симону поведать Торвальду тайны синергии — взаимодействия Бога и человека, наиболее совершенно проявившейся в Богоматери; об этом, собственно, была проповедь, положившая начало их доверительным отношениям.

«Мы — Божии соратники, — часто говорил Симон. — Мы не можем собственными усилиями достичь союза с Богом, если на то не будет Его милости. Бог стучится в двери, но не вламывается в них, Он ждет, пока человек сам отворит свои врата для благодати. Союз же с Богом возможен потому, что мы сотворены по образу Его. Мы узнаем Бога и приближаемся к нему шаг за шагом не в последнюю очередь потому, что мы видим Его в братьях наших и сестрах. Лучшая икона Господа — сам человек. Господь говорит в псалме: “Вы — боги и сыны Всевышнего — все вы”*. Но не следует бравировать этим, в людях и так слишком много высокомерия, даже если они не вспоминают постоянно о том, что их назвали богами. А нужен ли богам Бог? Человек глуп и забывает быть благодарным за то, что он — подобие Божие и только поэтому бесконечно ценен, каким бы грешным он ни был».

Говоря это, Симон медленно и ритмично поводил указательным пальцем левой руки по ладони правой, словно в его ладони покоилась душа Торвальда, и он хотел ее приласкать. От речей Симона на душе у Торвальда становилось легко и светло, и все его сомнения сами бежали прочь.

Наконец наступил день, когда он стал послушником, приняв имя Феодосий. Он почти не задавал старцу сложных вопросов. Он не спрашивал, почему людям прощается столь многое? И подобен ли иконе Господней тот, кто разбивает головы младенцев о камень? Но он подробно расспрашивал

* Пс. СXXXI, 6.

его об иконах, о святых образах, поскольку не забыл опасений своего друга Фридрика, что в прекрасных образах люди чтят мертвую материю и превращают их в кумиры.

«Мы не поклоняемся иконам, — говорил Симон, — но оказываем им должное почтение. Они не идолы, но они указывают нам путь к истинным таинствам, ибо Бог стал человеком и пребывает человеком во всех нас. Сделать изображение Бога Отца невозможно, ведь никто из людей его не видел. Но после того, как Бог стал плотью и жил среди людей, то не только правильно, но и обязательно сделать изображение Сына, который есть явленный Отец. Я не поклоняюсь материи, но служу Творцу, который ради меня не посчитал за труд воплотиться в материи и освятить ее».

Что бы ни попало им под руку, о чем бы не заходил разговор, разум старца Симона везде находил сотрудничество людей и Бога, освящающее бытие всех и каждого. Торвальд рассказал ему о загадке нищего: потому, дескать, создал Бог человека последним, чтобы он знал свое место и не похвалялся своим первенством даже перед навозной мухой. Тут Симон предупредительно поднял палец:

«Нет, сын мой, это неверно. Для того Адам был создан последним, чтобы он мог прийти к пиршественному столу как долгожданный гость, когда уже готово все, что Отец только пожелает дать Своему сыну».

Также Симон не уставал напоминать, что монастырская жизнь — это прекрасная и мощная часть синергии, великого взаимодействия Бога и людей. Ведь в монастырях собрались те, которые двигаются впереди остального рода человеческого навстречу Царствию Божию. Монахи стоят в первых рядах в битве против всего того, что мешает исполнению Божественных планов. Братья взяли на себя исправление грехов обычных людей, они несут бремя, тяжести которого обычным людям выдержать не дано. Братья для того и существуют, чтобы напоминать христианам о том, что их царство не есть Царствие Божие, но хотя Царствие Божие не от мира сего, прикоснуться к нему все-таки можно и в нашем мире.

«Друг мой Феодосий, — сказал он Торвальду, когда они прогуливались вместе в монастырском саду теплым весенним вечером. — Я вижу здесь перед собою рай, политый четырьмя ручьями Евангелий, сад, дающий яркие розы и ли-



лии духовных добродетелей, море благоухания, о котором Господь сказал бы: смотрите: благоухание Сына Моего подобно благоуханию поля, благословенного Господом. Да и как я могу не назвать полем Господним монастырь, где монахи тянутся к добродетели, словно спелые колосья? Поле вспахивается святой мудростью, засеивается семенем небесного речения, и зерно духа собирается с него в небесные житницы».

В таких разговорах проходили часы, и эти часы насыщали Торвальда мудростью. А кроме того, он много читал: в монастыре Пресвятой Богородицы на Большом острове было книг больше, чем исландец думал, что вообще существует в мире. Симон порой насмешливо предостерегал его от слишком обильного чтения: «Книги способны вложить глупцу в уста больше вопросов, чем сотня мудрецов способна разрешить. Тот, кто поглощает знания большой ложкой, должен помнить, что порой их очень трудно задержать в себе». Также он говорил: «Кто беспрестанно молится, тот знает больше любого богослова, пусть он даже не умеет ни читать, ни писать».

Симон знал, что говорит. Книги таили в себе многие вопросы, разжигали в нем любопытство и наполняли его беспокойством. Снова и снова думал он о добре и зле, об их существовании, и размышления эти подтачивали доверие к окружающему миру, которое понемногу возникло у него за время пребывания в монастыре. За монастырскими стенами, говорили книги, все мало похоже на прогулку в монастырском саду под мягкий шепот листвы, там продолжается жизнь, которую Торвальд оставил, — жизнь, полная страха, опасностей, измен, горя, клеветы и ненависти, лести, зависти и гордыни, бессмысленной жестокости, грубости и злобы. Там правят грабеж и воровство, блуд и кровосмешение, богатство и бесстыдство немногих и нищета многих, угнетение невинных и возвышение злодеев. Там царствует несчастье.

Откуда взялось зло в добром Божием мире?

Книги давали ответ на этот вопрос: сначала человек был блаженным и невинным, но ему этого было недостаточно, он хотел слушаться одной лишь своей воли. Бог разгневался на него за это, но затем все-таки сжалился над ним и послал

Сына Своего едиnorodного, дабы Он исправил жизнь человеческую, но при условии, что человек сам будет стремиться избавиться от греха.

«Хочет ли Бог, — спросил Торвальд прямо Симона, — чтобы зло существовало?»

«Ничто не бывает против Его воли, — отвечал Симон. — Но Он не желает ничего злого, хотя и позволяет злу проникать в мир».

«А почему?» — спросил Торвальд.

«День становится еще прекраснее от того, что нам ведом страх тьмы. Бог хочет одного лишь хорошего, — сказал Симон, — но в мудрости Своей Он счел, что было бы лучше, чтобы добро происходило как от добра, так и от зла, а не только от одного лишь добра. Грех Адама был ужасен, но необходим для того, чтобы в мир пришел Христос. И поэтому мы, сокрушаясь о грехопадении, одновременно и прославляем его: *O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere redemptorem*. О счастливая вина, заслужившая столь славного Искупителя!»

Но Торвальда такие ответы не удовлетворяли, они только вызывали у него новые вопросы. Симон отлично знал, что упорство — начало многих заблуждений. Ведь каждый человек на своем пути рано или поздно наталкивается на стену, через которую ему не перелезть. И вот однажды, когда они гуляли мягким осенним вечером, он говорил долго, словно хотел раз и навсегда пояснить Торвальду Божественный замысел:

«Ты спрашиваешь, отчего у одних есть и богатство, и власть, в то время как другие живут в лютой бедности и нужде. Злые люди бывают богатыми для того, чтобы хорошие люди презирали богатство и сознавали, что оно немногого стоит, если его много у худших людей. Власть дается плохим людям для того, чтобы они могли показать свою злость и таким образом испытать добродетельность и терпение хороших людей, чтобы их заслуги выявились лучше. Но некоторые плохие люди живут на земле в нищете и горе, чтобы всем сразу стало видно, что им суждено в мире ином. Еще ты спрашиваешь, отчего хорошие люди живут в нищете и хворах и терпят насилие от плохих людей, но в то же время некоторые из них все-таки и богаты, и влиятельны. Хорошие



люди живут плохо, чтобы укреплять свое терпение и силу духа, подобно тому, как разумный отец дает своему сыну трудную работу, чтобы тот не изнежился. Но у некоторых хороших людей есть богатство, чтобы творить добро и напоминать о том, насколько делать это приятнее, чем обладать всеми богатствами этого мира. А властью они обладают для того, чтобы побуждать других на добрые дела или останавливать плохих людей в их намерениях».

Симон взглянул на Торвальда, желая по выражению его лица понять, не хватит ли с него разговоров о справедливом устройстве мира. Торвальд молчал. В голову ему пришло, что аргументы старца сцеплены друг с другом, словно шестерни разного размера, которые вращают, чтобы поднять большую тяжесть, но вот в чем он сомневался (о чем сам очень сильно жалел) — что Симон говорит искренне.

Симону не хотелось, чтобы этот день закончился пролеглим между ними молчанием. Он бросил взгляд за монастырскую стену, на закат и сказал тихо, но твердо, будто ни одно слово не должно было пропасть даром:

«Нечестивому не уготован мир. И тут не важно, плохо или хорошо думают о нем другие, — страх все равно поджидает его на каждом шагу. Нечестивые бегут, хотя никто за ними не гонится, их мечи вонзаются в их собственные сердца. Праведные же пребывают в спокойствии, словно молодые львы. Не забывай, друг мой Феодосий: хорошие люди бесстрашны. Совершенная любовь изгоняет страх...»

«Кто может быть в этом уверен?» — подумал Торвальд, но ничего не сказал.

Глава 29

Неудавшиеся переговоры

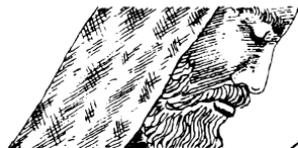
Сколько еще дней колокола монастыря Пресвятой Матери Божией звали Торвальда к заутрени? Сколько еще недель провожал он вместе с братьями своими во Христе ушедший день словами «Храни нас в бодрствовании и во сне»? Сколько весен и осеней лицезрел он в плодах земли из монастырского огорода, когда все исчезнувшее вновь возвра-

шалось и превращалось в аллегорию воскресения человека? Что происходит, когда время замедляет бег и прячется за монастырские стены? Для монахов оно течет совсем не так, как для остальных людей. Какое дело монаху Феодосию до того, где теперь бродит — и бродит ли еще? — Торстейн Жуть, что делает епископ Фридрих и жив ли Константин Патсинос или, что вероятнее, он пал под стенами Алеппо? И может быть, исландцев уже окрестили, хотя Торвальд об этом ничего не знает?

Дух истории капризен, он не желает дотошно следовать за календарем, приковывать себя к анналам. А еще можно сказать, что он жаден до жизни. В каком-то смысле он похож на другого Творца: один день для него — как тысяча лет, один год может превратиться при рассказе в один миг или в паузу между словами, а порой бывает и так, что Дух истории тратит на рассказ о событиях гораздо больше времени, чем заняли сами эти события. И все это для того, чтобы показать, что ему виднее, какие события важные, а какие нет, а сам он по-хозяйски обращается с вечностью. Другими словами: проходит много времени, и делить его на годы и дни — как чертить линии по воде: они все равно сливаются.

Прошло достаточно много времени, чтобы Торвальд выучил свой урок настолько хорошо, что уже мог сопровождать старца Симона на его проповедях. Говорил Симон о самом злободневном — растущей вражде между римской и греческой церковью. В те годы как раз было предпринято множество новых попыток к примирению: и посредством переписки, и через посылку посольств, разъезжавших между Римом и Византией, но все напрасно. Истина, которую Запад и Восток понимали по-своему, тонула в спорах, и никакие ученые трактаты, без числа сочиняемые обеими сторонами, дела поправить не могли, а только все запутывали еще больше.

Симону одинаково нравились все дни и все времена года, пока он мог безвыездно спокойно сидеть в монастыре. Диспутов, в которых ему часто приходилось участвовать за пределами монастыря, он не выносил. И все же он не просил избавить себя от необходимости их посещать, ибо был человеком ответственным. В один из дней патриарх Сисиний прислал Симону письмо, в котором сообщал, что из Рима



прибыли посланники для беседы, и просил его присутствовать на ней: мол, сейчас не просто нужно, а жизненно необходимо, чтобы человек столь красноречивый, надежный и верный, умный и добрый, честный и справедливый подействовал делу истины. Чрезмерные похвалы проникают в уши каждого, даже если поверить в них невозможно, даже если тот, к кому обращена лесть, сам по себе человек сдержанный и скромный и не считает себя достойным высоких слов.

Симон попросил Торвальда провести с ним ночь в молитве и бдении, а рано поутру они взошли на корабль, который перевез их в Константинополь. Их провели на переговоры во дворце патриарха. Окна были закрыты плотными синими занавесами, защищавшими от жары и яркого солнца, — и все же в зале было достаточно светло, чтобы писать. Посередине стоял большой стол с малахитовой столешницей. За ним сидели трое папских легатов — все облаченные в красное, гладко выбритые; у себя в Риме они занимали высокие должности. Их помощники заняли места чуть поодаль на длинной скамье. Патриарх отобрал из своей паствы такое же количество священнослужителей, облаченных в черное, длиннобородых; лишь один из них был в сане епископа. В этом крылся вызов. Патриарх хотел показать латинянам, как для него важно, что перед Господом все равны.

Греческий и римский писцы заняли места у конторок, поставленных у нижнего конца стола; по окончании каждого заседания они сверяли свои записи.

Делегаты обменялись приветствиями. Прежде всего стали обсуждать место Папы Римского в числе других пяти великих патриархов в христианском мире. И те, и другие начали с длинных и вежливых речей, подробно и с большой ученостью приводя доводы, хорошо известные присутствующим до того, как они сели за этот стол, — словно каждая сторона считала, что ее слова подобны горячей молитве Господу, которая превратит мрак спора в свет единодушия с благоприятным для нее результатом.

Старец Симон напомнил собравшимся, что и святые люди, и церковные соборы с самого начала считали, что все решения должны выноситься епископами сообща, после обсуждения.

«Лишь тогда, — говорил он, — Церковь оказывается права, когда над ней пребывает Дух Святой, а происходит это, если наследники апостолов сходятся вместе с добрыми намерениями. Отдельный человек, каким бы выдающимся он ни был, пусть бы он даже сидит на престоле апостола Петра в Риме, не может присвоить себе ту власть, которой обладают сообща епископы и патриархи. Отдельный человек не говорит: “Это решение Святого Духа и мое”. Отдельный человек не безупречен, тогда как Христос и Дух Святой не могут ошибаться. А так как Церковь есть Тело Христово на земле, она непогрешима и, следовательно, не может выбрать дурное и отринуть верное. Ибо написано: “Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину”*».

Торвальд радовался обоснованности доводов своего учителя, а многоопытные папские легаты внимали этой речи с высокомерием в глазах и во всем своем поведении: вечно, мол, эти греки поручают защищать свое мнение кому-нибудь, кто смотрит не на сам мир, а поверх и мимо него, и излагает свое мнение подобно ребенку. Они могли бы, если нужно, рассказать удивительные истории о том, как Святой Дух от собора к собору менял свою точку зрения, но они знали и то, что заводить об этом речь не стоит. Вместо этого они собрали и преувеличили трудности, всегда сопутствующие созыву хорошо устроенного церковного собора — разве люди уже не единожды не подвергали решения священного собора сомнению именно по той причине, что считали его созванным и проведенным не так, как следовало?

Мир, говорили они, не потерпит насмешек над собой. И он не будет ждать, пока церковники высидят на собраниях годы и дни, ему нужны ответы немедленно, со всей возможной быстротой. Поэтому Папа Римский должен исполнять подобающую ему роль, но, разумеется, с добровольного согласия епископов и патриархов, а также вашего согласия, любезные братья. Ибо Сам Христос сказал Петру, первому епископу Римскому: “Стереги Моих ягнят... Позаботься о Моих овцах**”. Ты — Петр, и на сем камне Я создам цер-

* Ин. XVI, 13.

** Ин. XXI, 16.



ковь Мою... что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах... *»

Тут настал черед Симона возражать.

«Возлюбленные братья во Христе, — сказал он, — мы не отрицаем, что Римская церковь — первейшая из пяти сестер, мы признаем, что она имеет право на почетное место на вселенском соборе. Но деяниями своими она отмежевалась от нас, гордыней своей она неправедно сделала себя саму единовластной владычицей. Почему должны мы подчиняться ее указам, издающимся без нашего участия и даже без нашего ведома? Если епископ Римский на своем высоком престоле решит низринуть на нас свои наказания и запреты, словно громы с выси небесной, если он решит судить нас и даже править нами и церквями нашими, не спрося нас, как ему заблагорассудится, — что же это тогда за братство, что за материнская забота о детях? В таком случае мы будем не сыны матери, ведающей Бога, но рабы самовластной царицы. Нет, любезные братья, не шествуют истинной стезей Господней те, что обращают сан, данный им в любви, во власть судить и править».

«Мы никоим образом не желаем расторгнуть наше братство, — отвечали папские посланники, — напротив, мы хотим укрепить его и наше единение во Христе с тем, чтобы никто не сомневался в том, чего желает Божия Церковь».

«Единство, — отвечал Симон, — не достигается проповедью власти, приходящей извне. Оно может идти только изнутри и выражается в святом причастии».

Римлянам пришлось не по нраву такой ответ, могущий означать что угодно. Один из них напомнил присутствующим, что непокорность Евы послужила началом греха и разлада в мире.

«И ничего хорошего не сулит, — сказал он, — то, что град Константина Великого становится непокорной дочерью, которая в легкомыслии своим и гордыне предлагает вскармливать мать свою дочерним молоком!»

А дальше — хуже: речи стали короче, и вежливости в них убавилось. Папские легаты дали ход своему недовольству, заявив, что греки считают, будто лучше них знают Священ-

* Мф. XVI, 18–19.

ное Писание. Греки отвечали, что, мол, латиняне желают помнить одни лишь параграфы законов да указов, но избегают Духа животворящего. Слово за слово — и все под откос...

«Мы чтим Христа распятого, — говорили латиняне, — а вы не желаете знать о Нем в жертвенности Его и муке человеческой. Вы превращаете Его в победителя, так что он больше начинает походить на ваших императоров да полководцев».

«Неправда это, — отвечали греки. — Вы не понимаете того, что все творение Господа обрело победу во Христе, и освятилось, и преобразовалось во славу Его». Старец Симон добавлял к этому: «Мы каждый день помним, что человек — соратник Бога, а для вас он жалкое и несчастное существо, словно червь земной».

«Вы робеете взглянуть в глаза злу и греховности этого мира», — возражали папские посланники.

Так можно было долго приводить истинные и не совсем истинные доводы и о важном, и о малозначительном. Обе церкви за годы раздельной жизни создали себе каждая свою веру, их богослужения не были одинаковы, например, возмутительным считалось, что греки используют для святого причастия хлеб заквашенный, а римляне — нет. По этому вопросу шли большие раздоры, не в последнюю очередь в стране болгар, где обе церкви имели своих приверженцев. Также спорили, можно ли есть сыр в пост, мыться по пятницам, можно ли женщинам носить штаны, не глупо ли искать совета в Священном Писании, открывая книгу и тыкая пальцем наугад?

Торвальду все эти разногласия казались пустыми. Но они еще не были самыми тяжкими. Ничто не было таким неподатливым, как одно слово, вкравшееся на Западе в апостольский символ веры.

Уже давно на церковном соборе в Константинополе было постановлено: каждый христианин да верует в Дух Святой, от Отца исходящий, споклоняемый равно Отцу и Сыну. Но каким-то образом на Западе в символе святой веры то тут, то там стали встречаться слова, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына. В те дни, когда в стране франков правил Карл Великий, у греков утвердилось подозрение, что это «фили-



окве»* — отравленный плод на древе познания священной науки. Карл Великий велел папе короновать себя императором. Этого византийский император не мог ему простить, ведь царей, королей и князей бывает много, а император в подлунном мире должен быть только один, подобно тому, как в Царствии Небесном есть только один Бог. Этот Карл не только велел читать «филиокве» по своим церквям, но и возымел дерзость обвинить греков в ереси, поскольку они остались верны неизмененному символу веры! Греки сочли, что этот коронованный осел (как они его называли), не умеющий даже читать, слишком задирает нос, но это были еще цветочки, а ягодки пошли потом. Папский престол долго пытался закрывать на этот спор глаза. Но именно сейчас дошло до того, что римская церковь полностью и окончательно взяла «филиокве» в обиход. И именно в этом заключался тот вопрос, который на этих прениях стал самым важным и судьбоносным. Во время спора никто не знает заранее, какому из предметов спора выпадет такая участь, ясно только одно: рано или поздно такой предмет найдется.

Греки сослались на Самого Христа: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне...»**

«Когда же придет Утешитель, *Которого Я пошлю вам от Отца*, — с нажимом повторили за ними римляне. — Если Дух Святой исходит от одного лишь Отца, то это арианская ересь, в которой считается, что Сын ниже отца и имеет иную, нежели Он, природу».

«Правильное учение, — отвечали греки, — таково, что Отец есть исток божественности и начало святого единения трех частей, сходящихся в Троице. Лишь Он один произошел из ничего. Если Сын тоже исток божественности, значит, она имеет два отдельных источника? Думать так нелепо, это все равно что верить в двух богов».

«В этом что-то есть», — подумал Торвальд, продолжая записывать этот спор.

«Господь Иисус, — сказали римляне, — рожден не единожды, но дважды: от Девы Марии во дни Ирода и от Отца до

* ...и Сына (*лат.*).

** Ин. XV, 26.

начала времен. Поскольку он уже существовал вместе с Отцом изначально и имеет ту же природу, что и Он, то Дух Святой вечно исходит от них обоих».

«Если посмотреть, то и это верно», — подумал Торвальд.

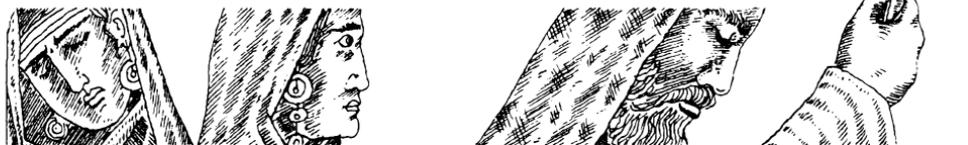
«Вы принижаете Дух Святой, — говорили греки, — подчиняя Его Сыну, и тем самым выказываете презрение к деяниям Духа Святого в мире и в каждом дитяте человеческом. Дух подготавливает человека к приходу Сына, Сын ведет человека на встречу с Отцом...»

«Вы расчленяете триединого Бога, как вам заблагорассудится, — отвечали римляне, — и превращаете Дух Святой в мелкого божка в женском обличье, а Матерь Божию Деву Марию — в простую женщину...»

Никто уже не знает, длились ли такие речи три дня или все тридцать. Но мы знаем, что они повторяли смену времен года: им была знакома мягкая весна вежливости и уныние осени с гбнущими надеждами, страстная жара лета и зима со стужей ненависти. Сейчас Торвальд ясно ощутил, что сейчас весна вновь заканчивается, и скоро в зале станет ужасно жарко. Ведь прозвучали слова о поклонении божкам, а такие речи были для ушей греков — что шипение коварных змей, так как они считали, что римская церковь смотрит на святые образы неправильно. И Торвальд сделал то, что от человека в его положении не ожидали. Он выпрямился, посмотрел на Симона, словно спрашивая его согласия, взял слово и сказал:

«Любезные братья, прошу прощения, что я перебиваю многоученные прения, в которых, охотно признаюсь, я едва понимаю половину по причине собственного невежества и малознания. Но сейчас мне кажется, что все имеют право высказаться, хотя, возможно, гордыня и чрезмерная горячность помешают вам согласиться с этим.

Позвольте мне, многоученные братья, рассмотреть для примера яблоко, висящее на ветке. Мы можем сказать, что яблоко растет на дереве, или на ветке, или что этот плод произрос благодаря той силе, какую ствол дает отходящей от него ветви. Точно так же мы можем сказать, что Дух Святой исходит от Отца или от Сына или от Отца при содействии Сына».



На участников исторических прений о божественном в Константинополе опустилось молчание. Люди переглядывались и спрашивали: «А это еще кто?» Возможно, кому-нибудь из присутствующих на миг пришло в голову, что этот неизвестный монах действительно указал путь, которым можно пойти, чтобы достичь согласия. Но бесу противоречия и высокомерия на таких прениях раздолье; и хотя все присутствующие хорошо знали, что Бог порой может вложить истину в уста младенцев, им было невыносимо трудно признать такое чудо. Неужели этот писец считает, что легаты самого Папы Римского обратят внимание на такого невежду? Неужели этот ученик старца Симона считает, что греки отклонятся с правильного пути, если он прельстит их своими вкрадчивыми словами?

«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого»*, — это они все помнили, потому что другого помнить не хотели.

Они не последовали совету Торвальда Странника. Господь позволил этому исландцу проявить себя в нужное время в нужном месте, но, хотя на карту было поставлено многое, Он не наделил его ни нужным для такого случая уважением окружающих, ни влиятельностью, так что все вышло именно так, как вышло. Папские легаты и посланники патриарха сидели в роскошном зале, раздутые амбициями, распухшие знаниями, багровые от гнева — и бесконечно далекие от согласия и от настоящего смирения, так что они не оценили последнего шанса объединить весь христианский мир. С этого собора путь лежал лишь к окончательному разрыву между Римом и Константинополем, который состоялся полвека спустя. Ничто не могло остановить вражду, окончательно расколовшую христианство и позволившую франкам грабить, жечь и разорять Константинополь во время четвертого крестового похода, изрубить иконостас в Айя-Софии и усадить пьяную шлюху на патриарший престол. И дальше все делалось хуже и хуже, вплоть до той поры, когда греки, будучи в большой беде, не получили от Запада никакой помощи, хотя уже были готовы согласиться и на «филиокве», и на все что угодно. Турки шагнули за неприступные стены Констан-

* Мф. V, 37.

тинополя и превратили прекраснейший в мире храм Христов в молельню Магомета.

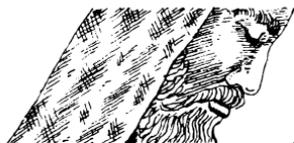
Пока мы путешествуем по времени и видим, как происходит то, о чем в тот миг никто не подозревал (кроме, пожалуй, Торвальда, да и тот видел это как бы в тусклом стекле), участники прений подобрали нить там, где Торвальд оборвал ее. Греки, называвшие себя ромеями, и римляне, в тех краях прозываемые латинянами, все быстрее и быстрее скользили вниз по склону обид прямо в зловонную лужу порицаний и поношений.

У греков было много козырей, позволявших ответить на обвинения латинян в идолопоклонничестве.

«Ваши итальянские баронишки, — отвечали греки, — превратили папский престол в нужник. Разве потаскушка Марозия* не велела удавить любовника своей матери, папу Иоанна Десятого, чтобы потом возвести на римский епископский престол своего, с позволения сказать, сына, прижитого ею во грехе с другим папой, Сергием Третьим? И разве не ее внук Иоанн Двенадцатый — этот кровавый пес, превративший папский престол в лоно разврата, так что женщины не смели ходить к святыне апостола Петра из страха, что его последователь обесчестит их в самом храме святого Петра?»

И вновь тот оптимист, который скажет, что дурное должно проявиться для того, чтобы доброе после этого процветало еще лучше, потерпит позорное поражение. После этих слов все принялись орать друг на друга. Римляне говорили, что они не для того проделали такой долгий путь, чтобы выслушивать ложь и клевету вшивобородых греков, которые живут в гармонии с императором, которого приравнивают к Богу. А между тем смердящие распутники и тайноубийцы отбирают друг у друга константинопольский престол, ослепляют патриархов и принуждают их к нечестивым деяниям.

* Марозия (Мароция) (880/892–937/954) — дочь римского сенатора Теофилакта I, любовница папы Сергия III (ум. в 911 году). Будучи женой графа Тосканы Гвидо, побудила мужа захватить Рим и фактически стала правительницей города. После убийства папы Иоанна X следующие два папы были ее ставленниками.



Через стол летели примеры один другого гаже, давая понять, что разведка и той, и другой стороны хорошо знает свое дело. Никто не призвал к миру, никто не обуздал свой язык и руки, все стучали по столу, сжимали кулаки, и какво же было удивление Торвальда, когда он увидел, что добрейшего из старцев, его наставника Симона, тоже как будто подменили: он кричал, топал ногами и горел огнем гнева.

«Кто грешит против Духа Святого, — орал он, — кто пребывает в гордыне, лжи и вероломстве, он достоин навозной ямы в преисподней!»

...По пути из патриаршего дворца, пока они с Торвальдом шли по улице до Железных врат, Симон словно закрыл рот на замок. Они сели в ожидавшую их лодку, и, когда она понесла их прочь от шума большого города, Торвальд спросил:

«А может такое быть, что Христос хотел, чтобы братья были врагами своим же братьям?»

«Братьям? — с явным раздражением переспросил Симон и не стал продолжать разговор. Но через некоторое время он произнес, как будто все эти минуты искал слова, способные примирить его со свершившимся: — Апостол Павел говорит так: “Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные”**».

«Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть»**, — подумал Торвальд, но промолчал и больше в тот день не произнес ни слова.

Глава 30

Любовь и справедливость

Что может быть лучше монастырского жития во времена тревог и произвола, измен и сговоров, обманов и вражды?

Монастырь на Большом острове, может, и не был тем цветущим полем в Божием вертограде, как в хорошие минуты представлялось старцу Симону, но назвать его огородом бы-

* 1Кор. XI, 19.

** 1Кор. X, 12.

ло можно даже в двух смыслах: огороженное место, в котором можно найти прибежище, и огород, в котором недоверие к Божию миру выпалывается, а взамен него сеется вера. Монастырь был надежей и опорой среди хаоса и несчастий. Человек, тростник, ветром колеблемый, находил в монастыре под простертой рукой Господа спасение. На земле человеку было отказано в прибежище, в монастыре, чьи врата Господь замкнул крепкими запорами, он обретал его. И никто не тревожил его, пока он жил здесь в единении с братьями, подобно тому, как волосы сходятся в бороде Аароновой. Монастырь — это самый прочный дом, который можно себе выбрать; он зиждется на фундаменте убежденности в том, что здесь ничего не меняется, хоть бы весь мир свихнулся. Молитва при вечерне, колокола, звонящие к заутрени, каша в деревянной миске, чтения часослова — все это было и вчера, и сотню лет назад, и будет и в грядущем году, и в грядущем веке, в это можно верить, как в красоту даров Божиих и в Его внушающую трепет непостижимость.

Но не всем дано обрести в монастыре настоящее умиротворение. Даже сюда, за стены, проникает беспокойство светской жизни, и его дыхание хорошо слышно, когда братья находятся в великом молчании. Оно говорит на многих языках и заставляет задаваться вопросом: «Как там этот мир без меня, не рухнет?» Может быть, его голос пытается украсить ту жизнь, которую монах отринул. И наверняка он сеет в сердце опасения за тех, кто пребывает в миру и вряд ли может надеяться на лучшее. Брат-монах просыпается среди ночи и в долгие часы без сна стыдится своей безопасности в этом зеленом оазисе среди суровой пустыни.

Но тревога приходит и уходит. Она отступает перед искренней молитвой, произнесенной со смирением: «Плохо служил я Тебе, сорнякам позволил я произрасти среди колосьев на поле моем, сжался надо мною, слабовольным, Ты, что пребываешь неизменным, останови колесо, крутящееся в уме моем, сделай сосуд мой вновь целым».

Жаль только, человек не всегда знает, о чем надо молиться. Торвальд просил даровать ему ум и понимание, а кто так делает, оказывается в двусмысленном положении. Людская премудрость зажигает на его лице радость, дает порой силу бóльшую, чем та, которой обладают десятеро властителей,



но «во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»*.

Наступило неизбежное: ученик Торвальд понял, что его наставник знает не все ответы, а порой знает лишь неправильные. Никто не есть скала неколебимая в бушующем потоке, и даже старец Симон — добрый и кроткий соратник Божий, поливавший папских легатов руганью и ни на миг не усомнившийся в том, что сам он гораздо более сведущ в святых премудростях, чем они. Но позвольте спросить: надо ли было ждать другого? Царь Давид славит Господа и взывает к Его милосердию — а потом просит Его схватить вражеских младенцев и разбить их о камень**. Каждый человек — это еще и кто-то другой, кто в самый неожиданный миг говорит слово и предпринимает действие. Каждый, кто жил, знает это — только не хочет знать, ибо он не отпускает надежду, что все-таки сможет когда-нибудь обрести благодать.

Однажды вечером Торвальд и Симон сидели и беседовали. Торвальд спросил о прении Авраама с Господом, который хотел уничтожить нечестивый город Содом. Он не мог понять, откуда Авраам набрался мужества спорить с Богом и уговорить Его пощадить город, если в нем найдется хотя бы десяток праведников.

«Если Господь отвечает: “Не истреблю ради десяти”***, — значит, это следует понимать так, что праведники, даже если их не больше, чем можно перечесть по пальцам обеих рук, спасли бы всех остальных?» — спросил Торвальд.

«Никто не избавит людей от греха, кроме одного лишь Христа, — ответил Симон. — Но что верно, то верно: без праведников вся земля обречена огню. Когда мы почитаем святых и просим их наставить нас на путь истинный, мы идем по стопам Авраама, хотя мы стоим в новом свете, которого не знал он».

«Но ведь Содом не пощадили», — сказал Торвальд.

«Бог не позволит смеяться над Собой», — ответил Симон.

* Еккл. I, 18.

** «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. СXXXVI, 9)

*** Быт. XVIII, 32.

«Христос гневался на города, не желавшие принимать Его, — сказал Торвальд. — “И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься...”*. Отчего он осуждает весь город целиком? Отчего он не спрашивает, не отыщет-ся ли там пятидесяти или десяти праведников, как патриарх Авраам?»

«Не забывай, друг мой Феодосий, что хотя Христос — истинный человек, как и Авраам, он в то же время истинный Бог. Ему не нужно спрашивать ни о десяти праведниках, ни о чем-либо другом. Он знает».

«И все же мне непонятно, — сказал Торвальд, — почему Христос желает, чтобы целый город провалился в ад ради отмщения».

«Осторожнее, брат. Господь не мстителен, Он справедлив».

«Разве справедливость не живет там же, где и милосердие? Христос велел прощать обиды не семь раз, а семьюдесятью семь. Отчего бы тогда не простить и жителей Капернаума?»

«Прощать ближнему своему каждый проступок — правильно и хорошо, но тому, кто грешит против Духа Святого, нет прощения».

«Правильно ли, — спросил Торвальд, — предполагать, что Дух Святой знаком всякому? Апостолы видели и слышали Христа и все же сомневались в том, кто Он. Петр отрекся от Него, а Фома не поверил, что Он воскрес».

«И все же они, — сказал Симон, — это не засохшее древо Израиль, не могшее более дать плод из-за того, что евреи отринули Господа. Они — ветви его благословенной лозы. Но Господь сказал, что тот, кто не признает Отца, Сына и Святого Духа, будет низринут в геенну огненную, где будет плач и скрежет зубовой, а праведники воссияют как солнце в царствии Отца их».

Чем дальше они сидели за беседой, тем больше иссякали кротость и терпеливость Симона, это было видно по его глазам, это слышалось в его голосе, и его пальцы уже не поглаживали медленно то одну, то другую руку, — теперь он сжимал кулаки так сильно, что ногти впились ему в ладони.



* Мф. XI, 23.

«Незадолго до того, как впервые услышал твою проповедь, я слышал, — сказал Торвальд, — как нищенка на паперти в Константинополе рассказывала историю, как Богородица низошла в ад и увидела муки осужденных в вечном пламени и льду. Она вняла их стонам и сжалилась над ними. И Она пришла к Богу Отцу и попросила милости для грешников. Он ответил, что не может внять Ее мольбе. Тогда Богородица заручилась поддержкой святых, великомучеников и апостолов, они вновь попросили о милости, и в этот раз Отец направил их к Сыну. Христос низошел со Своего престола. И благодаря милости Бога и мольбе Матери Своей дал грешникам в аду передышку от всех мук каждый год от дня мученичества Своего до Троицына дня».

«Эта история — еретическая, друг мой Феодосий, — сказал старец. — Такие истории опасны, так как вводят невинных во искушение думать, что они могут уберечься от справедливости Бога всеведущего, уберечься от гнева Его, ждущего тех, кто не ведаёт истинного покаяния».

«Бог есть любовь, а любовь терпелива, — сказал Торвальд. — Она не гневается».

«Бывает смертный грех, — сказал Симон. — За таких грешников нельзя молиться».

«А когда праведники видят мучения грешников, — спросил Торвальд, — разве они не сокрушаются, что их постигла такая участь?»

«Праведник радуется, что грех настигло возмездие».

«Любовь, — сказал Торвальд, — милосердна. Разве праведники не молятся за тех, кто претерпевает муки?»

«Если бы они молились за осужденных, они пошли бы против Бога и Его справедливости, — сказал Симон. — Если бы никто не был осуждаем за упрямство и преступления против Духа Святого, то никто не стал бы вкушать блаженство по справедливости».

«Любовь, — сказал Торвальд, — все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит».

Три ночи спустя Торвальд исчез из монастыря, и никто из монахов больше никогда не слышал о нем и не знал, что с ним стало.

Глава 31

Аскеты

Если человек отрясает прах с ног своих и отправляется в далекий путь; если у него больше нет надежного места, куда можно вновь вернуться, и он не знает, где преклонит голову под вечер; если он не знает, куда держит путь, и его разум мечется, то лучше всего будет, если он просто пойдет туда, куда смотрят его глаза.

В одно воскресное утро на рассвете Торвальд попросил рыбаков перевезти его с Большого острова на большую землю. Он обогнул великий город у Босфора и, одетый в серый балахон, подпоясанный веревкой, отправился вдаль по дороге; в его котомке лежали каравай хлеба, горсть оливок и две книги. Кто ничего не имеет — тот богаче всех. В одной книге у него был «Апракос» — чтения из евангелия на каждый день года, в другой — сделанные им выписки из трудов святых отцов, обыкновенно называемые в те времена «Филокалией» — «Добротолюбием». В первые же дни его странствия на него напали разбойники, отобрали книги и избили его за то, что ничего более ценного при нем не обнаружилось. На следующий день Торвальд вновь нашел свои книги. Те разбойники устроились на отдых и стали пить вино. А когда вино иссякло, они принялись спорить, кто в этом виноват, и в пылу драки о книгах Торвальда забыли, и они целехонькие остались лежать на поляне. Кроме того, здесь же он нашел годный к использованию топор и заткнул его за ремень, опоясывающую балахон. Возвращение книг Торвальд с радостью воспринял как знак, что Бог помнит о нем и что он на верном пути.



Надолго он остановился лишь в Македонии, вдали от городов и деревень, в месте, где леса и кустарники отчаиваются одевать собою горы. Он соорудил себе хижину из плоских камней, за которыми там не нужно было далеко ходить, обложил ее поверх стен жердями и укрыл дерном. Он наплел корзин из лозы, наделал циновок из высокой травы, срезанной на берегах ручья, и устлал ими ложе, которое сложил из камней, показавшихся ему самыми гладкими. А еще у него

появилась кружка, полученная от старика-крестьянина, которому он нарубил дров.

Поначалу ему казалось, что в округе он один, но затем обнаружилось, что это не так. Мимо его жилища время от времени прогоняли стада местные пастухи. Впрочем, они не нарушали его уединения. Были в здешних местах и другие отшельники. Однажды к нему пришел старец по имени Маркос, тощий, сморщенный, хромой, беззубый и улыбочивый, и спросил:

«Издали ли ты пришел, брат?»

«Я, — ответил Торвальд, — жил на острове далеко-далеко в океане, где горы изрыгают огонь, а в середине лета солнце не заходит».

Тогда Маркос спросил, зачем он пришел в эту пустыню.

«Молиться», — отвечал Торвальд.

«Блажен, кто так говорит, — сказал Маркос. — Это хорошо весьма». К этому он прибавил, что сам начинает день с сотни земных поклонов перед образом Спасителя, шестисот Иисусовых молитв и трехсот молитв Богоматери. Таким образом, вместе с Маркосом в гости к новоявленному брату пришел бес гордыни, который подбивает сообщать каждого обо всех своих достижениях, даже по части молитв и постов. Но Торвальд бесу этому не поддался, а вот со словами Маркоса о том, что Бог непостижим, искренне согласился. Более того, он больше не хотел пытаться объяснить, какова сущность Бога, он был убежден, что все слова бессильны описать Его — пребывающего во всем и над всем. Убогие человеческие слова лишь тогда хоть на вершок приближаются к Богу, когда довольствуются перечислением того, чем Он не является: невидим, неслышим, не привязан ко времени и пространству, непостижим. Однако самое лучшее — оставить в стороне все, кроме молитв. Сейчас Торвальду хотелось лишь одного: следовать призыву из Послания апостола Павла — «Неустанно молитесь»*.

Все отшельники в тех горах молились чрезвычайно истово. Но большинство из них считали, что одной молитвы недостаточно, на весах вечной справедливости она весит не так много, чтобы перевесить громадный груз грехов, который

* Рим. XII, 12.

каждый из них знал за собой. Поэтому отшельники не могли успокоиться, если не изыскивали для себя достаточно сильных унижений и мучений.

Маркос считался первейшим по части смирения. «Когда я был молод, — рассказывал он, — и учился у старца Евагрия, однажды, когда мы с братьями собрались в нашем скиту, наставник решил испытать меня. Он увидел кабана, указал мне на него и спросил: “Видишь ли эту лань, сын мой?” — “Да, отец”, — ответил я. “Разве рога ее не великолепны?” — “Да, отец”, — отвечал я. И всем слушающим мой ответ пришелся по нраву, и они укрепились в намерении не любить собственную волю».

«Но видел-то ты все-таки кабана?» — спросил Торвальд.

Маркос взглянул на новичка с жалостью и сказал:

«Без смирения никто не достигнет благодати, подобно человеку, строящему корабль без гвоздей».

Большинство отшельников предпочитали отслеживать каждый соблазн до того, как он станет для них опасен, и искать побед над ним на стезе аскезы. В понимании большинства из них все, что приятно класть на язык, трогать руками, слушать или рассматривать, налагало на них цепи, приковылающие к миру. Эти оковы они стряхивали с себя смело и решительно. Брат Георгий посыпал свой хлеб пеплом, чтобы он не был для него вкусен. Никто никогда не видел, чтобы отец Сергей склонялся к цветку или брал в руки что-нибудь, что источает аромат. Брат Феофил залеплял уши воском, чтобы не слышать пения птиц по весне. Брат Афанасий никогда не произносил ни слова, так как был красноречив и обладал звучным приятным голосом. Отец Маркос завязывал глаза, выходя из своей хижины по осени: великолепие красок в скудной горной растительности так пленяло его, что отвлекало от Господа, который возносится так бесконечно высоко над Своим творением.

«Все хорошо, что Он создал, — говорил Торвальд. — Разве не сказано: “И за все благодарите”?»

Этого Маркос не отрицал, но важнее было другое.

«Христос терпел и нам велел», — отвечал он.

Сам он сокрушался, что Господь целый год не посылал ему никаких болезней, чтобы испытать его стойкость. «Может статься, — вопрошал он, — Он оставил меня?»



Отец Никифор, дольше всех проживший в этой пустыне, не ждал, пока Господь сразит его недугами. В летний зной он не снимал грубого самодельного одеяния и носил в нем бесчисленное множество вшей и блох, сосавших его кровь и не дававших ему спать. Он никогда не жаловался на этих паразитов, но отзывался о них с искренним дружелюбием. «Для меня большая честь, — говорил он, — что мою одежду украшают эти небесные жемчужины». Зимой он ходил босой и носил тонкие кожаные штаны, усаженные медными гвоздями, повернутыми внутрь и язвящими его плоть. В пост он изготовил себе крест, из которого торчали тридцать железных шипов. Этот крест он днем носил на голой спине, а ночью спал на нем — таким суровым и искренним было его повторение мук Господних. «Лишь страдания, — говорил он, — делают жизнь достойной того, чтобы прожить ее».

Этого мастера страданий Торвальд как раз понимал лучше, чем тех, кто не хотел видеть, слышать или вкушать великолепие тварного мира. Ему самому порой казалось, что следует подвергнуть свое тело суровым мучениям и аскезе, если они способны отогнать мириады черных мыслей, которые вдруг набрасывались на него, помрачая рассудок и растаптывая сердце.

Его друг и сосед Маркос знал про всех бесов, при каждом удобном случае подстерегающих отшельников. Когда Торвальд сказал ему о своих сомнениях, он попросил поведать, в какой форме они ему являются.

«Мне снится, — сказал Торвальд, — что я встретил на пути голодного льва и спасаюсь от него. Я убегаю от лютого зверя к ущелью и собираюсь спуститься вниз по ветвям куста, растущего в трещине на отвесной скале, но тут вижу, что в ущелье лежит дракон и поджидает меня, разинув пасть. Я не могу ни лезть вверх, где ждет меня лев, вывалив язык, ни упасть вниз в пасть дракона. Я повис на кусте, мои руки устали, я вот-вот отпущу ветку, и тут я вижу: две мыши, одна черная, другая белая, подгрызают корни куста. Я знаю, что мне не спастись, но, вися на кусте, я вижу, что с его листьев стекает несколько капель меда, и я могу достать их языком, и я слизываю их, а когда просыпаюсь, то все еще ощущаю во рту их сладость. Страхи же остаются со мной, пока я бодрствую, и не исчезают».

Маркос долго гладил бороду, а потом принялся толковать сон.

«Лютый зверь, которого ты встретил на пути, — сказал он, — это смерть, подстерегающая нас в засаде в любой миг. Ветви, за который ты ухватился, — это древо жизни твоей, а две мыши, подгрызающие его корни, — день и ночь, а внизу поджидает дракон — сама преисподняя. А что означает мед, капаящий с листьев куста, я не знаю. Возможно, эти капли меда — миги наслаждения, за которым человек, по недалекости своей, гоняется, хотя знает, что внизу разевает злую пасть дракон. Но, любезный брат, сдаётся мне, что на тебе такое пророчество, к счастью, не сбудется. Также вероятно, что капли меда — роса Божией милости, которая рано или поздно даст тебе сил вскарабкаться вверх по ветвям кустарника и мужественно вступить в борьбу со смертью и победить».

Они просидели до самого вечера. Перед тем как попрощаться, Маркос произнес стих, которого Торвальд прежде не слышал:

Два-на-десять в году месяцев,
 Един-на-десять апостолов,
 Десять Божиих заповедей,
 Девять чинов ангельских,
 Восемь кругов солнечных,
 Семь лучей Духа Святого,
 Шесть веков у мира,
 Пять ран без вины Господь терпел,
 Четыре листа евангельских,
 Три царя восточных,
 Две скрижали Моисеевых,
 Един Господь над нами.*



Глава 32

Бесы не одолели его

Чтобы сохранять спокойствие духа, отшельник должен стряхнуть с себя бесов, которые одолевают его и норовят утомить, запутать и заморочить. Он один, и в пустоту вокруг

* Использован близкий по смыслу русский духовный стих.

него бесы лезут как мухи на мед. Они не возникают из ниоткуда, как не возникает из ниоткуда ни одна в мире вещь, они рождаются от злого семени в его собственной душе; ему приходится признавать, что все эти чудовища произросли и угнездились в нем самом, — и встречать их лицом к лицу. Он дает им имена, таким образом полагая возможность бороться с ними, одолеть их и переступить через них.

Бесы приходят то поодиночке, то гурьбой, неизвестно, какой из них является первым, а какой последним; иные быстро поджимают хвост и убегают, когда против них выставляют защиту, а другие кажутся неутомимыми и ежечасно ломаются в двери, каждый раз используя новые уловки и обманы.

Бес чревоугодия впервые принялся искушать Торвальда, когда тот ужинал куском хлеба, луковицей и кружкой воды. Бес показал ему картину: двое мальчишек — он и Торстейн Жуть, сидят на холме над Гиль-ау ранней осенью, зачерпывают ложкой скир и посыпают черникой. Торвальд сразу понял, что к чему, семь раз прочел молитву Богородице и жевал лук долго и тщательно, пока его вкус не стал слаще на языке и сильнее во рту, чем скир с ягодами на родине в Исландии. Когда оказалось, что такой способ не годится для того, чтобы разжечь в Торвальде неуправляемую жажду насыщения, бес пошел другим путем. Он заручился поддержкой беса высокомерия и честолюбия и стал нашептывать Торвальду, что он должен перешеголять брата Георгия, посыпающего свой хлеб пеплом: почему бы не развести в хлебе червей, чтобы он стал совсем гадким? Таким образом бес хотел обессилить Торвальда, чтобы тот вовсе позабыл умеренность в еде и питье. Но Торвальд знал слова против этих нашептываний: все, сотворенное Господом, хорошо, и не надо отбрасывать ничего, что принято с благодарностью. После чего и этому бесу пришлось убираться восвояси.

Бес жадности не был столь глуп, чтобы подбрасывать Торвальду золото, серебро или драгоценные камни. Нет, он использовал память отшельника — кладовую всех бесов. Он показал Торвальду славную библиотеку в монастыре на Большом острове, в которой собраны все знания и мудрость мира, и сказал ему: «Негоже тебе прозябать здесь в го-

рах и позволять уму ржаветь и увядать без той пищи, что ты найдешь в тех книгах!» Торвальд трижды семь раз прочел молитву Богородице и сказал, чтобы искуситель услышал: «Я понял, что в этой маленькой хижине неправильно иметь две книги, ведь тогда мне захочется и третью, и все писания, и все жития святых, ведь чем больше имеешь, тем больше жаждешь». Он взял «Апракос» и отнес брату Афанасию, у которого не было книг, и попросил помочь ему, приняв ее в подарок.

Торвальд был еще не стар годами, и несложно догадаться, что бесу вожеления была открыта к нему дорога. И конечно, этому смрадному духу удалось зажечь перед глазами Торвальда видение его самого с Хельгой Красавицей. Но от этого видения родилось другое, много худшее: величайший позор и унижение в публичном доме в Константинополе, и два видения столкнулись и уничтожили одно другое.

Тогда бес похоти прислал к нему в горы молодую женщину из Прилапона. Эту богатую и красивую даму звали Ириной; она при живом муже имела много любовников, потому что не могла и не хотела погасить в себе любопытство плоти, воображающее, что еще осталось что-то неизведанное в удивительных путях, которые связывают мужчин и женщин. В то же время она была преисполнена гордости за свои победы в самых немыслимых альковах и считала, что сумеет завладеть чьими угодно сердцем и телом. «Но отшельник тебе, наверно, не по зубам?» — спросила ее подруга и товарка по утехам. А почему бы и нет? И они заключили пари, отправившись в горы, как объяснили другим, для поправки здоровья. Ирина оставила подругу и провожатых в ближайшей деревне и на закате дня пошла по тропе к хижине Торвальда.

Она сказала, что заблудилась и поранила ногу, и попросила отшельника ради Бога пустить ее на ночлег. Торвальд был немногословен, но попытался, насколько позволяла его нищета, услужить ей, принес сено, собранное для козы, которую недавно завел, и постелил на ложе. Для удобства гостьи он оставил гореть у изголовья небольшой светильник. Сам он сел на пол у дверей хижины, поджал ноги, обхватил колени руками и прислонился затылком к стене. Женщина не лежала спокойно, ворочалась на ложе, затем попросила его принести воды и захотела, чтобы он сел рядом. «Мне страш-



но, — сказала она, — на улице кто-то орет и воет, мне жарко, потрогай, как бьется сердце». Она взяла его руку и положила себе на грудь. Что верно, то верно: ее сердце билось сильно, а сосок напрягся в его ладони.

Что сделал Торвальд, когда его стали искушать? Быстро вскочил? Вышел, взял топор и отсек себе палец, а вместе с тем и соблазн, как много позже сделал отец Сергей*? Вошел затем, благословил женщину окровавленной рукой и сказал: «Иди и больше не греши»? Вовсе нет. Он знал другой способ и воспользовался тем, что бесы глупы и помогают друг другу лишь изредка, да и то по случайности. Торвальд призвал демона гордыни и натравил его на похоть. Не бывать такому, сказал он про себя, чтобы суетная бабенка сломила волю отшельника! И когда гордыня охладила огонь желания, который уже готов был разлиться в крови, Торвальд призвал Матерь Божию на окончательную подмогу. Он лег рядом с этой женщиной, заглянул ей в глаза с непонятной ласковостью, обнял ее и запел хвалу Деве, первой между женами:

Звезд яснее,
Всех добрее,
Всех святее,
Молитв лучше.
Избави меня от пороков.

Этот стих он пропел семижды семь раз, тихо и медленно, словно усталому ребенку. И свершилось чудо: Ирина из Прилапона словно забыла, зачем пришла к Торвальду, ее сердце стало биться ровнее; вскоре она заснула и спала в объятиях отшельника до утра. Прощалась она с ним со страхом в глазах, ведь редко кому нравится совершать поступки, неожиданные для самого себя.

Торвальд выдержал испытание, но никому об этом не рассказал.

Еще одного беса — беса гнева, сыгравшего с ним такую злую шутку, когда он проповедовал веру в Исландии, — Торвальд сделал своим покорным слугой. Как ни сопротивлял-

* Имеется в виду персонаж одноименной повести Л. Н. Толстого.

ся он, а пришлось ему покориться — ведь Торвальда невозможно настроить против соседей, которые и не могли, и не хотели досадить ему каким-нибудь заметным образом. Гнев Торвальд использовал для того, чтобы отомстить другим бесам. И прежде всего полуденному бесу, который зовется Акедия и коварнее своих братьев. Это он отравляет душу унынием и безучастностью, это из-за него отшельник становится равнодушен ко всему: и к молитве, и к греху, — ничто больше не радует его и не пугает, его разум блуждает и нигде не останавливается, одна мысль набегает на другую, и все они смешиваются. Отшельник начинает беспокоиться, не может переносить одиночества, постоянно смотрит, не пройдет ли кто-нибудь мимо его лачужки, или сам выбегает из кельи и блуждает не разбирая дороги. Из этого положения трудно найти выход, но Торвальд сумел сделать это, натравив на полуденного беса свой гнев. А когда гнев выполнил свою работу, Торвальд прогнал его и призвал ангела смирения, который сказал ему: «Пролей слезы. Дай им волю, забудь, что тебя учили, будто плакать пристало лишь женщинам, слезы — милостивый дар, пусть они прольются так, чтобы твоя душа разделилась надвое: одна утешает, другая утешаема».



Но если приходят слезы, то и демон уныния тут как тут. Он возвращает человека в минувшее и пытается удержать его там. Он нашептывает ему, что раньше все было лучше и краше; он всегда готов завладеть тем, кто только и думает о поре, когда был юн. Этому бесу Торвальд прогнал тем, что стал поступать противоположно другим отшельникам. Он возносил хвалы Господу, посылающему земле дождь, дающему травам расти на горах, одевающего крылья горлицы серебром. Он восхищался муравьем, который тащил в жилище ношу, во много раз превосходящую его по размеру, горной розой, отрясающей с себя росу, и другими малыми чудесами Господними, которые никогда не считаются чем-то значительным в человеческой истории.



Бес ереси также приходил к Торвальду. Он явился в виде почтенного старика, задающего детские вопросы. Этот старик принадлежал к секте богомилов; он говорил, что почти все крестьяне из окрестных долин разделяют его взгляды.

«Нас называют еретиками, — говорил старец, — поэтому нам приходится быть мудрыми как змеи и невинными как голуби. Наша вера вся внутри. Важно не то, что люди видят, а то, что есть. Храмы и кресты, иконы и святая вода — все это творения рук человеческих, один лишь обман и иллюзии».

«У вас нет ни попов, ни церквей?» — спросил Торвальд.

«Нет. Мы читаем “Отче наш” и исповедуемся в грехах друг другу».

Этот мир зол, говорил богомил, и, стало быть, его создал злой дух. Но у этого злого духа Иеговы, а вернее, Сатанаила, есть младший брат — Иисус, и Он придет на землю, чтобы научить нас, как спасти свою душу. Человек хотя и есть порождение зла, все же носит в себе искру, которую истинная любовь раздует в большой костер. Этот костер уничтожит все страсти и все грехи и даст человеку высшее крещение великого света.

Торвальд припомнил, что он слышал подобное от старейшины паликан, и точно так же, как и тогда, это учение показалось ему чуждым.

«Мы не позволяем попам и епископам, этим обжорам и пропойцам, рядящимся в серебро да золото и вырывающим лепту у бедной вдовицы, лгать нам о Священном Писании и его смысле, как им заблагорассудится, — сказал богомил. — Я потому пришел к тебе, Торвальд, что по духу ты один из нас. Ты отряхнул прах этого мира с ног, ты бесконечно далек от какой бы то ни было церкви, ты сам бережешь искру внутри себя. Ты хочешь знать, откуда берется зло и почему оно правит миром, и мы можем рассказать это тебе. В помыслах своих ты отослал прочь ветхозаветного Сатанаила, написавшего Пятикнижие, ты не хочешь знаться с ним, хотя его прославляют в каждой церкви. В душе ты — один из нас».

Еретик, сам того не зная, задел Торвальда за живое. Богомил напомнил ему об искушении, которое он давно отверг, — объявить дьявола князем мира, а потом примкнуть к доброму Богу в борьбе против зла, исход которой был неясен. Это искушение, урезающее власть Бога и уповающее на человеческий героизм, дремлет в большинстве людей на протяжении всего существования мироздания.

«Мы знаем, — добавил старец, — что лишь немногие могут достичь совершенства и принять высшее крещение. Ты

один из этих немногих, ибо уже ступил на этот путь, живешь в целомудрии, не ешь мяса, не пьешь вина...»

«А как же другие, которые не могут принять высшее крещение?» — спросил Торвальд.

«Они будут вновь и вновь рождаться в этой мрачной юдоли слез, — сказал богомил, — до тех пор, пока не обретут истинное знание, которое поднимет их к свету».

Богомилы все были братьями в духе, среди них никто не носил высоких чинов, но все-таки и они делили людей на достойных и недостойных — даже братьев своих. Это показалось Торвальду прискорбным, и в конце концов он прервал разговор и прогнал богомила. Но одновременно бес гордыни, падкий на похвалы, впустил в него когти. Ведь Торвальду было радостно, что эти еретики слышали о нем, уважали его, доверяли ему, обращались к нему и верили, что он — один из чистых.

Упрямее беса гордыни никого нет, потому что он питается не только честолюбием, но и радостью, которую всякий испытывает от добрых дел и трудно доставшихся побед. Это позволяет ему проникать в двери, из которых выгоняют остальных бесов. Торвальду сей бес был знаком с давних пор, и он не забывал хорошенько следить, чтобы не допускать его к себе близко. Как часто бывало, он и на этот раз призвал на помощь ангела смирения, с которым любые поползновения к самодовольству становились нелепы. Именно смирение спасло Торвальда, когда бес пришел к нему после долгой и трудной ночи бдений в обличье архангела и сказал:

«Я ангел Гавриил, посланный к тебе».

«Ты ошибся, — сказал Торвальд, — я не достоин, чтобы ко мне посылали ангелов».

И бес исчез, злобно ворча. Но затем вернулся. Так уж получалось, что беса гордыни Торвальд никогда не мог прогнать полностью. Бес этот был остроумен и изобретателен, он пытался даже заставить Торвальда кичиться тем, что ему удалось превзойти всех по части смирения! А однажды бес гордыни подбил его сообщить Маркосу, что он наконец избавился от всех бесов!

«Это невозможно сделать, — сказал Маркос, — как нельзя одеждами перекрыть дорогу ветру».



«Я могу молиться неустанно, и разум мой при этом не блуждает», — сказал Торвальд.

«Хорошо, коли так, — ответил Маркос. — Тогда попроси Бога, чтобы Он позволил дьяволу вновь начать искушать тебя как можно скорее, иначе твоя душа не будет расти над собой».

Глава 33

Молитва сердца

Торвальд не солгал. Он и впрямь мог молиться неустанно, и разум его шел прямой дорогой.

Иные по тысяче раз без передышки читают Иисусову молитву и молитву Богородице, при этом осеняя себя крестным знаменем, падая на колени и простираясь ниц столько раз, сколько смогут, как Маркос, сосед Торвальда по пустынножитию. Но они не молятся молитвой сердца. А суть ее такова, что ты молишься так долго, что уже теряешь счет молитвам, и в сознании не остается места для чисел. Неизвестно, может быть, ты тысячу раз скажешь: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», может, четыре тысячи сорок восемь раз. Главное — постоянно повторять эту молитву в уме, горячо и искренне, отождествлять ее с собственным дыханием и биением сердца, пока она не очистит твой ум от всего, кроме Света мира.

Торвальд потратил многие часы, чтобы найти молитву в своем сердце. Он словно дышал этой молитвой и пытался сделать так, чтобы слова молитвы приходились на каждый удар сердца. При этом на него нисходили спокойствие и удивительная легкость, граничащая с весельем, и все вокруг становилось ясным и понятным. Так, вопреки проискам демонов Торвальд мало-помалу выбрался на верную дорогу. День ото дня у него все лучше получалось отдаваться молитве всем своим существом. Слова молитвы вызывали перед его взором образ Христа, который всем правит и сидит высоко под сводами соборов и все же находится столь близко к людям, что ничто не ускользает от Его взора. И сам он уносился мыслью к тому дню, когда стоял под куполом по-

среди Айя-Софии, только что прибыв в Константинополь с полным багажом надежд, пораженный чудесами и знаменениями. Но на этом воспоминании он не задерживался, оно тотчас порождало другое — более сильное, более важное. Он видел, как он — ничтожнейший из всех — стоит перед иконой Божией Матери в церкви святого Иоанна Златоуста; он на удивление хорошо помнил, как близка Она была ему, с каким искренним участием смотрела на него и понимала его раньше, чем он успевал о чем-то сказать или подумать.

Все чаще и чаще он стал читать простую молитву Богородице: «Пресвятая Матерь Божия, помилуй мя». Она также хорошо совпадала с его дыханием и сердцебиением, как и Иисусова молитва, но действовала лучше. Бывали минуты, когда ему казалось, что зла в мире больше нет, и он преисполнялся доверия ко всему окружающему. Он научился без сожаления отпускать эти сладостные миги от себя, ведь никто из смертных, живущих земной жизнью, не может пребывать в раю непрестанно. Но едва великий свет угасал, он сразу начинал ждать его возвращения.

«Я могу молиться, и разум мой при этом не блуждает», — сказал Торвальд Маркосу, забыв про истину, которой прежде следовал: не похваляйся тем, что имеешь; может статься, оно лишь одолжено тебе на малое время. После этого он вдруг начал слышать голоса.

«Почему, — вопрошал первый голос, — ты хочешь молиться в одиночку? Отчего ты хочешь быть один в этой пустыне? Господь сотворил человека не для того, чтобы он думал лишь о себе, но дабы он радовался с радостными и грустил со скорбящими».

«Господь, — говорил второй голос, — не давал всем людям одинаковых даров. Каждый делает то, к чему лучше способен, по той милости, что дана ему».

«Не говори: “Что могу я, несчастный?”», — твердил первый голос, — не унижай себя в глазах Бога».

«Святые, — говорил второй, — спаслись верой и благодарью».

«Христос, — опять вступал в разговор первый, — вернулся к людям и служил им, и вложил в уста апостолам слова, что вера без дел мертва».



«Никто не должен кичиться добрыми делами, — говорил другой. — Люди совершают добрые поступки, чтобы снискать похвалу у других, а тот, кто постоянно пребывает в молитве, не сделает ничего, что не было бы добрым. Если враг не может отвлечь наш ум от молитвы ненужными и суетными мыслями, он подсовывает нам помыслы о благородном поступке, чтобы хоть каким-то образом отвлечь нас от молитвы — ведь ее он вовсе не может терпеть».

«Кто достиг спокойствия ума, — продолжал первый голос, — да отринет его и да пойдет трудным путем».

Эти голоса не оставляли его в покое ни днем, ни ночью — особенно ночью, хотя он не желал слышать их. Однажды он целый день молился, чтобы в следующую ночь они остались за порогом: «Царица Небесная, мать милостивая, жизнь моя и радость, и надежда, скажи мне, откуда эти голоса, скажи мне, кого из них мне слушать, или заставь их умолкнуть ласковой силой Твоей».

Той ночью он спал крепко, а под утро открыл глаза и увидел, что у его лачужки нет крыши и с небес на него смотрит жена, облеченная солнцем, и под ногами ее луна, а на голове ее венец из двенадцати звезд. Она простирала к нему руки и звала его по имени — значит она знала, что он существует.

Весь следующий день Торвальд задумчиво просидел перед своей хижинкой. Ближе к вечеру он отогнал козу к Маркосу и отнес Афанасию «Филокалию» — никто из них не спросил, куда и зачем он собрался. Затем он вернулся к себе, сунул в котомку каравай хлеба и головку козьего сыра, подпоясался веревкой, взял в руку посох и пошел вперед, не оборачиваясь.

Глава 34

Мост через реку

Он целыми днями шагал через горы на север. На пути оказались селения, по которым прокатилась война. Дома были сожжены дотла, мельничные колеса разбиты, нивы выжжены, вóроны выклевали глаза у полумертвых овец. У обочины лежал ребенок с разбитой головой, а во рту у него

были черные мухи; чуть поодаль — его мать, раскинув ноги, и ее глаза в смертном ужасе глядели в ясное всевидящее небо.

Торвальд шел мимо, не отводя глаз, и его сердце переполнялось горькой тоской и гневом. Вскоре догнал группу людей и от них узнал, что здесь произошло.

В этих краях сходились владения греков, болгар и сербов. Слуги византийского императора выколотили из жителей все, что было можно, но за ними явились мытари болгарского царя, еще более настырные. Местные жители ничего дать им не могли, тем более что летом была большая засуха и урожай оказался скуден. Болгары сочли их нежелание платить налог мятежом и прошлись по селениям огнем и мечом. Такая расправа казалась им делом богоугодным, так как обитавшие здесь нечестивые еретики-богомилы, не признающие над собой ни Христа, ни царя, заслуживали только самого худшего.

«А сами вы богомилы?» — спросил Торвальд у своих собеседников. Они закивали головами.

Вместе они дошли до реки, несущей бурные воды меж крутых берегов. В одном месте река сужалась; здесь через нее были перекинуты толстые стволы, связанные веревками.

У моста стояла толпа, в основном женщины с детьми и старики. Все они были богомилами, бегущими в поисках лучшей доли на север. Но расположившиеся на мосту вооруженные люди их не пускали. Несчастливым беженцам оставалось ждать голодной смерти или чуда.

Торвальд подошел к мосту и спросил, чей это отряд. Ему не смогли толком ответить: дорогу богомилам преграждали вовсе не солдаты, а православные крестьяне с рогатинами и серпами.

«Не хотим мы этих побродяг, которые сжирают все на своем пути, как саранча!» — говорили они.

«Эти люди безоружные и мирные», — отвечал Торвальд.

«Еретикам веры нет!».

«Их дети умирают с голоду», — сказал Торвальд.

«Своя рубашка ближе к телу. У нас тоже дети».

Торвальд обернулся к беженцам; он весь стал как натянутая струна. Он взял на руки ребенка, и тот без страха прильнул к его шее. Затем он поднял на ноги его мать и велел ей идти за собой — и она пошла, а за ней потянулись осталь-



ные. Торвальд с ребенком на руке подошел к мосту. Он чуял над собой несокрушимую силу, подобной той, что в древности заставила расступиться воды.

Крестьяне на мосту принялись кричать на него и потрясать своим оружием, но больше от растерянности, чем от жажды крови. Когда Торвальд приблизился к ним вплотную, они опустили свои серпы и рогаины. Ведь большинство людей устроено так, что не хотят никого убивать, если эту задачу нельзя переложить на других; крестьяне на мосту, даже полные ненависти, в сущности, были войском без головы. Они оказались бессильны перед решительностью Торвальда.

Еще мгновение — и они посторонились. Беженцы перешли мост вслед за своим неожиданным вождем. Ступив на тот берег, они, плача от радости, стали просить Торвальда не покидать их.

«Какое-то время мне с вами по пути», — сказал он.

Очевидно, богомилы решили, что сбылась их вера в то, что от всех зол и напастей можно спастись любовью; да возлюбим зло до тех пор, пока оно не станет добрым, — говорили их предводители. Богомилами были они — то есть людьми, милыми Богу, и каждый из них был чашей, светом наполненной, и чаша была для них знаком священным, заменяющим унижительное орудие казни — распятие, которому они никогда не станут поклоняться. Такие чаши и по сей день можно видеть на древних надгробиях в Боснии, если их, конечно, еще не взорвали те, кто по сей день воюет там за правую веру.

И свет-победитель
Зло одолеет.
Эта чаша силой любви
Страхи развеет.

Так пели богомилы, уходе по дороге в лес, а крестьяне на мосту бросали друг на друга злые взгляды, словно хотели немедленно найти виновного: кто пропустил этот нечестивый сброд через мост? Не я и не ты... Или над нами сам черт шутит? Кто-то из них — дабы снова не спасовать перед чертом — поджег мост. Сухая древесина радостно занялась, и вскоре мост разошелся на отдельные стволы и рухнул в поток, кото-

рый принял его, шипя как тысяча гадюк. Беженцы из голодающих селений, которые подошли к реке позже, так и остались на южном берегу. Торвальд о них не знал и не видел, как они погибли.

Глава 35

Встреча в Киеве

После этого следы Торвальда на какое-то время теряются. Но Дух истории знает, что о каждом человеке нам бывает известно лишь несколько событий из его жизни, а между ними тянется тропа, заросшая травой забвения.

На помощь нам придет Торстейн Жуть. Это он увидел старого друга на рыночной площади в Нижнем городе Киева как раз в тот момент, когда Торвальд явился из долгого путешествия. Эта встреча была судьбоносной, она на всю жизнь врезалась Торстейну в память, и он никогда не устал рассказывать о ней, если находились слушатели.

«Торвальд был в рваном балахоне, подпоясанный веревкой, — говорил он, — и его ноги были разбиты после того, как он прошел без остановки через семь стран. Но на его лице не было усталости. Его волосы и бороду немного тронула седина, глаза запали, и все же он не выглядел стариком».

«А сколько ж ему было лет?» — спрашивали исландцы, которые слушали Торстейна Жуть, приехавшего издалека, чтобы поведать им о чудесах и дивах мира.

«Мы с ним сверстники, — отвечал Торстейн, — но он показался мне одновременно и гораздо старше, и намного моложе, чем я сам».

«Как такое возможно?» — спросили исландцы.

«Он много знал, — ответил Торстейн. — И вместе с тем он был восторжен, совсем как ребенок. Казалось, он ни в чем не нуждался, зато радовался всему. И над ним был свет, словно рядом со мной шло солнце».

«Говоришь, от него исходило сияние? — спросил молодой священник, сидевший в толпе слушателей. — Как от святого?»



«Это ты верно сказал, — ответил Торстейн. — Как от святого. Но он был таким тощим и костлявым, что я первым делом подумал: его надо накормить, да пообильнее».

Так оно и было. Побратимы бросились друг другу в объятия, и Торстейн на радостях поднял Торвальда в воздух, охватив вокруг талии, и тот оказался таким легким, как будто сделан из птичьих косточек. Это испугало Торстейна. Он осторожно опустил Торвальда на землю и сказал:

«Да если я на тебя дуну — ты переломишься. Давай я тебя накормлю».

Они отошли от ярмарочных шатров и гомона на середине площади туда, где продавалось съестное. Торстейн велел принести хлеб, свинину и кружку кваса, и Торвальд рьяно принялся за еду, выслушивая расспросы друга, которому хотелось немедленно узнать все о его странствиях по миру.

«Попозже, друг мой, я тебе все расскажу — завтра и на следующей неделе. Я хочу здесь отдохнуть, ибо уже довольно находился. А что же ты сам не ешь? — со смехом спросил Торвальд, указывая на еду. — Или мой вид отбил у тебя всю охоту?»

«По-моему, я на своем веку уже достаточно съел», — сказал Торстейн Жуть, поглаживая брюхо.

Торстейн служил начальником сотни в свите князя Владимира и был этим доволен.

«Велик князь Вальдимар, — говорил он. — Радостен и щедр со своими людьми. Когда он устроил большой пир после победы над хорватами, лучшие люди воротили нос от яств из-за того, что есть приходилось деревянными ложками, и вопили, что их обижают. А Вальдимар лишь посмеялся над этим и велел отчеканить для каждого серебряную ложку и в придачу по ножу с серебряной рукояткой. Велик князь, и я ему весьма благодарен. Я давно мечтал снести три головы одним ударом, поэтому я велел выковать себе меч на вершок длиннее остальных мечей».

«А зачем, — спросил Торвальд, — ты хотел снести три головы одним ударом?»

«Затем, что этого никто прежде не делал. И все же совершить такой подвиг мне удалось только благодаря Вальдимару. Князь велел воздвигнуть укрепления по реке Сулы, дабы преградить путь вероломным печенегам, которые не при-

знают никаких договоров и нарушают мир, когда им взду-мается. Частенько я срубал то одну, то другую печенежскую голову, заглядывающую за частокол. Два или три раза я сно-сил по две головы, когда печенежские лучники подкрадыва-лись к крепости и выскакивали по несколько человек разом со стрелами на тетиве, чтобы стрелять в нас с такого корот-кого расстояния, на котором стрела пробивает любую коль-чугу. А больше никак не получалось, пока я не пообещал, если мое желание сбудется, отдать три гривны серебра Деся-тинной церкви, которую Вальдимар в ту пору строил. И вот под вечер печенеги подползли в темноте к частоколу и по-лезли по лестницам, которые приташили с собой. Трое, на мою удачу, высунули свои уродливые головы из-за стены, а я стою в самой лучшей позиции, готовый нанести удар, быст-ро и ловко замахиваясь прямо над стеной, и эти три башки слетели с плеч и бухнулись на землю, а тушки поджали ноги от удивления и повалились вслед за ними. Трех одним уда-ром, так благосклонен был ко мне Бог».

«Три головы одним ударом, — повторил Торвальд, — это правда?»

«Да, — сказал Торстейн Жуть. — Две башки сразу долой. Правда, третья как-то не хотела сразу расставаться со своим телом и повисла на плечах».

«Убивать людей тебе в радость?» — спросил Торвальд.

«Для меня радость не убийство людей, а сам этот миг, ко-гда я знаю, что ни в чем не уступлю этому сброду, а он не сможет мне ничего сделать. Князю Вальдимару тоже не осо-бо нравится лишать людей жизни, — добавил Торстейн, словно до него сейчас дошло, что другу, вероятно, больше хочется услышать какие-нибудь другие новости. — И все же он это иногда делает. Потому что в стране должен быть поряд-ок. Правда, Вальдимар стареет и все меньше хочет воевать. Его войско отвыкает от битв и вряд ли на многое сгодит-ся, когда печенеги опять возьмутся за свое. Но хуже другое: у него двенадцать сыновей, каждого из них он посадил пра-вить одним городом, и никто не знает, кто после него зай-мет киевский престол».

«С тех пор, как мы виделись в прошлый раз, ты так и оста-вался в Киеве?» — спросил Торвальд.



«Я дважды ездил на север, — отвечал Торстейн. — В первый раз я доехал до Хольмгарда и Бьярмаланда*, во второй — до самой Норвегии. Но я все время, снова и снова, возвращаюсь сюда и не знаю почему. Так язык по глупости своей тянется к шербатовому зубу, хотя прекрасно знает, что его там ждет».

«Ты доехал до Норвегии, а почему же ты не продолжил путь до Исландии?» — спросил Торвальд.

«Мне там больше нечего делать. До меня дошли вести, что все, кого мы с тобой знали, уже умерли. Но тебя, может быть, обрадует, что сейчас все исландцы крещены, хотя это произошло не от хорошей жизни».

«Не говори так. — Торвальд выпрямился. — И расскажи, как все было».

Торстейн Жуть пересказал другу дошедшие до него новости о событиях, которые и по сей день не стерлись из памяти исландцев: язычники и христиане хотели биться друг с другом на тинге, но красноречивый Торгейр Годи** убедил всех исландцев принять новую веру. Торвальд слушал с напряженным вниманием, радость его была неподдельной и горячей.

«Исландцы, — сказал он, — стали христианами. Надо же!»

«Мне рассказывали, — продолжил Торстейн, — что наши земляки с севера Исландии не желали креститься, пока не доберутся до горячего озера в долине Лейгардаль. Им, видите ли, в холодную воду лезть не хотелось! Они небось ради веры и палец о палец не ударят».

Торвальд посмеялся этим словам друга.

«Будем надеяться, — сказал он, — что желание креститься только в горячей воде будет их самым большим грехом».

«К тому же они тайком почитают языческих богов, — продолжал Торстейн. — В общем, норовят все устроить так, как им удобнее».

* Древнескандинавское название местности, включающей современные Северную Карелию, Мурманскую и Архангельскую области на Русском Севере.

** Торгейр Годи сын Торкеля — в 985—1001 годах законоговоритель (фактически глава государства, совмещавший в одном лице верховного судью и председателя исландского парламента — альтинга).

Торвальду пришлось согласиться, что это не самое лучшее решение.

«Дай Бог, чтобы они покончили с язычеством», — сказал он.

Торстейн Жуть сомневался, что его земляки быстро исправятся, но решил больше не затрагивать эту тему. Ведь судьба свела их в Кенугарде после долгой разлуки вовсе не для того, чтобы они рассуждали о таких материях. Торстейн предложил Торвальду жить у него так долго, как только ему захочется.

Уходя с площади, они увидели черноволосого, длиннородого человека, который стоял на большом камне и что-то сурово вешал толпе. Большинство слушало его со склоненными головами, многие с удивлением и страхом, у некоторых женщин лица выражали неподдельный ужас, но были среди слушателей и такие, кто пытался прекословить оратору. Любое возражение в свой адрес он встречал грозным сверканием глаз, и голос его становился все громче.

Он расписывал ничтожность людей, прозябающих в нечистоте и грехе, начиная с того, что они зачинаются в похоти и мерзком пороке, рождаются с воем и в крови, с младых ногтей научаются лгать и красть, в юности уже обучены вероломству, не ходят на богослужения, но предаются винопитию, разврату и богохульству. «Подобны будут свинье в помоях, — кричал он, — и псу, возвращающемуся к своей блевотине, дети человеческие, если они не признают свои преступления, которые сложно перечесать, и не вострепещут в истинном страхе Божиим, и не раскаются со строгой епитимьей. Ведь не успеют они оглянуться, как придут черти и вонзят им в души острые клыки, и вытянут их души из-под ребер, и насадят на острия копий, и сбросят во тьму кромешную!»

И много еще подобных слов изливалось из его уст, и были они похожи на те, что Торвальд так часто слышал за время своего долгого пути. Этот человек был исполнен злой силы, он весь горел огнем гнева. «Помоги нам, — выкрикнул кто-то из толпы, — укажи нам путь, отче, молись за нас!» — и этот клич подхватили несколько десятков голосов.

«Кто этот человек?» — спросил Торвальд так громко, что некоторые заметили и с удивлением повернулись к нему: этот странник, видать, пришел издалека.



«Это отец Ферапонт, — ответил Торстейн и вполголоса добавил: — Он побывал на Афоне и считает, что все знает».

«Господь послал меня, — гремел Ферапонт, — вывести вас из смрада греха, чтобы вы потом не угодили в зловоние ада, увести вас прочь от страстей, грызущих вас так же, как потом будут радостно пожирать вас злые черви, вытащить вас из навозного рва, который есть предтеча рва огненного, горящего, но не дающего света, и никогда не потухающего».

Торвальд не для того проделал долгий путь до Киева, чтобы сразу пуститься в спор, но сдержать порыв не сумел.

«Не слушай его слов, Господи, — сказал он, словно обращаясь к соседу. — Прости ему, ибо он думает, что старается и помогает Тебе, но не слушай поношений и клеветы на детей Твоих!»

Торстейн Жуть с изумлением посмотрел на друга — как и все другие, кто слышал его.

Глава 36

Феодора

Торвальд не пожелал сводить знакомство с кенугардскими хёвдингами и не бывал, хотя имел возможность, в палатах, где князь Владимир потчевал свою свиту медом из серебряных кубков и жарким с украшенных резьбой подносов. Он даже отверг предложение Торстейна подольше пожить у него в доме в двух шагах от Золотых ворот, ибо там было слишком многолюдно.

«Ну, если тебе хочется, чтобы мы оба скучали... — со вздохом сказал Торстейн Жуть. — Но помни: мой кошелек также и твой. Бери из него, сколько захочешь».

Торвальд нашел себе пристанище вне городских стен на Яру — в просторной ложине, расширявшейся от Днепра. Нанятые вольноотпущенники построили ему дом-мазанку со стенами достаточно толстыми, чтобы не пропускать ни жару, ни холод. Крышу изготовили из тонких стволов и ветвей, а затем покрыли соломой. Торвальд сам натесал досок для двери и навесил ее на петли. Внутри дома из обожженной глины и плоских камней была сложена конусообразная печ-

ка. От ее задней стенки жар шел к лежанке, возле которой Торвальд установил высокую конторку. Под домом вырыли погреб, а позади дома разбили огород. В деревьях, которые росли перед входом, Торвальд расширил уже наметившиеся дупла — в надежде, что в них поселятся пчелы. Дом и дворик возле него обнесли плетнем — таким высоким, чтобы его не могли перескочить козы, которых Торвальд решил завести.

Этот труд отнимал силы, но давал взамен кое-что другое — бóльшее. Торвальд смотрел, как белеет на солнце его дом, и думал, что раньше он никогда — если не считать хижины, которую сложил в горах в бытность отшельником, — не прилагал руку ни к чему, что может источить моль и ржа, что под действием ветра и воды непременно растрескается, развалится и рассыплется в прах. Однако этот труд отнюдь не казался Торвальду бессмысленным. Теперь ему осталось лишь очинить перья, встать за конторку и начать писать.

Торстейн принимал во всем этом живейшее участие — именно на его ногаты шло строительство. Он был очень доволен, что может помочь другу.

Зато не был доволен другой человек, который каждый день проходил мимо огорода Торвальда. Это был Ферапонт, называющий себя Афонским. На Афоне он когда-то жил в большом монастыре со строгими правилами и суровым уставом, и с тех пор почти все, что говорили и делали другие, казалось ему не вполне правильным и даже греховным.

Ферапонт подумывал о том, чтобы основать в этой лошине монастырь. Пока же он вырыл себе поблизости пещеру в крутом склоне и жил там в надежде, что еще кто-нибудь последует его примеру и в конце концов под его чутким руководством соберется целая община, которая будет пребывать в святой аскезе. Ферапонт невзлюбил Торвальда с тех самых пор, как тот пришел в Яр. Как ни мал был домик Торвальда, а все же он встал поперек планов Ферапонта. Лучше бы он вырос в другом месте. К тому же Ферапонт чувствовал нутром, что Торвальд станет ему соперником в разных делах. К ним обоим приходили гонцы от епископа Иоанна и просили потрудиться на благо христианства, ведь все грамотеи были чрезвычайно востребованы в Киеве — для церквей, возводимых по всей Руси по велению Владимира, требовались священные книги. Торвальд, Ферапонт и другие быв-



шие в городе книжники неустанно делали списки «Апракоса», «Палеи», «Житий святых». Торвальд достиг в этом деле больших успехов — буквы в его книгах были такие четкие, как будто сами бежали навстречу читающему глазу.

И вот слава о нем дошла до Феодоры, дочери Свейнальда, — женщины, у которой Торвальд давным-давно побывал в гостях в доме купца Ингвара, иначе Игоря, ее мужа. Это от нее он впервые узнал о святых иконах. Разумеется, сама Феодора уже не помнила гостя-варяга, который пробыл у нее дома несколько вечеров, пока сказитель излагал историю о Тристраме и Исенд. Но ее добрый знакомый Торстейн Жуть сообщил ей много лестного о своем друге, а после того, как Торстейн рассказал, как Торвальд вступился за род человеческий перед Ферапонтом Афонским, ей захотелось пригласить его к себе домой..

«Не слушай его слов, Господи! — рассмеялась она. — Он прямо так и сказал?»

«Да, и еще много другого, я не все запомнил», — ответил Торстейн Жуть.

Торстейн принес нашему рассказу много пользы. Часто он одним своим присутствием напоминал Торвальду о вещах, которые не попадали в его поле зрения. А сейчас Торстейн сделался связующим звеном между ним и женщиной.

Торвальд, однако, долго отказывался сходить в гости к богатой даме. «Отвык я от зажиточных домов, — говорил он, — я там буду как рыба на горе».

Но Торстейн называл его самоуничужение глупостью.

«Эта дама скучает, — сказал он, — что нетрудно понять. Она сидит со своими слугами в большом доме, и никто не смеет зайти к ней в гости из-за золовки Анны, которую ее муж Ингвар оставил присматривать за женой и домом. Эта Анна каждого, кто только переступит порог, пока ее братец в отъезде, почитает за любовника Феодоры».

«А где же купец Ингвар?» — спросил Торвальд.

«Прошлой весной он уехал на север в Бьярмаланд покупать меха, — сказал Торстейн, — и сказал, что не вернется, пока не нагрузит ими три струга. Князь Святополк Туровский дал ему людей, чтобы выколачивать из бьярмаландцев товары по дешевым ценам, они в этом походе в доле. Чест-

но признаться, мне кажется, для Феодоры будет лучше, если бьярмаландцы убьют ее муженька».

«Ты сам не прочь на ней жениться?» — спросил Торвальд.

«За меня она не пойдет, — уверенно сказал Торстейн. — Ингвар, когда пьян, настолько теряет рассудок, что колотит каждого, кто подвернется ему под руку: друзей, врагов, родню, рабов и жену. Однажды он, пьяный, изрубил секирой в шепки ее иконы. С тех пор Феодора образов больше не пишет».

Услышанное подвигло Торвальда принять очередное приглашение в гости. В его представлении Феодора больше не была ни богатой дамой, движимой суетным любопытством поглазеть на отшельника, ни смутным напоминанием о часах, проведенных в ее доме, настолько не похожих на все прочее, что лучше бы и не ворошить их. Теперь, казалось ему, он обязан просто-таки пойти к ней, ведь, возможно, ей нужна помощь...

Впрочем, по виду Феодоры, дочери Свейнальда, нельзя было сказать, чтобы она нуждается в помощи или ищет у кого бы то ни было поддержки; в глазах ее горел насмешливый огонек. Это Торвальд заметил сразу же, как только они с Торстейном переступили порог ее дома. Она произнесла «Добро пожаловать» со сдержанной улыбкой и пригласила побратимов в свои покои. Вслед за ними вошла ее золовка Анна, высокая, костлявая, суровая на вид женщина; она заговорила с гостями как хозяйка дома; при этом обе женщины даже не глядели друг на друга.

Торвальд уже бывал здесь. Вдоль одной стены висели красные сарафаны, красиво расшитые прихотливо переплетающимися синими, белыми и золотыми нитями; эти линии создавали рисунок, главным в котором были полевые лилии и драконы с разверстыми пастьми, но не страшные, а как бы озорные. На столе лежали льняные рубахи с широкими рукавами, окантованными золотой и красной тесьмой. Все это были великолепные вещи, и Торвальд вежливо похвалил их. Но не сдержался при этом и заметил, что именно здесь впервые услышал, как пишутся святые иконы. Но едва он вымолвил это, как по выражению лица Феодоры понял, что сделал что-то не так, и прикусил язык.



«Я больше не пишу икон, — сказала она. — Епископ Иоанн говорит, что мои образа неверные, он запретил вывешивать их в Десятинной церкви, а после этого никто уже не захотел забирать их к себе в дом. Я шью женскую одежду, как видите».

Торвальд посмотрел на нее с сожалением и удивлением: неужели пьяный дебош мужа и строгий церковный канон объединились, чтобы отнять у этой женщины искусство, которым она владела лучше всего? Феодора смотрела прямо; глаза у нее большие и черные, волосы светлые, но как будто присыпанные золой. Годы начертали свои знаки на ее лбу, нос казался чуть крупнее, чем раньше. Но она все еще была красавицей. Больше всего она напоминала плод накануне осени, впитавший в себя солнце и соки лета, и хотя впереди еще могли быть теплые дни, ночной заморозок в любой момент мог больно ударить по нему.

«Торстейн рассказал мне, что ты великий воин и еще более великий ратник Божий», — сказала она.

«Торстейн слишком много говорит, — ответил Торвальд. — Я успел побывать и тем, и другим, но сейчас так сложилось, что я больше не знаю, кто я».

«Наверно, плохо так жить?» — спросила Феодора.

«Я решил оставить все как есть, — сказал он. — По крайней мере я безобиднее, чем тот, кто уверен, что он всегда прав».

«Лучшие люди так безобидны, что это им просто во вред, — сказал Торстейн Жуть. — Например, Борис, сын Вальдимара. Он славный малый, истинный хёвдинг, хоть и молод годами. Я с ним сражался против печенегов и знаю, сколь он решителен в бою, он великолепно разбирается в людях и, когда нужно, умеет их мирить. И все же он не любит главенствовать над другими».

«Я слыхала, что Вальдимар собирается посадить его князем в Ростове», — сказала Феодора.

«А он настолько молод и глуп, что наверняка не откажется, — сказал Торстейн и разозлился. — В этом случае он будет сидеть далеко от Киева. А его брат Святополк между тем окопался в Турове, где притесняет народ и откуда снаряжает походы на Север и Восток, чтобы набрать богатств икупить себе союзников».

«Он взял себе в жены дочь польского короля», — добавила Феодора.

«Хуже и быть не может, — сказал Торстейн, — вскоре этот коварный пес станет так силен, что, чего доброго, подчинит себе Кенугард еще до смерти Вальдимара».

«Он не восстанет против отца», — возразила Анна; ей было неприятно слышать такое о хёвдинге, которому служил ее муж.

«От него всего можно ожидать, — сказал Торстейн, — рано или поздно. А юный Борис пусть сидит на севере, в Ростове, над книгами и дуреет от чтения и постов».

«Он еще не уехал туда», — сказала Феодора, словно желая подбодрить саму себя и остальных.

«Все в руке Божьей», — устало вздохнула Анна, все еще пытавшаяся встрять в их разговор.

Торвальду была не вполне понятна тревога Торстейна и Феодоры за сыновей Владимира и его наследство. Он бросил взгляд на Анну и продолжил затронутую ей тему.

«Все в руке Божией, — сказал он, — с этим трудно спорить. И все же, по-моему, неправильно ссылаться все время на Бога».

Они с изумлением посмотрели на него и спросили, что он имеет в виду.

«Я слышал, как один человек на Подоле рассказывал свою историю, — отвечал Торвальд. — Он с товарищами плыл на купеческом корабле через пороги. Его спутники потеряли бдительность, их корабль подхватило течением и разбило, и все они погибли. А сам он в то утро ушел от них из-за какой-то мелкой ссоры и пересел на другой корабль. “Господь указал на меня перстом”, — говорил тот человек и был весьма горд собой».

«А почему бы нет? — сказал Торстейн. — В самом деле, не черт же ему жизнь подарил».

«Старец Симон обычно говорил: “Господь решает, сколько раз повернется лист, упавший с дерева, пока его не унесет ветром”. Тот человек не должен похвастаться тем, что спасся. Разве он больше заслужил это, чем те, кто утонул? Всему свое время: время молчать и время говорить*».



* Еккл. III, 1–7.

«Мне кажется, — сказала Феодора, — все люди верят в судьбу. Каждому хочется верить, что, как бы у него ни складывались дела, хорошо или плохо, другого выбора у него не было, и все должно было пойти именно так, как пошло. Тут, на Руси, все еще умилоствляют медом и лучшим хлебом рожаниц, которые, как считается, присутствуют при рождении ребенка и выбирают ему судьбу. А затем те же самые родители и их родственники идут в церковь и просят у Богоматери покровительства для ребенка».

«Торстейн рассказывает, — сказал Торвальд, — что, когда крещение принимали наши земляки, они разрешили себе поклоняться и языческим богам».

«Они поступили разумнее, чем в Киеве, — сказала Феодора, — здесь попы так ревностно подавляют язычество, что уже ни о чем другом и не помнят. Ферапонт велел одному человеку положить сто земных поклонов в наказание за то, что он помочился на восток, а значит, осквернил Свет, льющийся миру».

Все рассмеялись — кроме Анны, которая лишь фыркнула на такую болтовню. Но Торстейну не хотелось, чтобы его земляки при таком сравнении выглядели лучше русских.

«Исландцы не только разрешили себе тайком поклоняться языческим богам, — сказал он. — Они разрешили относить детей на пустошь».

«Относить детей на пустошь? — переспросила Феодора, и веселье тотчас оставило ее. На ее лицо набежала тучка, и Торвальд понял, какие чувства обуревают ее. — У меня был брат, — сказала она. — Когда он был маленьким, он мог заснуть, только если я держала его на руках. Но мне всегда казалось, что он знает много такого, чего не знаю я. Когда ему было пять или шесть лет от роду, он каждый день убегал в лес. Однажды выяснилось, что он бежит туда молиться Богу. Наша мать испугалась, что он заблудится, и спросила: “Отчего ты убегаешь в лес? Разве Бог не везде? Разве он не везде один и тот же?” — “Он-то да, — ответил брат, — а я-то нет”».

«От детей можно научиться трем вещам, — сказал Торвальд, благодарный Феодоре за то, что она перевела разговор с жестокости к детям на детскую мудрость. — Плакать.

Смеяться. И всегда иметь какое-нибудь занятие и превращать его в нечто значительное».

«А еще забывать, — сказала Феодора. — Моя няня говорила, что каждый ребенок способен запомнить что угодно, с самого момента появления на свет. Но Господь знает, что человек не сможет жить, если будет помнить все, что с ним происходит и что ему уготовано. Он согнется под бременем памяти и не сможет ни засеять поле, ни заводить детей, не сможет даже вставать с постели по утрам. Тогда Господь бьет каждого ребенка по голове, как только тот входит в мир, — и он постигает искусство забвения».

Торвальд пристально посмотрел на женщину. Никогда он не думал ни о чем подобном. Ему всегда хотелось сберечь все, что он увидел и пережил, он не хотел упустить ничего. Точнее, он так считал. Возможно, он был не прав. Возможно, и для него забвение было бы благом, хотя он и сам не знал об этом. Феодора посмотрела на него; насмешливый огонек, который он прежде видел в ее глазах, уже исчез. Теперь в них воцарилась теплота и еще — тайна.

Глава 37

Пастырь душ

О чем думал Торвальд, когда в своих странствиях решил сделать остановку в Киеве? Он долго жил в главной христианской стране — Византии; может быть, ему стало любопытно, как обстоят дела у народа, который крещен недавно? Возможно, он и себе отводил какую-то роль в приобщении Киева к христианству? А может статься, он сам не знал, за чем пришел сюда и поставил себе домик в Яру.

Он не искал встреч с людьми, но не прогонял никого, кто приходил к нему. Он знал, что одиночество не способно излечить чувства от смятения, и в то же время верил, что гость может принести в дом радость.

Некоторые из приходящих к нему считали Торвальда мудрецом и пророком; ведь порой он находил в них достоинства, о существовании которых они даже не подозревали. Это касалось в основном людей, которые считали себя ниже всех.



Торвальд обращался с ними так, как если бы они были достойны самого лучшего.

«Ты хочешь, — сказал Торвальд одному из своих гостей, — найти верное средство прогнать все черные думы и страшные соблазны. Разумеется, есть много способов одолевать их и обращать в бегство. Но ты никогда не прогонишь их окончательно. Если кто-нибудь придет и скажет, что может забрать у тебя все злые мысли, — не верь ему».

После разговоров с ним люди неизбежно становились другими — сначала в собственных глазах, потом в общении с окружающими. Хотя, конечно, бывали среди гостей Торвальда и такие, кто не воспринимал его слова и даже не пытался сделать над собой усилие, чтобы понять его.

О Торвальде ходили разные рассказы, и было непонятно, как же их понимать, но от этого они еще сильнее врезались им в память.

Один купец пришел к Торвальду и спросил, как ему молиться, чтобы вымолить благополучное возвращение корабля, который он ожидал из Корсуни. Торвальд немного помолчал, а потом сказал: «Разве ты не знаешь, что Бог устал? Мы призываем Его лишь для того, чтобы попросить о помощи или услуге, но никогда не даем Ему ничего, что облегчило бы Его бремя. Послушай моего совета, дай Ему немножко отдохнуть».

Один богач пришел к Торвальду и хотел, чтобы его похвалили за добродетельное житье. «Я соблюдаю строгие посты, — хвастался он, — вкладываю в свои уста лишь хлеб и соль. Порой я жую с ними луковку-другую, но больше ровным счетом ничего». — «Возмутительно, — сказал Торвальд. — Мне бы хотелось, чтобы ты ел хлеб с медом и жирное мясо, а запивал вином». — «Почему?» — удивился богач. «Если ты довольствуешься хлебом и солью, — сказал Торвальд, — то ты, видимо, считаешь, что беднякам в пищу достаточно воды и песка. А если б ты сам вкладывал в уста мясо и мед, то, может быть, хлеб ты отдал бы им».

Как-то во двор Торвальда вошел юноша — смущенный, заикающийся, одетый в тряпье, изможденный. Явился он издалека; у него был великий замысел: ехать в Корсунь изучать богословие, и он просил милостыню ради поездки. Торвальд выслушал его, затем взял серебряную монету, ко-

торуя кто-то из гостей просил его потратить на благое дело. Но едва юноша протянул за ней руку, радуясь дару, Торвальд засунул монету в кошель, который носил у себя на поясе. После этого он взял плетеную корзину, положил в нее три луковики и каравай хлеба и подал юноше. Тот принял ее с благодарностями, но все же был разочарован. «Не понимаю», — сказал он. «Чего ты не понимаешь?» — спросил Торвальд. «Не понимаю, почему ты передумал давать мне серебро», — сказал юноша. «Сейчас я тебе объясню, друг мой, — сказал Торвальд. — Я хотел научить тебя и одному, и другому. Первое: что в твоём возрасте не нужно стесняться просить о помощи. Принимать помощь не стыдно. То, что дают тебе другие, все равно принадлежит не им самим. Но вместе с тем я хотел преподать тебе урок, который тебе следует как можно скорее затвердить: не надо рассчитывать на чудо».

Однажды утром Феодора вышла за городские стены; с нею был вольноотпущенник, которому она доверяла. Она не успела сообразить, куда направляется, а ноги уже сами несли ее по тропинке, ведущей к Яру. О чем-то они с Торвальдом Странником не договорили. Может быть, о Боге? Но вероятнее всего — хотя она ни за что не призналась бы в этом самой себе, — ей хотелось поговорить Торвальдом о том, как ей холодно в этом городе, в этом мире: без детей, без икон, без любви. У нее был дом — и все же она была бездомна, у нее было серебро и были слуги, и все же она была нищая. Но по мере приближения к домику в Яру она испытывала все большее смущение, и гордой дочери предводителя вяржской дружины уже было впору сомневаться, сможет ли она вымолвить хоть слово, когда увидит Торвальда.



Феодора спустилась по тропе, идущей по склону, и приблизилась к дому Торвальда. Калитка в изгороди была открыта; она попросила вольноотпущенника подождать и вошла внутрь. Липы, давшие приют пчелам, бросали тень на помост близ дома. Она остановилась в этой тени и вдруг услышала голоса. Сделала несколько шагов вперед и увидела сквозь листву, что Торвальд сидит рядом с женщиной, одетой в черное.

«Отче, — говорила женщина; в голосе ее слышались слезы, — он был такой хороший мальчик, такой маленький и милый. Зачем ему нужно было умирать? Почему я не утонула вместо него?»

«Он бы этого не хотел, — говорил Торвальд. — И его сестры не смогут без тебя обойтись».

«Я не уследила за ним, — говорила женщина. — Он уже не был несмышленышем, но часто забывал, где находится».

«В этом нет твоей вины, — отвечал Торвальд. — Помни это. Ты не могла постоянно не спускать глаз с мальчика».

«Я оступилась, я согрешила, — сказала она. — Отец Ферапонт говорит, что я грешница, но если я расскаюсь и понесу наказание, я вновь увижу моего мальчика».

«Поверь мне, — сказал Торвальд, — Бог не хочет наказывать тебя за то, что ты сделала или не сделала».

«Отец Ферапонт, — продолжала женщина, — говорит, что дети тоже отмечены печатью греха, а мой Глеб ничего дурного не сделал. Я знаю, в нем не было зла, я тебе скажу, отче, это видел всякий, кто смотрел в его большие голубые глаза и слышал, как он разговаривает».

«Дети невинны, — твердо произнес Торвальд и обнял женщину за плечи. — Не сомневайся в этом».

«Если б я еще хоть разочек могла увидеть, как он подбегает, услышать, как он зовет меня, увидеть, как он мне улыбается», — говорила женщина: она вовсе не хотела прекращать берeditь свою рану. Ее горе было так велико, что подчиняло себе все ее мысли. Возможно, сейчас ей казалось, что ее самая лютая вина в том, что со временем она позволит горю ослабнуть, даст затупиться его язвящему жалу. Мать оплакивала свое дитя и не желала, чтобы ее утешали, но все же она искала успокоения.

«Зачем Бог так поступает со мной? — простонала она, горько вздыхая. — Зачем Он гневается на меня? Зачем Он так жесток, что забрал то, что Сам дал мне?»

Торвальд не просил ее замолчать. Он не говорил, что Господь милосерден, а пути его неисповедимы. Феодора, словно приросшая к месту, услышала, как он сказал совсем другое.

«Господь не бросает маленьких детей в Днепр, — спокойно произнес он. — Но я не собираюсь защищать Его от твоих

упреков. И я не буду просить тебя простить Его или людей, которые не знали, что у тебя произошло. Я знаю, как твое горе велико, я и названия ему подобрать не могу. Я знаю, что ты гневаешься. Что я могу сказать? Давай гневаться вместе. Кричи Ему, пусть Он услышит, каково тебе. Я буду кричать с тобой, если захочешь. А если хочешь, я буду сидеть здесь и молчать вместе с тобой».

Торвальд, конечно, мог, как это сделали бы многие проповедники, сказать скорбящей матери, что Господь рано или поздно обращает все к лучшему. Но он не стал выводить сидящую возле него женщину на эту тропу — и от этого Феодора прониклась к нему еще большим уважением. Ей стало совестно, что она принесла сюда свои горести — такие незначительные по сравнению с тем, что испытывала мать, потерявшая сына. Чем дольше она стояла под деревьями, слушая плач несчастной, тем мельче казались ей собственные тревоги, невзгоды и неудачи.

Глава 38

Борис, сын Владимира

Много людей, не схожих между собой, искали в ту пору встречи с Торвальдом и с Ферапонтом, а также с другими людьми, прославившимися мудростью, пылкостью в вере и глубокими познаниями. Среди них можно было найти и людей влиятельных.



Русь усердно осваивала новую веру. Иные — так как им не было по нраву, что греки презирают их за невежество и дикарство, — стремились изучить православную веру лучше, чем их византийские учителя, в устах которых соль истины уже давно потеряла всякий вкус от слишком частого употребления. Эти люди истово учили молитвы и правила истинно христианского житья. Другие словно опьянели от радости, что обрели правую веру, которая выстраивала бытие в стройную систему и давала человеку ключи от счастья этого и того света. А были и такие, чья вера уже вышла из младенческого возраста, и жизненные невзгоды отпугнули от них уверенность в том, что все в их жизни будет хорошо.

Они впадали в грех уныния и спрашивали у того, к кому шли за советом: «Отче, не совершил ли я прегрешение большее, чем можно простить?»

Много было заблудших, они нуждались в наставлениях, а лучше всего — в том, чтобы найти своей душе надежного проводника в ее странствии по свету и тьме. Блажен был тот, кто заручился доверием и дружбой человека, который воистину был близок к Богу, ибо через него обретался ключ, открывающий врата, которые Сатана хотел запереть от человека.

Но кто же истинный друг Божий? Как его имя? Ферапонт? Торвальд? Или зовут его как еще? Или правильнее будет внять предупреждениям епископа Иоанна, который говорит, что любой отшельник может впасть в ересь, потому что отшельники пренебрегают верным руководством и не чтят престол апостольский? Как найти истинного Божьего друга, которому можно довериться как наставнику?

В одно осеннее утро, когда листва нехотя собирается прощаться со своими деревьями, во двор к Торвальду занесло человека, который как раз искал ответ на этот вопрос, хоть и не формулировал его прямо. Этим человеком был Борис, сын князя Владимира, — тот самый, которого Торстейн Жуть и Феодора больше всего хотели видеть на престоле в Киеве, когда пробьет час.

Борис был еще молод годами, высок ростом, строен и широкоплеч. Его глаза были голубыми, большими, пытливыми, волосы — черными и тонкими, как у юной девы, улыбка — слегка печальной. Он был одет просто — в полотняные штаны и рубаху под верхней одеждой — и не носил никаких украшений, если не считать креста из серебра и янтаря. Говорил он тихо, его манера держаться ничем не выдавала, что к домику пришел именно князь, рожденный управлять дружиной, а в будущем, возможно, и большим государством.

Борис с порога сказал, что слышал от отца Ферапонта и его друзей, будто Торвальд легкомыслен в своем образе жизни и взглядах и не слишком рьяно велит своим посетителям ходить на богослужения, да и сам забывает о постах, молитвах и истинной аскезе.

«Да, он все никак не может забыть, как я предложил одному гостю мед с хлебом», — ответил Торвальд.

Мед, который Торвальд собирал в колоды, делал его в глазах Ферапонта разом тревоугодником и пьяницей. Но это был еще грех небольшой по сравнению со многим, в чем Ферапонт упрекал варяга-странника. Сведений, на которых он мог строить свои обвинения, он получал с избытком. Многие люди ходили то к одному из них, то к другому; так что Ферапонт в подробностях знал все, что происходит у Торвальда, и при желании истолковывал это как угодно.

Например, к ним обоим ходил молодой священник, горячо молившийся за свою мать, пока она лежала на смертном одре. Но она нажила себе состояние тем, что в молодости продавала свое тело на улицах Корсуни, и в последние часы жизни нашла в себе силы просить его не молиться за нее. «Я знаю, — сказала она, — что не заслуживаю лучшей участи, чем ад». Священник явился к Торвальду и в страхе спросил его: «Неужели мне предстоит увидеть, как моя мать кричит в адском пламени?»

«Я бы ее туда не посылал», — ответил Торвальд.

Когда Ферапонт узнал об этом высказывании своего соседа, он страшно разгневался и сказал: «Как велики гордыня и заносчивость этого человека! Он хочет прославиться среди людей тем, что презирает справедливость Божескую!»

Борис знал эту историю. А также еще одну, которая очень нравилась ему. Как-то к Торвальду пришли за советом некие юноши, и вот что он им сказал:

«Все считают себя вправе презирать вора, но от него можно научиться семи полезным вещам. Первое: он все делает тайком и не жаждет внимания. Второе: он упорен и что не украд этой ночью, то непременно постарается взять следующей. В-третьих, он верен своим товарищам. В-четвертых, он действует решительно и, в-пятых, без колебаний рискует ради того, к чему лежит его душа. В-шестых, когда он получил то, к чему стремилась его душа, он вновь отпускает это от себя без сожаления. И в-седьмых: он не боится тяжелых испытаний. И все же главное, в чем вор может служить примером добрым людям: никто не заставит его сменить ремесло — он не хочет быть другим, чем он есть».



Отец Ферапонт наливался праведным гневом, когда рассказывал Борису о том, какие безобразные уроки можно извлечь из этого сравнения. «Он не понимает, что болтает, — говорил Ферапонт. — Он хочет, чтобы юноши выбрали воров примером для подражания? А почему тогда не развратников? Или убийц? Он вводит молодые неопытные души во искушение! Он запорашивает глаза людей песком, чтобы они не видели разницы между добром и злом. Он мутит народ!»

«Отец Ферапонт много знает, — сказал Торвальд Борису, когда упомянул о реакции Ферапонта на его слова. — Он сшил себе плащ из законов, такой длинный, что спотыкается о него при каждом шаге. Но хуже всего то, что он уверен, будто людьми лучше всего управлять, запугивая их».

«Я бы меньше всего хотел, — сказал Борис, — управлять людьми с помощью страха. Но я спрашиваю, отче, действительно ли управлять одним добром?»

«Не называй меня “отче”, — скромно произнес Торвальд. — Для этого я не обладаю ни подходящей мудростью, ни саном».

«Я называю тебя так, как мне больше нравится, — с улыбкой сказал Борис. — Но я спросил, возможно ли управлять людьми, не имея в руках кнут или меч?»

«А почему бы нет? — спросил Торвальд. — Другое дело, что делать это давно уже никто не пытается».

«Когда я смотрю вокруг, — сказал юный князь, — мне кажется, что мир полон зла, и он вызывает все злое в тех, кому назначено им править».

«Этого еще никто не доказал, — сказал Торвальд. — Не хочу показаться льстецом, но я слышал от многих, что они хотели бы жить под твоей властью, Борис».

Борис взмахнул рукой, словно отгоняя эту мысль.

«Мой отец, — сказал он, — намерен посадить меня княжить в Ростове. Он хочет, чтобы я приучался править. Но больше всего ему хочется, чтобы я готовился стать его наследником».

«По-моему, это хорошо», — сказал Торвальд.

«А по мне, так нет, — сказал Борис. — Мне отвратительны убийства. Мне безразлична слава. Мне скучно раздавать приказы. Я не могу наказывать людей, ибо не уверен в сво-

ем праве делать это. Скажу как на духу, мне было бы лучше всего одному, наедине с моей душой, в лесу или в доме, подобном этому».

Торвальд не знал, что и отвечать. Борис, сын Владимира, хочет, чтобы он приобщил его к отшельничеству? Он заглянул в свой разум и стал искать доводы против этого, начав с того, что он-де хорошо понимает, отчего юному князю так мало по нраву править.

«Я был с Ярислейвом, твоим братом, когда он прибыл к трону императора Василия в Миклагарде. Я видел, как император смотрит на нас сверху, из-под сводов дворца. В тот миг я преисполнился такого благоговения перед его властью, что готов был беспрекословно подчиниться любому его приказу».

«О том я и говорю, — сказал Борис. — Тот, кто сидит на престоле, купается в покорности и послушании, и этот хмельной напиток никогда не надоедает. Мои старшие братья, Ярослав и Святополк, день и ночь мечтают о том, что рано или поздно обретут еще более крепкую власть над своим народом, чем даже сам император византийский».

«А потом я увидел деяния Василия в завоеванном городе, — продолжал Торвальд, — когда он мстил своим врагам, пытал их, и оскплял, и выкалывал им глаза. И я преисполнился такой печали и отвращения к жестокости этого человека, звавшегося равноапостольным, что мне больше не хотелось жить».

«Всякая власть изначально зла, — сказал Борис. — Пьющий из этой чаши сперва вкушает сладкий мед, а со дна выпивает яд, который убивает и его, и всякого, кто приблизится к нему».

«И все же никто не знает этого наверняка, — сказал Торвальд. — Богу угодно, чтобы власть употребляли на добрые дела».

«Он низвергнет правителей с тронов и возвысит смиренного», — сказал Борис.

«Пока не придет этот час, — сказал Торвальд, — нам важно, кто именно сидит на троне. Тот гнев, который может заставить моего друга Торстейна Жуть избить до потери сознания человека в кабаке, заставляет иных правителей разрушать до основания города».



«Когда я выхожу под открытое небо ночью, — сказал Борис, — мне кажется, что оно ложится на меня, подобно грузу. Мое самое горячее желание — пробить эту черную стену, разорвать ее в клочья».

«День светел, — сказал Торвальд, — солнце светит не меньше времени, чем отдыхает. Если ты употребишь светлые часы на полезные дела, ночь больше не будет угнетать тебя».

Тут они на какое-то время замолчали — князь Борис, сын Владимира, и Торвальд, сын Кодрана из Гиль-ау. Наконец Торвальд нарушил тишину.

«Твой отец Вальдмар, — сказал он, — мудр, доброжелателен и куда более терпелив, чем можно было бы ожидать по тому, каким он был в юности. Теперь он хочет сделать тебя своим наследником, и я считаю, что тебе, когда настанет срок, непременно надо принять у него правление, даже если твой разум жаждет другой участи. Ибо если ты не сделаешь этого, все станет намного хуже. Я понимаю, что не имею права просить тебя принести такую жертву, не знаю, принял бы я такой совет, будь я на твоём месте. Но раз уж ты спрашиваешь меня, я не могу умолчать о том, что мне кажется самым правильным».

Солнце, листва и птицы подали им знак, что вечер уже близок. Князь Борис поднялся, поблагодарил Торвальда за советы. Прежде чем уйти, он сказал:

«Я надеюсь, мы сможем рано или поздно продолжить этот разговор».

Через неделю Торстейн Жуть принес другу новость, что князь Борис уехал из города в сопровождении верных друзей. Он согласился княжить в Ростове.

Глава 39

Они заключили друг друга в объятия

Борис, сын Владимира, больше не приходил в дом в Яру, хотя и обещал. Зато туда зачастила Феодора. Она не была похожа на других гостей Торвальда, и прежде всего тем, что не перекладывала на него свои несчастья и трево-

ги. Они просто разговаривали о разных вещах. Торвальд, разумеется, подозревал, что ей живется несладко. Он мог, конечно, начать расспрашивать о житье-бытье Феодоры, о ее единственном ребенке, родившемся мертвым, о муже, избивавшем ее под пьяную руку, или о том, как епископ Иоанн осудил ее иконы. Но делать этого он не стал. Торвальд без рассуждений принял правило, негласно предложенное Феодорой: «Ты говори, а я слушаю, что ты говоришь».

Все, кто приходил к нему, только и знали, что задавать вопросы, но, разумеется, лишь о том, что волновало их самих. Никого не интересовало то, что лежало на сердце у него самого. А Феодоре было важно понять его, узнать, как он жил раньше. И хотя она не задавала вопросов, он сам с охотой рассказал ей о своем детстве и о том, что было с ним после того, как он покинул Исландию.

«Дома, когда я был мальчишкой, — рассказывал он, — я часто уходил за родительский хутор в ущелье, по которому текла река. Там я был один, словно в большой церкви, которую никто не воздвиг, кроме Бога: по обеим сторонам отвесные скалы, словно каменные стены, а над ними синий небесный купол. В глубине ущелья был водопад, словно одетый зеленью, в которую были вплетены цветы, а надо всем этим стояла радуга. Однажды я увидел, как это зеленое одеяние ожило и превратилось в женщину в красном платье и зелено-голубом плаще, расшитом золотом. Лицо у нее было строгое, но доброе, она подняла руку, словно указывая на меня, и позвала меня по имени. Брингвет не знала, что и подумать, но надеялась, что я увидел ангела, если вовсе не Богоматерь».

«А кто такая Брингвет?» — спросила Феодора.

«Моя нянька-ирландка, — ответил Торвальд. — Она была добра ко мне, хотя я этого и не заслужил, а у нее были причины ненавидеть всю мою родню».

«Это она научила тебя христианской вере?» — спросила Феодора.

«Она ничему меня не учила, — ответил Торвальд. — Но если бы я не знал ее, мы с епископом Фридриком, видимо, разминулись бы...»



Он рассказал Феодоре все, что помнил о своей юношеской любви, о первом плавании, о службе у Свейна Виллобородого, о сражениях, в которых участвовал. И так он дошел до своего друга Фридрика и миссионерской поездке в Исландию, которая будила в них большие надежды, но закончилась неудачей. Рассказывал он долго, и ему казалось, что благодаря этому своему рассказу он и сам теперь лучше понимает все, что происходило с ним.

«Епископ Фридрик был строг к самому себе, — сказал он. — Он заставил себя жить в суровой бедности. Он считал, что даже иметь друга для него непозволительная роскошь. Он боялся, что это приведет его к гибели».

«Он отверг твою дружбу?» — уточнила Феодора.

«Да, — ответил Торвальд. — Но, по-моему, я прежде сам обидел его».

«Тебе не кажется, что это неправильно: отвергать такой дар, как дружба?» — спросила она. Она как будто обиделась за своего приятеля Торвальда: кто такой этот Фридрик, чтобы прогонять его?»

Торвальд рассказал ей о походе на паликан и о захвате Лариссы, о жизни в монастыре и об отшельничестве, о своем скитании по разным странам, таком долгом, что Дух истории не отваживался сопровождать его там. Феодора узнавала все больше и больше о нем, и наконец она спросила, доволен ли он своей участью.

«Случались часы, — сказал он, — когда мне казалось, будто я могу все, и тогда я бывал доволен собой. Но потом дело оборачивалось совсем иначе...»

«Я сомневаюсь, что Бог может все», — неожиданно сказала Феодора, как будто не было ничего естественнее, чем сравнивать Торвальда с Богом.

«Что ты имеешь в виду?» — спросил он.

«Ты сказал: Бог не бросает детей в Днепр, чтобы они утонули. Но если ребенка, упавшего в реку, спасли до того, как стало слишком поздно, тогда мы хвалим Бога».

Торвальд молча посмотрел на нее. Она была не согласна с Тем, Кто правит всем. По печальному выражению его лица Феодора поняла, что мысль, которой она сейчас поделилась с ним, ему отлично знакома.

И еще она как будто только в этот момент заметила, что он выглядит усталым. К нему приходили женщины и мужчины, стар и млад, и он пытался всем дать веру в то, что в жестоком мире они не одиноки. Он принимал на себя груз их тревог, и этот груз с каждым днем становилось нести все тяжелее. Постепенно усталость разделяла жизнь его души надвое. То, что было видимо для окружающих, жило в его улыбке, ласковом голосе, теплом рукопожатии. А невидимая жизнь его была горька, полна тяжких вздохов и жалоб несчастных, в этой жизни его душа немела и глохла, потому что чаша страданий людских, которые принимала она, переливалась через край — держать их в себе ей уже было невозможно, и хотелось отгородиться от них, чтобы хоть немного передохнуть.



Эта невидимая жизнь души Торвальда изредка выходила наружу, давала знать о себе хотя бы намеком в каких-то его словах и поступках. Поэтому для Феодоры не стало неожиданностью, когда она однажды услышала из его уст то, что он и сам не хотел бы знать.

В тот день они сидели на помосте перед домом, и Феодора заговорила о птицах, которые с чириканьем прыгали по двору.

«Было бы любопытно, — сказала она, — узнать, что говорят птицы».

«А ты думаешь, ты сама всегда понимаешь, что говоришь? — ответил Торвальд. Он прежде никогда не говорил с ней так резко. Тут же, впрочем, он, словно извиняясь, добавил: — Едва слова слетают с уст, они становятся как свертывающееся молоко или как запекающаяся кровь. Они превращаются во что-то совсем другое, нежели то, что им было уготовано».



Торвальд сделал долгую паузу и вдруг стал рассказывать о вольноотпущеннике Хоре, который помогал строить ему дом. Некоторое время назад Хор пришел к нему за советом. Он был бедняк, обремененный большой семьей, и решил разбогатеть на торговле. Он взял деньги взаймы у жившего на Подоле богача Глеба, купил струг, сходил на нем вверх по Десне, скупая воск и мед, а затем отплыл с купеческим караваном в Корсунь и продал там все за хорошую цену. Но когда он возвратился в Киев, Глеб солгал, будто Хор занял у не-

го пять гривен, а не три, и вдобавок потребовал двадцать кун пени с каждой гривны, потому что, как он сказал, Хор запоздал с уплатой долга. Хор не добился правды на вече, потому что Глеб нанял лжесвидетелей, которые поклялись, что видели, как они ударили по рукам. Так Хор оказался на грани того, чтобы лишиться всего имущества, а вместе с ним, возможно, и свободы.

«Что ты ему посоветовал?» — спросила Феодора.

«Я не искушен в законах, — сказал Торвальд. — Я посоветовал ему изложить дело самому Владимиру, как только князь в следующий раз откроет двери своей гридницы, и попросил нашего друга Торстейна помочь Хору в этом. Владимир ведь часто приходит на выручку тем, кто попадает в лапы ростовщиков. Так и вышло: князь разгневался на Глеба и решил дело в пользу Хора».

«И этим все закончилось?» — спросила Феодора, хотя уже понимала, что все было иначе.

«Когда Глеб услышал этот приговор, он поклялся, что никогда не уступит презренному рабу. На следующую ночь в дом Хора, что здесь, на берегу, ворвались люди Глеба, самого Хора убили, а жену его изнасиловали. После этого Глеб бежал в Туров, где он может рассчитывать на защиту Святополка».

Тут они оба замолчали.

«Хор последовал моим советам — и теперь он мертв», — сказал Торвальд.

«В этом нет твоей вины, — сказала Феодора. — Что еще ты мог сделать?»

Торвальд сидел, повесив голову, смотрел прямо перед собой, но ничего не видел. Случай Хора был примером того, куда могут привести благие намерения. Несправедливость побороли, но она тотчас отомстила с дьявольским коварством. Торвальд был невиновен, но был уверен все-таки в обратном.

«Они приходят ко мне, — сказал Торвальд, не поднимая головы, — они приходят ко мне со своими заботами и горестями, и я не могу отказать им. Они хотят переложить на меня свое бремя, а я пытаюсь доказать им, что, хотя каждый из них меньше песчинки, мир создан именно для них. Они хотят добрых советов в своих бедствиях, а я уже научен, что

мои советы могут их погубить. Они просят отогнать от них злые соблазны, а не хотят понять, что они сами гонятся за соблазнами. Они хотят, чтобы я приворожил к ним счастье, как будто чудеса сами растут у меня в огороде. Они смотрят на меня снизу вверх, как на святого и подвижника. А потом бегут к отцу Ферапонту и говорят про меня, что я плюю на законы. Они не получают от меня того, о чем молятся — обильного урожая, богатой невесты для сына или что-то там еще, — и делают вывод, что я не слишком усерден в молитве, и, значит, надо искать другого заступника перед Богом. Они хотят наверняка знать, настолько ли велик их грех, и получить точное указание, что бы такое совершить ради избавления от адских мук. Они хотят, чтобы я взял их поступки, взвесил, отмерил и указал им, где будет их место в том мире, который грядет. Я спрашиваю одного из них: “Я разве Бог?” Я говорю другому: “С Богом не торгуются”. Я толкую третьему: “Что мне сказать тебе о рае — тебе, желающему самому решать, кто будет там сидеть с тобой за одним столом?” Я укоряю четвертого: “Ты желаешь, чтобы мир крутился вокруг тебя”. А им не нравится, и они говорят: “Ты не отвечаешь на заданный вопрос. Твое учение темное”».



Надо признать, не все, что говорил Торвальд, было мудрым, а некоторые из этих слов уж точно вложил ему в уста бес гордыни. По сравнению с Ферапонтом к нему приходило людей все меньше; большинство отказывались производить непростую перестройку своей души, чего требовал Торвальд, — этому большинству легче было следовать строгим предписаниям Ферапонта и его учеников, которые всегда четко знали, какая епитимья полагается за каждый грех, каждый проступок, каждое сомнение. Торвальду было обидно, что люди, которые прежде верили ему, теперь получали камни вместо хлеба. В этом — тут уж постарался бес гордыни — он видел посягательство на свою честь. Никто не хочет мириться с тем, что его отвергают. Каждый взрослый человек — в чем-то ребенок, даже если он много прожил и умудрен опытом, — никогда еще Феодора не видела столь очевидного подтверждения этой простой мысли.



«Никто не приходит и не спрашивает меня, о чем я думаю, никто не спрашивает меня, чему я верю», — сказал Торвальд

и был несправедлив — разве Феодора не сидела с ним, не слушала его, не говорила с ним?

Она встала, обняла его голову обеими руками, пригладила его волосы своими сильными пальцами. Он прижался щекой к ее животу.

«Я буду спрашивать тебя обо всем, друг мой», — сказала она.

«Я ничего не боюсь, — сказал он. — Но я очень устал».

Это она понимала даже лучше, чем он сам.

Любовь не поразила их как пущенная с тетивы стрела, не обрушилась на них как разбойник из засады. Больше всего это напоминало то, как если бы ярким светом осветили темную долину.

Солнце клонилось к закату. Но их собственное солнце взошло, и свет его рассекал мрак. Торвальд встал на ноги, и они поцеловались, не сказав ни единого слова. Помост под их ногами скрипел, цветущий куст сирени распространял вокруг свой аромат. Они вошли в дом; там было темно; дрова в печке потрескивали; два голубя ворковали на крыше; листва в саду дрожала под вечерним ветром. У ложа Торвальда их руки снова встретились; через мгновение они оба были наги и не стыдились друг друга.

Глава 40

Хвала любви

Они заключили друг друга в объятия. Дух, призванный сопровождать нашу историю, уже давно знал, чем пахнет дело, и не собирался это скрывать. Он был ко всему готов. И все же его обуяло удивление, а вместе с тем радость и страх. Он хочет, чтобы Торвальду и Феодоре было хорошо, и все же ему боязно за них, ведь он знает, что любящий беззащитен и рискует больше, чем прежде.

Нет ничего естественнее, чем когда мужчина и женщина склоняют свои сердца друг к другу. Когда любовники ложатся под старое доброе Древо познания и становятся единой плотью с немым напором и красноречивой ласковостью, им

не нужны свидетели, они самодостаточны. Объятья — нелепая вещь, если смотреть на них со стороны, а вместе с тем они восхитительно благородны в своей искренности и щедрости тех двоих, которые их достойны. Но когда мужчина и женщина предаются объятьям, они не одни. С ними вместе желание и порок, забота и вожделение, ласковость и жестокость, высокомерие и радость, властолюбие и смирение — если перечислять все, то список выйдет весьма длинный. И смотря по тому, какова эта свита, которую каждый выбирает себе на любовном свидании, он (или она) оказывается достойным или недостойным самого лучшего. Над ложем влюбленных летают ангелы, а вокруг него пляшут черти. Они беснуются и с насмешками указывают на ту плоть, которую следует скрывать, и призывают нас разглядывать ее, да еще куражатся: тереться такими маленькими кусочками плоти, да еще с такой возней, вот уж суетное занятие! Но ангелы знают: надо быть глупцом, чтобы, видя, как палец касается струны, полагать, что знаешь, как рождается величественное чудо созвучий?



Редко когда проходит много времени, прежде чем любви начинает угрожать опасность, но пока она еще не пришла — что происходит тогда? То, что и событиями-то назвать нельзя. Она послала мне весточку вчера. Он ждал меня у ворот сегодня. Она гладила мою бороду. Он уткнулся носом мне в ухо. Мы спустились к реке, и она укрыла меня своими волосами. Он решил показать мне, какой он сильный, и нес меня на руках в горку.



То, что увидят другие, если им случится подсмотреть, даже не стоит запоминания, ведь изменились именно *они*, и именно *они* видят иное небо и иную землю. Он видит все гораздо яснее, когда смотрит сквозь ее волосы. Весь мир ей кажется куда ярче, когда она смотрит только в его глаза.

Они сидели под Древом жизни, пили живую воду и не ведали ни старости, ни юности. Он радовался, когда она приходила к нему, как ребенок, и точно так же она была юной девой, едва вышедшей из отцовского дома и обретшей опору под его защитой. Они не отдавали себе отчета в том, что лес желтел, а зеленая трава бледнела от заморозков. Во всех ве-

цах были красота и свет. Мир был бесконечно велик, и все же он весь был с ними.

Они и сами были как два мира, и все же вряд ли могли бы существовать отдельно друг от друга. Он был ею, она — им, и все в их мире было важным, значительным, запоминающимся.

Линии на его ладони сошлись под указательным пальцем, и в их очертаниях она увидела плывущий корабль: «Позволь мне подняться к тебе на борт, друг!»

«Скажу тебе честно, Феодора: такого большого величественного носа, как у тебя, не сыщешь во всем Миклагарде!»

«Разве ты не видишь, осел ты исландский, что ему место совсем на другом лице, он ужасно крупный, мой брат говорил, за ним можно спрятаться».

«Что за глупости, женщина! Этот нос просто не выживет ни в каком другом месте».

«Я уверена, ни у одного епископа нет такой почтенной бороды, как у тебя».

«Что ты, что ты, она же как свалявшаяся шерсть на старом баране!»

«Мне приснился сон. Мне снилось, будто я варю тебе кашу, а она жидкая-жидкая и безвкусная, и насытиться ею нельзя, и тогда я взяла нож, отрезала от твоей бороды кусочек и положила в кашу».

«Милая, ты ни на кого не похожа, ты словно лилия среди терний».

«Ты хочешь, чтобы я назвала тебя в ответ яблоней среди деревьев лесных или башней из слоновой кости со смарагдами, но я не сделаю этого ради тебя!»

«Феодора, твои волосы — серебряная гривна, твои глаза — как армянские самоцветы, сияющие в ночи всем тем светом, который вобрали в себя, пока солнце стояло в небе, твои зубы — жемчужное ожерелье, с твоих уст стекает мед сладостной мудрости, твои груди — холмы с яблонями в цвету, твой живот...»

«Ворох пшеницы, обставленный лилиями?»

«Твой живот — нагретая солнцем волна, ласкающая берег, твои чресла — крепостная стена...»

«А ты думаешь, у тебя есть ключ от этой крепости? Нет, не говори больше ничего, а то сравнишь меня с кобылицей в колеснице фараона!»

Они не могли вдосталь наговориться. Они явно слишком долго молчали, и теперь слова струились, подобно разливавшемуся Днепру, неся с собой все: торжественность, смех и мудрость, знающую, что никакие слова не способны передать, что они стали одним целым.

Если страх — скала, то я — молот, который сокрушит ее.
 Если горе — огонь, то ты — море, которое поглотит его.
 Бодрствуй со мной в этот час, и мы всегда пребудем.
 В наиглубочайшей глуби живет сладость.
 На наивысочайших высотах живет свет.
 А между ними живем мы.



У них все было так, как они желали. Все шло им на пользу, любовь была победоносна, она покоряла мир, сворачивала каждый камень, подлезала под каждый корень, питалась всем, что видела, слышала, ощущала. Она питалась и разлукой, и близостью, и усталостью, и бодростью, и пением, и молчанием, и молитвой. «Да будет воля твоя: не как я хочу, а как хочешь ты» — такой договор они заключили, но он не был оформлен в слова, это было не нужно, они и так знали о нем, спали ли они или бодрствовали.

Не произошло ничего, о чем бы знал, кроме них, кто-то другой. Они узрели новое небо и новую землю и создали сами себе другую жизнь. Они назначали друг другу свидания в минувших годах, они всегда мечтали об этом — с тех самых пор, как Феодора услышала разговор Торвальда со скорбящей матерью, с тех пор, как Торстейн пригласил его в ее дом, с тех пор, как он отправился прочь из пустыни, с тех пор, как он блуждал по Константинополю, с тех пор, как Феодора рассказала ему о святых иконах в своем доме, прежде чем он отправился на юг. Феодоре даже пришло на ум спросить хотя бы полушутя: «Не я ли та женщина, которую ты видел в брызгах над водопадом, в детстве в Исландии?» Но она не поддавалась такому соблазну.



Глава 41

Препятствия

От сказанного выше может сложиться впечатление, будто Торвальд с Феодорой были вместе все время, но это не так. Любовь умеет многое, именно благодаря ей влюбленные вмиг постигают все, что было и будет, и порой проживают целую вечность за один день. Питая уважение к любви, Дух истории объединил всю радость влюбленных в одно празднество, проигнорировав то, какими разными бывали дни. Он не стал приглашать за их пиршественный стол тревогу, а также все препятствия на их пути. Всему свое время: время радоваться и время защищать свою радость.

Феодора очень мало говорила о своем муже Ингваре, а Торвальд никогда не расспрашивал о нем. Где он и что с ним, не было достойных доверия новостей. Добрался ли он до Бьярмаланда с отрядом варягов из дружины Святополка? Там великий мрак и сильный мороз, народы дикие, нрав у них крутой, и ели они человечину; оттуда некоторые возвращались, обогатившись на мехах, а другие пропадали без вести. Но где бы сейчас ни был Ингвар, он был мечом, висящим над Феодорой, его законной женой, и Торвальдом. Его сестра Анна ждала хоть какой-нибудь вести, которая позволит ей наступить золовке на горло. Узнай она о Торвальде, ей ничего не стоило бы подстрекнуть родичей и приятелей убить его, если она решит не откладывать месть до того момента, пока не приплывет брат, полный гнева. Не забывали Торвальд и Феодора и о злобном Ферапонте, который рассказывал всем подряд, что ересь и легкомыслие Торвальда не доведут его до добра. Ферапонт, конечно же, тоже не должен был ничего знать об их отношениях.

Они почти не говорили об опасностях: зачем обращать слова и мысли на то, что и так неизбежно? Но они понимали, что в глазах мира виновны, и потому были во всем осторожны. Когда Феодора собиралась на свидание к Торвальду, она выходила из дома в голубом плаще и при очелье, но несла с собой в котомке серый бедняцкий балахон с капю-

шоном и, улучив момент, набрасывала поверх своей одежды. Торвальд залатал свой до дыр протертый балахон, который носил во время странствий, и выходил встречать ее в нем; они казались парой бродяг, двумя нищими вольноотпущенниками, идущими в лес по грибы или по ягоды или издалека пришедшими паломниками. Лес, трава и холмы приглашали их к себе, и с первых весенних дней до осени они редко встречались дома у Торвальда — ведь туда в самый неподходящий момент могли нагрязнуть гости. Правда, в городе прибавилось людей, называвших себя старцами и желавших быть пастырями душ, и слава Торвальда стала меньше, чем когда он только что прибыл в Киев, но до сих пор находились желающие принести ему свои беды. Вольноотпущенник Феодора сопровождал ее в этих прогулках и стоял на страже их любви. Кроме того, он передавал между ними послания. Но он был не единственным их связным. Они посвятили в свою тайну Торстейна Жуть. Он тоже передавал им вести друг от друга: или сам, или посылал к Торвальду своего слугу, веля передать слова, значения которых гонец не понимал.

«Две белки между камнем и деревом», — повторял гонец по дороге в Яр, боясь забыть, как ему казалось, бессмыслицу. Это означало, что Феодора придет через два дня в тот час, когда тень от большого дуба достигнет палевого камня, лежащего чуть к северу от лощины.

«Все стало шиворот-навыворот, — говорил Торстейн, морща нос, — я вожу к тебе женщину, а сам в стороне от такого развлечения! — При этом он делал вид, будто не понимает, зачем Торвальд пустился в такие сложности, заведя отношения с замужней женщиной. — Разве они под одеждой не все одинаковые? — спрашивал Торстейн. — В темноте-то все кошки серы».

«Так кажется только тому, кто сидит в темноте», — ответил Торвальд.

Но, по правде говоря, Торстейн больше обрадовался влюбленности Торвальда, чем прежде — его святости. Он чувствовал, что друг стал ему ближе. Существует поговорка: «У кого есть брат, у того и тылы защищены», а он как раз и был Торвальду тем самым братом. Когда стало холодать, Торстейн предложил им с Феодорой встречаться в бревен-



чатом доме, который купил для себя недалеко от Северных ворот. А пока они там проводили время, он сам прогуливался на Подоле и рассказывал молодым варягам, отправляющимся на юг, как он одним ударом снес три башки близ Сулы... Или — он сам уже порой путался — это было на войне с хорватами?

Когда трудности приходят извне, влюбленные часто заранее к ним готовы, ибо знают, какого зла следует ожидать и что надо предпринять, чтобы избежать опасности. Но есть опасность, рождающаяся внутри человека. Ведь любящий подобен отшельнику: не успеет он одолеть одного демона, как другой поднимает свою тюленью голову.

Иначе откуда бы мог взяться вопрос, который Торвальд однажды задал Феодоре:

«Кто ты? Откуда ты?»

«Ты прекрасно знаешь, кто я, Торвальд!»

«Ты, — сказал он, — как глиняный светильник у моей кровати: он как будто всегда висел на стене, и в нем как будто всегда горел огонь. И все же я никогда не узнаю, кто ты. Я знаю, ты ничего от меня не скрываешь, но я не могу знать всего, о чем ты думаешь».

«Глупый ты мой! — сказала Феодора и погладила его по голове. — Разве я не могу сказать о тебе то же самое? Невозможно узнать все, да и где бы ты все это хранил?»

Она, конечно, была права, но сказанного оказалось недостаточно. Когда Торвальд жаловался, что не полностью знает Феодору, под этими словами таилось сожаление: «Мне никогда не выяснить, что ты на самом деле думаешь обо мне!» Отчасти это простое любопытство — ведь демон любопытства тоже никогда не оставляет влюбленных. В стремлении знать все друг о друге влюбленные порой пытаются бесцеремонно присвоить себе и прошлое друг друга, и весь его или ее жизненный опыт, но при этом, бывает, сомневаются во владении настоящим. О чем говорил Торвальд с красавицей княгиней Рогнедой, женой Изяслава, которая приходила к нему вчера? Что хотел предводитель дружины Аскольд, когда пришел к Феодоре под предлогом, что хочет попросить ее сшить свадебный наряд для его дочери?

И бывает так, что демон любопытства, вдоволь натешившись, передает эстафету своей сестре по имени Ревность.

Именно она делает каждого человека мельче, чем его хочет видеть Любовь.

«Ты здесь, милая, — сказал он и осторожно поцеловал ее в глаза. — Где ты была, Феодора, почему ты все время не была здесь?»

«Тебе тогда не было бы так важно, что я здесь, если бы я не уходила, — сказала она. — Моя мать порой пела старую песню, которая, по-моему, нигде не записана в книгах. В ней говорится:

Я все еще влюблена,
Снова в первый раз,
Снова на всю жизнь».

У Торвальда так и завертелось на языке: «Тогда расскажи мне о том, как была влюблена в первый раз!» Но он заставил себя промолчать.

«Любовь моя, — думал он, — закрой свою книгу, облей страницы водой, чтобы они слиплись, и их стало невозможно прочитать снова!»

Феодоре тоже был знаком бес ревности, но она легко умирjala его простой мыслью, что с другими Торвальд был совсем не таким, как с ней; в этом она была уверена. Но зато ее часто посещал бесенок, который не кажется страшным, но может причинять много неприятностей.

«Все, что происходит между нами, слишком хорошо, чтобы быть правдой», — говорила она.

«Хорошему с правдой по пути», — отвечал Торвальд.

Увы, она в этом как раз сомневалась! Кто молод годами, тому легко поверить, что рай влюбленных простоят века. Кто знает больше, того терзают подозрения, что страсть охладеет, что все станет привычным, что празднество сменится скукой и настанет час, когда один из влюбленных спросит: «Почему я все еще тут? Из-за того, что не хочу обидеть тебя и жду, пока ты обидишь меня?» Не наступит ли момент, когда оба они решат, что засиделись на праздничном пиру, встанут из-за стола и распрощаются как ни в чем не бывало? К счастью для Торвальда, он не знал об этой угрозе: в любви он был еще младенцем.

Впрочем, у любви против всех бесов есть защита. И любые сомнения она использует, чтобы лучше отточить свои



оружие. Возможно, Торвальд и Феодора порой лишь играли и дразнили демонов, чтобы полнее ощущать свое счастье. Даже ревность можно оправдать, она возвеличивает того, к кому обращена любовь, делает его или ее ценнее и важнее всех, не похожим на других.

«Ты — единственная женщина в мире», — говорил он.

«Ты не сможешь позабыть меня, как светильник над тобой кроватью!» — говорила она.

«Я так благодарен Богу, что ты есть, — говорил он. — Ты даешь мне все».

«Ты — лучший дар Бога», — говорила она.

Любви сопутствуют трудности и опасности, но пока еще никто не жаловался, что узнал ее; ведь без нее никто не ведет, кто он есть.

«Наша радость возвратится снова и снова», — говорили они.

Они были благодарны Богу в своей радости, и поэтому бесы не победили их.

Однажды вечером, когда отец Ферапонт шел в свою пещеру, он услышал голоса. Он узнал голос Торвальда, который разговаривал с женщиной; из их разговора он разобрал лишь отдельные слова, но этого было достаточно, чтобы понять, что этих двоих связывает не простое приятельство или дружба. Ферапонт пошел на голос, под его ногами захрустели сучки, но они этого не услышали. Он заглянул за большой дуб, нависавший над склоном, и увидел Торвальда и женщину в балахоне. Они сидели к нему спинами, и Ферапонт не узнал Феодору, тем более в такой одежде. Неужели Торвальд возлег с нищенкой? Но нет: он увидел, как из-под балахона высовываются белые рукава — под балахоном скрывалась дорогая одежда. Женщина обняла Торвальда за шею и поцеловала его на прощание. Затем они разошлись.

Ферапонт остался стоять, радуясь победе. Он был прав, он знал, что именно этим все кончится! Кто сеет сорняки, пожнет грех. Кто сеет легкомыслие, пожнет разврат. Торвальд упадет, и падение его будет глубоко.

Он решил, что рано или поздно выяснит, кто эта женщина, которая тайком ходит к Торвальду.

Глава 42

Мой Бог — твой Бог?

Но могли ли Торвальд благодарить Господа за Феодору, даже если она была для него отрадой, а он для нее радостью, даже если само ее имя означало «Божий дар»? Он не забыл, как Фридрих говорил, что каждый, кто хочет сломать хребет злу, должен идти в этом до конца, а прежде всего обязан разорвать те узы, которые завязаны с наибольшей лаской. Теперь же его убаюкивала как мягкая перина любовь к женщине, и с нею пришел соблазн почитать творение прежде Творца, а это — начало всех остальных грехов. Не для того старец Симон вытащил его из постели константинопольской потаскухи, чтобы он возжелал — и не просто женщину, а жену ближнего своего! Отшельник Маркос благословлял искушения, встречал их с распростертыми объятиями, но они служили ему для того, чтобы перебарывать их и вновь отсылать дьяволу с победными кличами, а вовсе не для того, чтобы покоряться им.

Он жил, как и прежде: благодарил Господа за каждый день, возделывал свой сад, выслушивал горести тех, кто обращался к нему, собирал мед, писал книги, любил Феодору.

«Смотри, — говорил он ей, — ночь прошла, новый день взшел. Мы не похожи на других, иначе для нас не было бы причины существовать. Человек — как ковчег в бушующем море, и когда высокие горы скрываются под водой, и неясно, куда плыть, и волны яростно хлещут через оба борта, тогда каждому необходимо прежде всего следить, чтобы его ковчег был хорошо просмолен верой как снаружи, так и внутри. Мир над нами и вокруг нас полон чудес, но вместе с тем полон зла и несправедливости — так оно было прежде, так оно есть и теперь. Страдания этого мира так велики, что умаляют все хорошее, что касается только нас самих. Неверно, Феодора, не думать о чужом горе, ибо так мы создаем своей душе фальшивое спокойствие».

«Я согласна с тобой, Торвальд; у меня не выходит из головы пожар, уничтоживший самые бедные дома на Подоле: трое младенцев сгорели заживо и две матери обгорели



чуть ли не до смерти, пытаюсь спасти своих детей, — а все же солнце светит, и люди идут по своим делам, как будто ничего не случилось, хотя это произошло всего лишь на прошлой неделе. Я этого не понимаю».

«Я тоже», — сказал он.

«В одной старинной повести говорится, — сказала Феодора, — как богиня любви послала одному юноше такое несчастье, что в него пылко влюбилась его собственная мачеха. А сам он почитал другую богиню, и когда он обратился к ней за помощью, она сказала: “У нас, у богов, закон такой, что никто не препятствует тому, что уже решено другим богом”. Я подумала, что те, кто верит во многих богов, лучше нас способны объяснить жестокость, жертвами которой оказываются те, кто не заслужил ее».

«На первый взгляд оно так, — согласился Торвальд. — И все же те боги, о которых ты говоришь, — это всего-навсего могущественные правители, которые играют людьми как куклами и следуют правилам, считаются с которыми нужно лишь им одним. Единый истинный Бог, — продолжал он, — все держит в Своей руке, без Него справедливость не возгоржествует».

«Но Его справедливость, — сказала Феодора, — непостижима. Эти невинные дети, которые сгорели, и их матери...»

«Знаю, — сказал Торвальд, — как я могу забыть их? Но верить — значит каждый день смиряться с тем, что Бог непостижим».

«Но я не смиряюсь с этим, — сказала Феодора. — Я не принимаю таких условий, я ничего не могу с собой поделать, просто не хочу».

«Это я понимаю, — сказал Торвальд. — Если ты гневаешься на Бога, то Он это непременно услышит. Но любому тяжело жить в гневе. Молись, и тогда твой гнев пройдет».

«О чем молиться? — спросила она. — Помнишь всех тех, кто приходил к тебе и спрашивал: “Отчего моя молитва не была услышана? Разве мы не умеем молиться?” А потом они просили тебя помолиться за них: “Попроси, чтобы мой корабль пришел, найди потерянное кольцо, вызови дождь или солнце, найди покупателя на воск и мед...”».

«Я, — сказал Торвальд, — мог попытаться избавить их от страха, что все пойдет не так, как они просили. Больше я,

видимо, ничего не мог сделать. Но это все-таки лучше, чем ничего».

«А что такое “услышать молитву”? — спросила Феодора. — Я не молилась с тех пор, как умер мой маленький брат, о чем мне было молиться, если он не мог жить дальше?»

«Если ты молишься, — сказал Торвальд, — то начинаешь лучше понимать, кто ты и чего желаешь больше всего. А вместе с тем ты начинаешь лучше помнить обо всех, кому, как тебе кажется, нужна поддержка, да и, возможно, немного везения, чтобы с ними не случилось ничего плохого, и ты не пройдешь мимо них в следующий раз, когда увидишь их».

«Я и верю, и не верю... — сказала Феодора. — Вера может менять человека по-разному. Не забывай отца Ферапонта».

«Во зло можно обратить все что угодно, — сказал Торвальд. — Или во благо. В самом ли деле каждый должен возлюбить ближнего своего?»

«Христос пришел в мир тысячу лет назад, — сказала Феодора. — Почему же люди сейчас не лучше, чем тогда?»

«Лучше спроси, почему они не стали гораздо хуже, — сказал Торвальд. — Когда я был молодым и нетерпеливым, я мечтал: вот выйду я к народу, скажу веские слова, и весь мой народ как по мановению руки падет ниц, увидит новый свет и воздаст мне хвалу. Я был полон высокомерия и говорил так, будто мне дана вся власть и вся мудрость: если не прямо сейчас, то завтра. Теперь я знаю только то, что моя сила мала. Страдание преследует каждый шаг человека, и разгадка его тайны дается не сразу. Есть только одно средство совладать с ним: помогать нести бремя друг другу».

«Но тебе все время кажется, что ты несешь слишком мало, — сказала Феодора. — И ты никому не даешь понести твое бремя».

«Кто боится страдания, — сказал Торвальд, — делает себя меньше, чем ему уготовано быть».

«Тебе кажется, что ты кругом виноват, — сказала Феодора, — лишь по той причине, что ты недостаточно страдаешь. Тебе кажется предосудительным, что мы можем быть счастливы вместе, в то время как мир корчится в муках».

«Я этого не говорил», — сказал Торвальд и удивленно посмотрел на нее.



«Да, — ответила она, — но я это знаю. Ты веришь страданию больше, чем собственному счастью. Можно ли быть виновным в любви?» — спросила она.

Они сидели на лавке на помосте; она правильно спросила, правильно угадала, любовь придала ей чуткости. Она знала много такого, о чем он не говорил вслух, считывала с его лица, видела в его глазах; он касался ее так, словно она — чаша из хрупкого стекла, словно он не верил, что она все еще рядом с ним.

Им следовало опасаться окружающих, но Торвальд не придавал этому значения; он отрицал чье-либо право судить их. Он любил и не желал признаться самому себе в том, что нарушает Божеские законы. Не было такого, чтобы он возжелал жены ближнего своего, потому что ему и в голову не приходило, что Ингвар обладает Феодорой; для нее он был мертв, он не существовал, хотя в любой момент мог вернуться в Киев. Разве сам Христос не предпочел нарушить все законы, дабы не допустить, чтобы законы раздавили людские сердца?

«Я видел сон, — сказал он и обнял Феодору; легкий ветерок играл в ее волосах. — Мне приснилось, что ко мне пришла женщина, может быть, та, из ущелья. Но больше всего она была похожа на Богородицу с одной иконы в Константинополе, лишь Ей одной я в трудную минуту мог рассказать, каково мне. Она не называла меня по имени, лицо ее было печально, она посмотрела на меня с упреком, а потом сказала строго: “Давно ты не обращался ко мне. Тебе больше нечего мне доверить?”»

«А ты что ответил?» — спросила Феодора.

«Я хочу, чтобы ты была со мной», — ответил он.

Но он рассказал Феодоре не весь сон. Это правда, он ответил женщине из сна такими словами: «Я хочу, чтобы ты была со мной». На это она улыбнулась и сказала: «Просто ты хочешь, чтобы помощь всегда была у тебя под рукой». А еще они говорили о Феодоре, и он сказал: «Я нужен ей». — «Лучше признайся, — сказала женщина из сна, — что это тебе нужна она. Все, что ты делаешь, ты делаешь ради себя». Он склонил голову: Пречистая была права. Он сам осознавал это, даже во сне, хотя старался скрыть от себя это знание.

Глава 43

Для чистых все чисто

Феодора не признавала за Торвальдом никакой вины. Да и можно ли быть виновным в том, что ты счастлив?

«Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает»*, — сказала она.

Они лежали бок о бок на ее плаще, укрывшись его балахоном, их ложе было зеленым и мягким, кроны деревьев склонялись перед ними под легким ветерком, белка, перелетавшая с ветки на ветку, все знала о них. Он подпер голову рукой и посмотрел на нее весело.

«Берегись апостола Павла, — сказал он. — Он велел женщинам молчать в собраниях».

Он взял длинную травинку и легонько провел по ее векам.

«Я отправляюсь в далекий путь», — сказал он и медленно-медленно повел травинку по ее носу. Она поморщилась и оттолкнула его руку.

«Блаженна та, чей нос оставляют в покое», — сказала она, взяла его за бороду, притянула его к себе и поцеловала.

«А еще апостол Павел говорит, — сказал он, — что мужчинам лучше не касаться женщины».

«Все мне позволительно...», — сказала она.

«...Но не все полезно», — завершил он.

Оба рассмеялись. На первый взгляд разговор их был легковесен, это была игра, но за ней скрывалось нечто, что придавало их словам иной, куда более серьезный оттенок.

«Как мог Павел сказать такую глупость, что не надо касаться женщины?» — продолжала она.

«Не все полезно, — повторил он. — Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною**».

«Огонь любви есть Господень огонь, не правда ли? — сказала она. — Он создал нас такими, какие мы есть, и это хорошо весьма, — я для тебя, ты для меня. Мы как части одного тела, и хотя не у всех частей работа одинакова, каждая делает то, на что лучше способна».

* Рим. XIV, 22.

** 1 Кор. VI, 12.



«У каждой части тела работа не только одна, — сказал он. — Руками можно и перерезать человеку глотку, и жать колоды».

«Или ласкать меня, — сказала она. — Любовь не делает ближнему зла*».

Любовь, эта колдовская сила, переносила их в другой мир, поднимала к небесной выси, изгоняла из их жизни тревогу, устраняла, казалось, все возникавшие перед ними препятствия. И трудно им было удержаться, чтобы не задаться вопросом: «А делает ли вера то же самое?» И значит, было самое время Торвальду Страннику освежить в памяти слова Писания о том, что человек — священный дом Божий, а его тело — храм Духа Святого**? И никакие слова не были сейчас так ценны для него, как эти: «Для чистых все чисто»***.

Для чистых все чисто — это означает, что один и тот же поступок не имеет постоянного места в вечности. Он и свят, и не свят, он и грех, и высшее служение, а может, ни то и ни другое. Объятия — это победа любви, богослужение в храме тела. Но также они могли быть и западней, улавливающей человека и стаскивающей его в черную зловонную яму, — кому было не знать этого, как Торвальду, которому был не ведом третий выбор: объявления безгрешные, но оскверненные привычкой? То, что происходило на ложе константинопольской потаскухи, где яростно визжали бесы, не имело ничего общего с чудом, бывшим между ним и Феодорой.

Для чистых все чисто — но только если в чистом человеке живет дух, который делает святым все, к чему только прикоснется, на что только подует. Понимание этого к каждому приходит по-своему, и потому оно всегда ново. Сколько их было до и после Торвальда — тех, кто искал Дух Святой в самом себе и своих деяниях? Идущий этим путем не знает, что произойдет с ним, и поэтому он сильно рискует. Вполне вероятно, что он угодит в темную пещеру, из которой не найдет выхода. Но Торвальд не мог знать о такой опасности, он был счастлив в своей блаженной слепоте, он верил, что на-

* Рим. XIII, 10.

** См.: 1 Кор. VI, 19: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога...»

*** Тит I, 15.

шел для себя тропу, идя по которой можно преодолеть пропасть между плотью и духом, мимолетным и вечным, святым и мирским. Если бы кто-нибудь шепнул ему, что он пересоздает Бога по своему образу и подобию, он бы не захотел понять этих слов.

«В древности, — говорил, он обнимая Феодору, — когда возникли небо и земля, искры Божественного света упали сверху и обосновались во всех вещах. Мы их не видим, мы считаем многое низким и презренным. Мы не знаем, что священные искры скрыты в каждой вещи, они будут находиться там в плену до тех пор, пока человек не впустит в себя святость, дабы наслаждаться ее светлой мудростью и спасти все вокруг себя — камни и дерево, еду и питье, дома и корабли, зверей и людей. Хвала Господу, ибо это в наших руках!»

Феодора знала, что он говорит о них, об их любви.

«Мне приснилось, — сказала она, — что я вышла на улицу, а там ярко светит солнце и тепло, хотя все покрыто снегом. В снегу лежали красные и синие кони и улыбались друг другу, как люди, и очень любезно говорили друг с другом. Но, к сожалению, я не понимала их языка».

Она не поняла этого сна, и он тоже, но оба ему обрадовались. Ее сны, казалось им, были как радостная весть — только они не могли распознать, в чем она состоит. Сны Торвальда были иного рода, его молчаливые опасения и невысказанные желания отражались в них так, что ошибиться в разгадке было сложно.

Ей снились синие и красные кони, беседующие на белом снегу. Ему приснилось, что к нему вновь явилась женщина, и сомнения быть не могло: это была Богоматерь с византийской иконы; Она была печальна, но исполнена теплой доброжелательности. Богоматерь подняла руку, словно указывая на Феодору, и сказала: «Торвальд, береги ее!»

Торвальд поверил этому сну и обрадовался; ему не надо было толковать его; он, уговаривавший других не молиться о знамениях и чудесах, получил знак, достаточный, чтобы понять, что все у них будет хорошо. Но Феодора, когда Торвальд пересказал ей этот сон, заметила другое: они получили предупреждение.



Глава 44

Не к добру

Некий человек поднялся на холм, и тут пролетел над ним Орел, неся в когтях лисицу. Лисица извивалась, разевая пасть, и наконец вцепилась зубами орлу в грудь. Орел не выпустил добычу, его когти лишь сильнее вонзились в лису; он взлетал все выше и выше, пока у него не иссякли силы — и жизнь. Орел упал на камни за смертью, сжимая добычу в когтях; лиса разбилась насмерть, и вот — они оба лежали, сплетясь в агонии.

Молва об этом происшествии разнеслась по Киеву в то самое время, когда из Новгорода пришли недобрые вести: Ярослав, тот самый князь, которого Торвальд сопровождал в Византию, посаженный в Новгороде княжить Владимиром, отказался платить Киеву дань. А между тем ему было велено каждое лето присылать в Киев со своих владений две тысячи гривен, а тысячу оставлять на содержание своей дружины; такой порядок был заведен с тех самых пор, как Владимир подчинил все русские города Киеву.

Сборщики налогов, посланные к Ярославу, вернулись назад с пустыми руками, а хуже всего было то, что Ярослав отослал их, даже отказав им в разговоре. Новгородцы были рады: довольно уж Владимиру, говорили они, выколачивать из нас подати! Но радость глупца недолго длится: выяснилось, что, хоть Ярослав и отказался платить своему отцу, сам он по-прежнему строго взыскивал налоги в доставшихся ему владениях.

«Это можно понять, — объяснял Торстейн Жуть. — Ярислейв хочет пустить собранные деньги на то, чтобы нанять варягов в Швеции. Ведь он готовится к борьбе. Вальдимар не допустит, чтобы Хольмгард вышел у него из повиновения. Он пойдет с войском против Ярислейва, чтобы принудить его подчиниться».

«Идти с войском на Новгород далеко, — сказала Феодора. — А Владимир только что послал восемь тысяч людей на помощь Борису».

Борис Владимирович, князь Ростовский, подвергся в эту пору нападению печенегов, устроивших набег на поселения вблизи Сулы; они сожгли все, что могли, и увели в плен много людей. Своих бойцов у него было мало, так что пришлось обращаться за помощью к Киеву.

«Отец и сын будут биться друг с другом, родичи близкие в распрах погибнут*», — произнес Торвальд отрешенно.

«Вряд ли Вальдимар снесет Ярислейву голову, — сказал Торстейн Жуть; он не сомневался, кому из родичей достанется победа. — Но дальше будет хуже. Никто не знает, что замышляет Святополк, который сидит, раздувшийся от высокомерия, с большим войском в Турове. Даст ли он Вальдимару подкрепление? Или он будет ждать, пока орел не закогтит лисицу, а лисица не покусает орла до смерти, а потом придет и подчинит себе Киев, когда они оба истекнут кровью?»

Торвальд и Феодора, конечно, не знали ответов на эти вопросы; но ясно было, что грядут недобрые времена.

«Я всегда знал, — сказал Торстейн, — что зря Вальдимар посадил своих сыновей править каждый своим городом».

По городу понеслись слухи, словно огонь по сухой траве. Казалось, деревья и кустарники перешептывались, разнося сомнительные вести. Владимир отрядил людей расчистить путь в Новгород, Борис ждет у реки Альты, Ярослав послал в Швецию за варягами, Святополк отправил гонцов к Болеславу, польскому королю, своему тестю. Каждый верил тому, чему сам хотел, и никто не верил другим. Мир никогда не обрушивается на страну подобно шквалу, он день за днем проходит по шажочку, и доверие растет не быстрее деревьев в лесу, а войны и неурожаи падают подобно тьме ночной, стоит только дьяволу махнуть рукой. И вот уже закаляются булатные мечи, ладятся секиры на древки, на торгах исчезает мясо, рыба становится редкостью, поденщики не зарабатывают себе на хлеб, гордецы копят серебро, а бедняки, которые не могут прокормить своих дочерей, предлагают их воинам. По ночам на улицах слышатся крики и плач,



* Скрытая цитата из «Прорицания вёльвы», эпической песни, входящей в «Старшую Эдду» (цитируется в переводе А. И. Корсуна).

а кто полюбопытствует, что там творится, и выйдет за порог, больше домой не вернется.

«Один человек на Подоле, — рассказывала Феодора, — несколько дней назад потерял жену, а теперь продал троих детей работорговцу. А когда его спросили, зачем он совершил такое злое дело, он ответил: “Я не собираюсь ждать, что они продадут меня, когда достигнут для этого возраста и положения”».

Торвальд и Феодора мало интересовались новостями и едва ли замечали, что время течет. Но сейчас отовсюду веяло холодом, и для них мирные дни закончились, как и для всех остальных. Кто счастлив в любви, тот не хочет изменений в своей жизни, но в душе всегда знает, что рано или поздно это может закончиться. Он не желает об этом думать, но все равно опасается того, что настанет день, когда ему скажут: «Довольно ты поблаженствовал, хватит уже!» И тут не важно даже, считает ли он, как Торвальд, виновным себя уже потому, что счастлив; в любом случае человек догадывается, что запас счастья в мире ограничен. И он не может не задаваться вопросом: «Кто я такой, что пью его большими глотками?»

Но Торвальд и Феодора не поддались страху. Наоборот, они решили, что настало время думать не только о себе. Люди побогаче запирали двери на засовы, на голытьбу натравливали собак, у амбаров с зерном выставляли вооруженную стражу. Со двора Владимира голодных и убогих гнали взащей, чего раньше никогда не бывало даже в самые лихие времена.

У Торвальда было еды в избытке, у Феодоры было серебро; они ходили по лачугам на нижнем конце Подола и одаривали людей. Больше всего им хотелось бы делать это незаметно, но так получалось редко. Им приходилось принимать слишком шумную благодарность, слишком пышные благословения, а иногда встречать молчаливую ненависть от тех, кому они только что помогли, но кому все равно были заказаны пути к выживанию. Поодиночке или вместе они ходили из дома в дом, порой, если требовалось нести много поклажи, с ними ходил вольноотпущенник Феодоры. Они больше не говорили о Том, Кто правит всем и посылает свет и тьму правым и виноватым, им казалось, что они уже сказали друг другу о Нем все, что могли.

«Поутру я проснулся с сильной болью под ребрами, — как-то сказал Торвальд, когда возвращались с пустыми котомками. — Словно мучил меня, он что-то говорил мне, этот бес, но я ничего не понял».

«Упаси тебя Бог, — сказала Феодора, — ты сейчас не должен слечь больной».

«Ничего, пройдет, — сказал Торвальд. — Было бы неплохо, если б Господь послал мне чуть-чуть жизнерадостности. Помяни меня в своей молитве, а мне самому негоже упоминать в них такой пустяк».

«Если я за кого-то и молюсь, — сказала Феодора, — то за детей с Подола. Мы с тобой пожили на свете, мы и так знаем многое, что поможет нам выжить».

Торвальд охотно согласился с этим, тем более что они ни о чем и не спорили. Их разговор, в сущности, был ничем не примечателен. Но не бывает событий столь малозначащих, чтобы они не могли изменить мир: даже маленький камешек, упавший с высокой башни, убивает человека. Им случилось во время этого разговора проходить мимо человека, который сидел, наклонив голову, на камне близ Северных ворот. Это был отец Феропонт. Он узнал голос Торвальда, да и голос этой женщины он тоже слышал прежде. Он выглянул из-под капюшона и увидел, как они расстаются. Воистину, было бы справедливо наказать Торвальда, этого насмешника, который заводил невинных на неверный путь и высмеивал почтенных старцев. Воистину, было бы достойно и правильно, если бы все узнали, что этот Торвальд — не только лжец и обманщик, но и ханжа, и развратник, взявший в наложницы жену ближнего своего. Разве ему не правильно показалось, что Торвальд прощался с Феодорой, женой купца Игоря?

Он решил удостовериться в этом: поднялся с камня и пошел следом за женщиной, этой смердящей потаскухой, наложницей лжепророка и еретика Торвальда. Ошибки быть не могло: она вошла в дом купца Игоря, в двух шагах от Золотых ворот.



Глава 45

Святополк в Киеве

Киевская голытьба считала, что ее жестоко предали: где тот князь, который всех затмевал щедростью и обильной милостыней, где тот правитель, что открывал двери всякому?

Владимир тем временем уехал в летний дворец — Берестово, чтобы подготовиться к походу на Ярослава. Он точно знал, что нужно делать, но ему явно нездоровилось. Он был печален, не поднимал кубка со стола, не притрагивался к яствам, прогнал скоморохов и певцов. Сначала он по несколько часов в день советовался с боярами. Затем попросил тех двенадцать, что были ему ближе всех, совещаться без него: «Вы лучше меня знаете, что делать». Он не выходил из опочивальни, а к нему не разрешалось входить никому, кроме дочери Предславы. Неужели князь сильно занемог? Двенадцать бояр, которые мало доверяли друг другу, каждый день подолгу засиживались за длинным столом и, бесконечно обсуждая, усложняли происходящее. Каждый из них пытался втереться в доверие к Предславе и узнать, что с князем, но она повторяла одно и то же: «Отец молчит».

Четверо бояр из этих двенадцати тайно поддерживали связь со Святополком, который не был любимцем народа, как Борис, или доблестным воином, как Ярослав, но умел приобретать союзников с помощью подкупа или угроз. Эти люди первыми начали действовать: они послали к Святополку гонца, который день и ночь скакал в Туров. «Приходи скорее, — просили бояре, — твоему отцу недолго жить осталось». Трое других бояр хотели видеть на престоле Ярослава. Пятеро бояр надеялись, что, как бы Борис прежде ни отзвывался о своем княжении, он в нужный момент примет отцовское наследство. Наконец к ним вышла Предслава и сказала: «Отец зовет Бориса». Возможно, это было ее собственное решение, ведь никто не слышал, что сказал сам Владимир. Было же известно, что она боится Святополка и желает ему только зла.

И вот князь Владимир — распутный язычник и братоубийца, ловкий и смекалистый в общении с царями и императорами, бывалый военачальник, апостол Руси, щедрый к беднякам, справедливый в суде, великий храмостроитель — отдал Богу душу. Но никто не знал ничего наверняка. О том, что отец умер, Предслава сказала лишь двум боярам, которым больше всего доверяла. Тело славного князя не вынесли с пением и слезами, не перенесли с надлежащим почетом в церковь Богоматери в Киеве. Его завернули в полотно и спустили из окошка опочивальни ночью, тайно привезли в Киев, а потом положили в мраморный гроб, спрятанный под полом церкви. Неужели Предслава и ее друзья считали, что могут скрыть случившееся от Святополка? Запутать его? Они старались, как только могли, но каждое их действие оборачивалось против них. Они должны были бы знать, что у каждой двери и каждой стены в Берестове были глаза и уши, и каждый хотел оказаться в милости у того господина, к которому перейдет страна.

Святополк был всего лишь в дне пути от Киева, когда тело князя Владимира спрятали под полом в церкви Богоматери — Десятинной церкви. На следующее утро он въехал со свитой в город — и напрямик в церковь, где велел своим людям вынуть гроб Владимира, поставить у Царских врат и зажечь триста свечей; он призвал священников и велел им служить панихиду: «Упокой душу раба Твоего, Господи!» Тут же двух гонцов он послал к епископу Иоанну, снабдив каждого десятью гривнами золотом, и разослал во все концы из города множество всадников, кричавших: «Князь Владимир почил в Бозе!» И весь город всполошился, и все люди стали стекаться в Десятинную церковь, и было их не счесть: из Нижнего города и с Горы, с востока и с запада. Торвальд Странник, как и многие другие, дал увлечь себя этому бурному потоку.

Владимир с лицом белым, худощавым лежал в открытом мраморном гробу у Царских врат в тяжком аромате кадил, в свете многих свечей, над ним была большая икона Божией Матери Одигитрии, строгой Царицы Небесной с Младенцем на руках. Она благосклонно взирала на князя, давшего Ей эту церковь. Басовито пел хор. Все стремились протиснуться ближе к гробу. Народ валил валом во все двери,



в церкви была теснота, повсюду раздавался плач. Киевляне, забыв про смутное время на дворе, оплакивали друга и благодетеля: «Отец всем нам, зачем покинул ты нас, зачем мы остались одни, как же мы будем жить без тебя?»

Толпа носила Торвальда то туда, то сюда, в этой толкучке каждый становился пленником другого, люди с трудом дышали. Епископ Иоанн пришел в церковь в полном облачении, на его головном уборе сверкали жемчуг и золото, но в его голосе не было силы, он утопал в плаче и стенаниях, никто не услышал его похвальное слово князю и его многократной добродетельности перед Богом, который сейчас принял Своего сына с расprostертыми объятиями. Люди изнутри давили, но церковь больше никого вместить не могла, она качалась, как ковчег, который не может вместить всех желающих спастись. Священники и дружинники Святополка пытались удерживать толпу, упорядочить ее, впускать народ через одни двери, а выпускать через другие, но все напрасно — началась давка, породившая смятение и ужас, и все разом захотели выйти вон, но сделать этого не могли. Женщины падали в обморок, детей и стариков затаптывали насмерть. Никто не знает, сколько народу сошло в могилу вслед за князем, сколько мертвых тел после этого столпотворения нашли в самой церкви и у ее дверей. Летописи большей частью молчат об этих похоронах и сразу же заводят другую песню: «Ах, если бы мы могли оценить тебя по достоинству, о любезный князь, мы бы сердечно молили Бога в день твоей кончины, и Он бы тотчас сделал тебя святым!» Другими словами: «Господь, если бы все прошло как надо, забрал слугу Своего к Себе со знаменами и чудесами, приличествующие истинно святому». Но вышло по-другому. Дьявол, которого Владимир прогнал с киевских холмов в тот день, когда крестил Русь, наконец отомстил: послал своего приятеля Святополка, чтобы он в этот скорбный день испортил все, что было хорошего в людских сердцах.

Святополк не растерялся, хотя в день похорон не все пошло так, как он хотел. Он послал людей с подводами во дворец Владимира, чтобы они взломали подвалы и казнохранилище, взяли еду и серебро и как можно скорее привезли на церковную площадь. Затем он поднялся на ступени Де-

сятинной церкви Божией Матери, поднял руки и попросил внимания.

Святополк был высокого роста, рыжеволосый и рыжебородый, глаза суровые, рот большой, голос низкий и мощный. Он стоял в красном плаще поверх кольчуги, и по каждому его движению и взгляду было видно: вот человек, привыкший отдавать приказы. Но когда надо, он мог выглядеть смиренным — точно так же как дьявол может, если надо, принимать обличье ангела.

«Киевляне! — сказал он. — Вряд ли стоит говорить о том, как отец любил вас, так же как вы — его. Сейчас он почил с миром и сидит по правую руку от Господа. Он будет следить за вами, своими детьми, и молиться о том, чтобы у вас все было хорошо и в этом, и в том мире. Нам всем известно, как мой отец Владимир выделялся среди других, и равных ему уже не будет. Неспроста он не назначил кого-нибудь одного из нас, братьев, на свой киевский престол. Может быть, он любил всех нас — двенадцатерых — так сильно, что не мог выбрать кого-то одного и дать ему право первородства. Тут кому-нибудь, возможно, захочется спросить: разве не любил он Бориса больше других сыновей, подобно тому, как патриарх Иаков любил Иосифа больше, чем остальных детей? Это действительно так, но когда самого Бориса спросили, хочет ли он править страной, он отказался, он взял себе Ростов у самых рубежей Руси. Он выполняет свой долг, как и полагает послушному сыну, но дух его жаждет иной службы. Возможно, кому-то еще захочется спросить: разве Ярослав не самый лучший военачальник из вас, братьев, разве Новгород под его правлением не процветает? Это действительно так, но Ярослав обогатил новгородцев, не отослав в Киев причитающийся налог с беломорских мехов и балтийской торговли. Тем дороже выйдет оборона против собак-язычников в Киеве, Турове, Полоцке, тем хуже будет житься киевской бедноте. Ярослав посеял ветер, а пожать может бурю, если только не одумается, не помирится с братьями, и они не поцелуют крест в подтверждение мира и единодушия».

До этого народ молчал с недоверчивым любопытством, но сейчас Святополк сказал именно то, что люди хотели услышать, — и по площади разнесся гул одобрения.



«Друзья и братья! — продолжал Святополк. — Никто не может с полным правом занять трон моего отца, но его святой престол не должен пустовать; если не назначить наследника, это положит начало разным бедам, и печенегии обрушатся на нас, как голодные волки, город сожгут, а вас угонят в плен. Киевляне, я предлагаю вам свою службу, причем по всей справедливости по законам Руси и при уважении к любому решению, которое вынесет вече. Я попытаюсь помириться с Ярославом, ибо, когда братья враждуют, солнце над страной затмевается. Я уже послал людей к Борису, который сидит под градом языческих стрел на Альте, и предложил ему дружбу и любовь, а еще — чтобы он выбрал себе такое дело или должность в стране, которая ему больше по нраву. Я обещаю вам, киевляне, что настанут светлые дни — с Божией и вашей помощью!»

Со Святополком произошло то, что всегда бывает со сладкоречивыми ораторами: чем дольше он говорил, тем больше верил собственным словам. А как же его слушатели? Не казались ли им его слова слишком красивыми, чтобы быть правдой? Думали ли они так: «Он красиво говорит, но почему тогда бегущие из Турова рассказывали нам о его вероломстве и притеснениях, алчности, продающей закон за серебро, и произволе его людей, не подчиняющихся никаким законам?» А может, они пленились его словами, потому что стосковались по лучшим дням? Или же они так были напуганы, что не посмели иного, кроме как принять слова Святополка за чистую монету? Тут и там раздавались выкрики: «Слушайте, слушайте! Слава Святополку!» Торвальд окинул площадь взглядом: по лицам тех, кто внимал князю, он мог прочесть многое. Немалое число людей молчали и опускали глаза, стоило встретиться с чужим любопытным взглядом.

Вдруг послышались клики и шум, загремели деревянные мостовые, затарахтели колеса — это люди Святополка вернулись из двorca Владимира. Они сняли с телег бочки и открыли их. «Подходите, киевляне, и пейте, кто хочет, мед! Помяните моего отца!» — выкрикнул Святополк. Откуда-то приволокли столы, вывалили на них хлеб, сушеную рыбу, горы квашеной капусты. Несколько дружинников выступи-

ли вперед; они клали каждому проходящему мимо в ладонь серебряную монету.

«Что ж, хотя бы сегодня они будут сыты», — думал Торвальд, уходя с площади. Он прошел городские ворота и был уже недалеко до дома, как услышал топот копыт за спиной, обернулся и увидел слугу Торстейна.

«Хозяин желает видеть тебя немедленно. Это вопрос жизни и смерти!» — закричал слуга. Он протянул Торвальду руку, помог взобраться на коня, усадил перед собой и повез обратно в город.

«Хозяин упал с лошади, подвернул ногу и не может ходить», — сказал слуга.

Торвальд не успел расспросить друга о самочувствии: едва он показался в дверях, Торстейн заговорил сам:

«Не рассказывай мне, как Святополк лгал народу, я и так все знаю», — сказал он, сильно опечаленный.

«Что ты хочешь от меня?» — спросил Торвальд.

«Ты возьмешь моего коня и оружие, какое нужно, и как можно быстрее поедешь к Борису», — сказал Торстейн.

«Зачем?» — спросил Торвальд.

«Чтобы предупредить его. Жизнь Бориса в опасности. Святополк собирается послать на Альту убийц».

«Святополк сказал, что пошлет гонцов, чтобы предложить Борису мир», — сказал Торвальд.

«Да скорее осел на своих ушах взлетит! — вскричал Торстейн и рассердился. — Ведь ты же не поверил этому лжецу и предателю! Он хочет убить всех своих братьев и один править Русью!»

«Откуда ты это знаешь?» — спросил Торвальд.

«Я знаю больше, чем ты думаешь, и больше, чем ты хочешь знать», — сказал Торстейн. — У меня есть старый надежный друг в отряде Святополка. Когда они два дня назад были в Высоком, он пригласил нескольких человек, посулил им за труды большие деньги и взял с них клятву, что они поедут в Альту и убьют Бориса».

«А войско? — спросил Торвальд. — Войско Бориса?»

«Они собираются подобраться к Борису обманом и надеются, что войско будет в смятении, когда лишится головы».

Торвальд молчал. Что он мог поделывать при таком раскладе?



«Я скажу тебе больше, — говорил Торстейн. — В числе убийц по именам известны Пушта, Талец и Ляшко. А ими заправляет Ингвар. Он вернулся с севера».

«Мне надо встретиться с Феодорой», — сказал Торвальд.

«Я послал за ней, — сказал Торстейн. — Но ты не должен мешкать ни мига. Я бы поехал с тобой, если б не проклятая нога. Ты должен поговорить с Борисом. Скажи, что, если он направит войско в Киев, горожане примут его сторону».

«Я уже говорил с Борисом», — сказал Торвальд; в его голосе не читалось надежды.

«Так поговори с ним еще раз», — сказал Торстейн.

Вошла Феодора. Ей не хотелось, чтобы Торвальд ехал, но удерживать его она стала. Она обняла его, прошептала:

«Берегись, друг мой, берегись, будь осторожен, и да минует тебя опасность».

Она ни словом не намекнула ему на то, что случилось с ней, когда она выходила из дома.

Анна, сестра Игоря, сказала ей вслед с насмешкой:

«И куда это любезная госпожа так торопится? Уж не в Яр ли к своему любовнику? Готовься, потаскуха, скоро мой брат вернется!»

Наконец-то пришедшие со Святополком друзья ее брата принесли в город те вести, которые она больше всего хотела услышать.

Феодора обернулась, отвесила Анне звонкую пощечину и вышла вон.

Глава 46

Смерть Бориса

То не Серый волк мчится по лесу, не орел парит над деревьями, то Торвальд Странник, слуга Божий и друг Феодоры, дочери Свейнальда, переправился через Днепр, сел на коня и скачет резво на восток, и земля дрожит под ним, говоря: «Торопись, тут дело спешное!»

То не кукушка поутру кукует, не гусяр по струнам ударяет, то выходит Феодора на городскую стену, смотрит на восток, причитая: «О Ветер Ветрович, ты запускал пальцы

в волосы друга моего, ты гладил его по щекам, поведай мне, где он и что с ним».

Всю ночь скакал Торвальд, а в середине дня прилег в тени капища в чистом поле. И приснился ему сон: пришел к нему человек в черном и без лица, а с собой у него чаша, и налил он Торвальду синего вина, а Торвальд выпил, и смешано то вино было с горем и печалью.

Вышла Феодора на городскую стену под вечер и запричитала: «Месяц Месяцович, сокрой лицо свое от лиходеев, пусть кони их споткнутся в ямах, пусть они заплутают в болотах, пусть лягушки квакают над ними! Но будь же верен другу моему, освети ему путь-дорогу к Борису, а если он утомится, постели ему зеленую траву, укрой его теплым туманом!»



Когда Торвальд прибыл в лагерь Бориса, войско князя уже расходилось по домам, но сам Борис с небольшим отрядом все еще оставался на Альте. Усталый, пропотевший, с глазами, налитыми кровью, с запекшимся языком Торвальд подъехал к шатру Бориса, перед которым на шесте был стяг: на белом образ Спасителя. Он так спешил, что теперь силы почти оставили его; он понял: едва ли ему будет под силу спешиться самому. Пошатываясь, он подъехал к двум слугам, стоящим на страже у входа в шатер, и охрипшим голосом попросил их узнать, может ли Борис принять прискакавшего из Киева «Торвальда из Яра», у которого к нему срочное дело.



Бориса Владимировича поставили охранять от печенегов рубежи на Суле. Но стоило в этих краях появиться Борису с восьмитысячным подкреплением из Киева, как печенегов след простыл. Военачальники Бориса не могли прийти к единому мнению о том, что предпринять. Иные хотели гнать печенегов на юг за Сулу, а другие считали, что это вздор: мы, мол, не найдем их, пока они не окружат нас и не засыпят градом стрел в том месте, какое выберут сами. Борис соглашался, что идти за Сулу не стоит, но все же считал, что отпускать войско по домам пока рано. Тогда они разбили лагерь близ Альты и стали ждать — не вполне понятно чего. Тем временем приходили вести, что Владимир занемог, возможно, смертельно, а Святополк выехал из Турова и хо-

чет захватить власть в Киеве. Борис получил письмо от бояр из Берестова, которые просили безотлагательно направить войско в Киев и положить конец проискам брата. Но тут же прибыло посольство от Святополка: брат просил его, оставив войско у Сулы — дабы устрашать печенегов, ехать безотлагательно в Киев: «Выбирай сам, брат, какое владение или должность ты хочешь в стране».

Бояре и сотники Бориса сказали ему такие слова:

«Тебе желаем служить, и больше никому. Мы знаем твою доброту и миролюбие, а сейчас волки разгуливают на свободе, сейчас много предвестий беды, сейчас нужно наострить сердце мужеством и укрепить ум силой. Люди твои испытаны в боях, они выросли под шлемами, вскормлены с конца копья, все пути им знакомы, они много ездили по долам, мечи их наточены, луки натянуты, колчаны полны. Скажи лишь слово — и они ринутся вперед, и ничто их не остановит, мы вычерпаем Днепр шеломами, мы посраим Святополка и поднимем твой стяг на Горе в Киеве».

Борис поблагодарил их за верность и дружбу, но не захотел следовать их советам.

«Многим из вас отлично известно, что серебро и золото, яства и вино, власть и владения ничего не стоят для меня, — сказал он. — А также честь и слава в боях. Я сражался вместе с вами, когда моему народу нужно было защищаться. Но когда бьются братья, страна рушится, и я не поднимаю руку на брата: если отец мертв, он будет мне вместо отца».

Целый день после этого сидели бояре за столом с Борисом и истощали свое красноречие, пытаясь склонить его на свою сторону. Но все напрасно. Он был непоколебим.

«Если б все было так, как вы говорите, — сказал он, — и мой брат Святополк собирает большое войско, чтобы напасть на нас, то тысячи братьев сойдутся в схватке из их и нашего войска, берега реки обагрятся кровью родичей и друзей. Не бывать, чтобы я приложил руку к тому, чтобы это свершилось!»

Люди Бориса были грустны, разочарованы и рассержены — если не на молодого князя, то сами на себя. Что с ними случилось, что они не могут отыскать средство, дабы преодолеть смуту? У них больше не было единой воли, каждый думал о своем. Отдаться ли на милость Святополка? При-

мкнуть к отряду Ярослава? Переждать ли эту бурю дома — в Муроме или в Полоцке?

Когда Торвальд вошел в шатер Бориса, князь поднял глаза от книги, которой очень дорожил: в ней говорилось о Вацлаве, королевиче Богемском, мученике Господнем, убитом собственными братьями-язычниками. Он хорошо принял гостя, предложил ему сесть и велел своему слуге, венгру Георгию, принести медов.

«Твои друзья в Киеве послали меня сказать тебе, что твоя жизнь в большой опасности, — сказал Торвальд. — Святополк послал людей убить тебя».

Борис при этих словах посмотрел поверх головы гостя куда-то далеко — впрочем, не дальше, чем позволял полог шатра. Торвальд не увидел беспокойства в его глазах. Борис давно мысленно шел навстречу опасности. Теперь он знал, кто ему угрожает, и от этого испытал облегчение.

«Лучше умереть, — сказал он, — чем жить в вероломном мире».

«Твоя жизнь ценна», — сказал Торвальд.

«Неправильно говоришь, — сказал Борис. — Моя жизнь не ценнее жизни других».

«Твоя жизнь ценна, — повторил Торвальд. — так как ты можешь спасти других. Святополк не остановится, пока не убьет всех вас — братьев, а за этим последует множество других убийств, грабеж и произвол. Лишь ты можешь воспрепятствовать этому».

Тут по лицу Бориса пробежала туча. Он-то как раз был готов отдать жизнь, если бы его людей пощадили, а его братья сохранили жизнь.

«Я уже отпустил войско домой», — сказал он.

«Мы поскачем на север, — сказал Торвальд, — мы разыщем твоих друзей в Ростове и Муроме, они защитят твою жизнь. А потом ты соберешь новое войско, заключишь союз с Ярославом, и вы вместе прогоните Святополка из Киева и положите конец его произволу и вероломству».

«Взявшие меч, мечом погибнут*, — сказал Борис. — Я уповаю на Господа. Он, создавший горы и дающий пищу комару, присмотрит за всем».



* Мф. XXVI, 52.

«Господь спросит, — сказал Торвальд, — где был ты, когда Я звал тебя? Разве Я должен выполнять за тебя твою работу?»

«Человек подобен дуновению ветра, — сказал Борис, — намерения его как перо, уносимое ветром, они обращаются в ничто за один день. Сила моя меньше, чем ты думаешь. Никто не знает, где его место. Если я войду в дом отца моего и вступлю в наследство, сколько времени пройдет, прежде чем сердце мое будет отравлено недоверием и начну я видеть в помыслах братьев моих и друзей измену? Разве я тогда не начну слушать льстецов и считать себя самым великим из всех, кто сидел в Киеве?»

«Никто, — сказал Торвальд, — не способен на это меньше, чем ты. Кто не делает то хорошее, что в его власти, тот прокладывает путь злодеям».

«Если мир ухудшается, — сказал Борис, — для чего нам сопротивляться этому? Если мир портится, то он стремится к концу всего — в том числе зла и слез. Так пусть же на землю вновь вернется Тот, Кто есть начало и конец всего, и мы увидим новое небо и новую землю».

Снаружи светили звезды, снаружи выли волки, над ними ухали совы, дрожь шла по лесу. Под утро издалека донесся топот копыт, но никто не услышал его. Стражи дремали, опершись на мечи; в шатре Бориса спали все, кроме двоих: князя и Торвальда Странника. Забыв о всякой опасности, они говорили о мраке, окутавшем мир, и о свете, по которому все томятся, и о том, как долго торжествовать тьме, пока вновь не рассветет.

Ингвар и Ляшко, Пушта и Талец и другие братья их во дьяволе, числом тринадцать, спешили и вошли в шатер Бориса с обнаженными мечами. Они встали плечом к плечу, дабы укрепиться в своем жестоком намерении пролить невинную кровь.

Первым делом были убиты слуги Бориса, спавшие в передней части шатра. В следующий миг убийцы Ингвар, Пушта и Ляшко рванулись дальше. Свечи горели в подсвечниках на столе и под образом Иоанна Крестителя, так что все было хорошо видно. Борис поднялся, бесстрашно заглянул в глаза Ингвару и сказал:

«Делай, что тебе приказано».

Ингвара не надо было просить дважды, он шагнул вперед и занес меч, но венгр Георгий заслонил Бориса собой и принял удар на себя. Пушта отбросил обмякшее тело Георгия в сторону. Ингвар вновь замахнулся, но тут уже Торвальд отвел его удар мечом, который ему дал Торстейн. Оружие вылетело у Ингвара из рук. Торвальд мог одним ударом убить его, мужа Феодоры и наемного убийцу, но понял вдруг, что теперь не может — как когда-то — лишить жизни человека. Он замер в замешательстве, и это едва не стоило жизни ему самому: откуда-то сбоку налетел Пушта и ткнул его мечом в плечо. Торвальд отскочил к краю шатра, упал на колени. Пушта бросился за ним, но Торвальд, хотя и был ранен, одним движением прорезал полог шатра, выбрался наружу, добежал до своего коня и ускакал прочь.



Он несся сквозь ночь и ясно видел, как душегубцы, распалая свою злость гневными словами, наносят многие раны Борису и за проклятьями своими не слышат его предсмертных слов, которыми он прощает и брата Святополка, и их, своих убийц. Час Бориса пробил, изменить ничего было нельзя. Но Феодору он обязан был спасти. «Береги ее», — сказала Та, что помогает людям и никогда не подводит их.

Убийцы не нашли на теле Бориса никаких драгоценностей, а у венгра Георгия была на шее золотая гривна, и они отрубили ему голову, чтобы снять ее. Тех слуг Бориса, что еще оставались живы, они спрашивали: «Кто сидел за столом с Борисом в эту ночь?» Это был свидетель, его требовалось найти и убить, чтобы люди не узнали правду. И один слуга, еще совсем мальчик, по простоте душевной сказал: «Его звали Торвальд. Он из Киева». Этого мальчика и всех остальных Ингвар и его спутники без жалости закололи.



Солнце взошло, но оно словно не хотело освещать день, который лучше бы не наставал, и подернулось тенью. Посреди жаркого лета вдруг стало холодно, травы склонились к земле, цветы загрустили, деревья опустили ветви, птицы смолкли, звери забились в норы. Все живое оплакивало Бориса, не пожелавшего творить зло и невинным принявшего смерть, — юного князя, первого на Руси мученика.

Глава 47

Заклучение

Если кто-нибудь спросит, может ли случиться так, что события, предвиденные Богом, не произойдут, мы ответим на это утвердительно; нет необходимости, обуславливающей, произойдет или не произойдет то или иное.

Ориген, один из отцов Церкви

Дух истории знает, что сейчас его спросят, как он хочет завершить эту историю. Как ни странно, у него нет ответа на этот простой вопрос. И этому, честно говоря, не стоит удивляться. Что может сделать Дух истории в ситуации, когда даже Бог не всегда в курсе происходящего, хотя вроде бы ничто не делается без Божьего соизволения?

Если кто-нибудь спросит, может ли случиться так, что события, предвиденные Богом, не произойдут, мы ответим на это утвердительно.

Это тайна, о которой лучше поменьше распространяться. Но она указывает на то, что, хотя Бог не дает насмехаться над Собой, Он позволяет удивлять Себя. Ибо Давид говорит: «Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим*». Бог не может не удивляться, иначе не было бы свободы.

Все могут рассказывать одну и ту же историю по-разному, и все рассказы могут быть правдивы.

I

«Ты помнишь, — сказал Торстейн Жуть, — помнишь, когда мы садились на корабль в Хунаоусе и собирались бросить мир к нашим ногам, но едва горы скрылись за морем, у тебя опустились руки, и ты не мог шевельнуться, хотя от этого зависела наша жизнь?»

* Пс. СХIII, 24.

Они с Торвальдом оба улыбнулись при мысли о том, как мало знали, отправляясь в свое первое далекое путешествие. Но им было недосуг вспоминать молодость: времени было в обрез. Они раньше всех в Киеве узнали, при каких обстоятельствах Борис встретил смерть, и это было опасное знание. Каждый миг можно было ожидать, что Ингвар со своим отрядом убийц нагрянет в Киев.

В тот день, когда Торвальд уехал к Борису, Феодора вышла из своего дома с маленькой котомкой за плечами; больше она не собиралась туда возвращаться. Она дождалась Торвальда в его доме. И вот теперь они были готовы к побегу, и Торстейн пришел попрощаться с ними.

«Как твоя рана?» — спросил он.

«Ничего, — ответил Торвальд, — заживает быстро».

«Будет война, — сказал Торстейн, — будут бои по всей Руси, род Владимира истребит сам себя, и никто не сможет противостоять тому, что будет. Я больше не собираюсь оставаться здесь, я не хочу зависеть от произвола Святополка. Я собрал четырнадцать человек, и сегодня вечером мы отчаливаем. Мы примкнем к Ярославу. Я бы хотел взять вас с собой, но на такие дела женщин не берут».

«Понимаю, — сказал Торвальд. — Вы едете на войну. А мы пойдем другим путем».

«Куда вы пойдете?» — спросил Торстейн.

Они с Феодорой переглянулись. Их нигде не ждали.

«Вам надо поторопиться. Уходите сейчас же, этим вечером!» — сказал Торстейн. Он был уверен, что любовь лишила Торвальда и Феодору здравого смысла, а он должен исправить это грубым приказом, совсем как тогда, на корабле, когда наорал на Торвальда: «Вставай, трусишка, а то выкину за борт!»

«Обещаем», — сказал Торвальд.

«Не обязательно уходить далеко, — сказал Торстейн. — Идите вверх по течению Десны, там никто не знает, какие котлы кипят в Киеве. И возьми вот это».

Он вынул кошелек с деньгами и положил на стол.

«Не знаю, выдержало бы это серебро проверку у твоей тетушки Тордис, — сказал он. — Ведь оно, пожалуй, досталось мне дурным путем. Но другого у меня нет».



Они попрощались с Торстейном. Хромая, он сошел с моста и оглянулся, прежде чем деревья в саду скрыли их от него. Они стояли, освещенные солнцем, не сходя с места. Торвальд обнимал Феодору, она прижималась к нему; оба были спокойны. День клонился к вечеру. «Все будет хорошо, — сказал про себя Торстейн. — Все будет хорошо, — повторил он. — Все будет хорошо!» — поклялся он и прибавил шагу, насколько позволяла больная нога.

Они не сдержали обещания, которое дали Торстейну и сами себе, и не ушли из Киева тем вечером. Оба думали: «Нам нельзя терять время». Но оба сказали: «Сегодня вечером мы далеко не уедем. Пуститься в путь с утра будет разумнее». Им хотелось провести в общей постели еще хотя бы одну ночь.

Они лежали бок о бок, она положила голову ему на плечо, он обнимал ее за талию, их ковчег плыл по спокойному благосклонному морю, и они пребывали в молчании — то ли миг, то ли целую вечность. Наконец Феодора спросила:

«Куда мы поедем, Торвальд?»

Он поднял голову, подпер щеку рукой и сказал:

«Сказано: «горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы»*. Такое ты сможешь увидеть в Исландии».

«В Исландии? — спросила она. — Там горы и холмы скачут как овцы?»

«Горы стонут, — ответил он, — и извергают дым, и земля дрожит, и огонь затопляет все, превращая камни в текущую смолу, и камни летают по воздуху и плывут по воде».

«Я бы испугалась, — сказала она, — всех этих див».

«Нет, — сказал он, — ты можешь наблюдать все это без вреда для себя. Там отовсюду далеко видно. Мы вместе взойдем на гору и увидим всю страну и море, до холодного предела мира».

«У меня голова закружится», — сказала она.

«Тогда иди со мной вниз в ущелья. Там церкви меж отвесных утесов, при входе в них сидят чудовищные тролли и следят, чтобы туда не вошел тот, кому там делать нечего, а в глубине, на хорах, белопенный водопад бормочет дни и годы без усталости».

* Пс. СХІІІ, 4.

«А из брызг водопада выходит женщина и зовет нас по именам», — сказала она.

«Да», — ответил он.

«Это долгий путь», — сказала она.

«Долго пешком и долго по морю, но коль скоро я пределал весь путь сюда, до дому я как-нибудь доберусь», — сказал он.

«Твоя страна — моя страна», — сказала она.

Их снова окружила тишина, они медленно погрузились в ее синюю глубину, но в этот раз им не позволили там задержаться. Снаружи послышались шаги, кто-то прокрался по саду, спугнул голубей на крыше, и тут уж тяжко загрохотало вокруг дома, раздались громкие голоса — и все эти звуки в клочья разорвали их мир. Они вскочили и крепко схватились друг за дружку.

«Это голос Ингвара», — сказала она.

Тут кто-то стал вышибать дверь, косяк закрипел, но все было построено прочно и не поддавалось. После трех попыток Ингвар велел своим людям прекратить ломиться в дом и крикнул.

«Выходи, Торвальд Исландец, возьми свой меч и докажи, что ты не баба!»

«Не ходи, — сказала она. — Не оставляй меня одну. Они нападут из-за спины».

Из-за дверей их поносили, называли Торвальда бабой, а Феодору — ведьмой и шлюхой. Они не отвечали. Но Торвальд надел кафтан и вынул меч, который оставил ему Торстейн; он знал только то, что живыми их никому не взять.

«Выкурим их», — сказал Ингвар.

Выход был в доме один, а на задней стене окошко. Ингвар отрядил к окну двоих, а сам встал с остальными двумя на помосте у дверей. «Рубите Торвальда, как только он выйдет, — сказал он, — а как подышать этой шлюхе, я сам решу». По сигналу Ингвара его люди подпалили крышу дома.

Соломенная крыша занялась быстро, она горела весело, с треском; внутрь дома посыпались пылающие ошметки, занялись стены, жар обжигал их лица. Торвальд наклонился, откинул крышку в полу, спрыгнул в погреб, протянул руки, помог спуститься Феодоре и закрыл за ней крышку. Они были готовы к смерти, полностью готовы, но, получив не-



большую отсрочку, приняли ее с радостью, и снова началась их вечность; они уже давно не боялись ничего, кроме разлуки. Они стояли в тесном погребке, обнимая друг друга, и вечность была с ними. Глаза разъедал дым, становилось невозможно дышать, но они были в полете, над Миклагардом, над Днепром, над морем, над Исландией, где горы дышат огнем, а холмы скачут как ягнята, и где видно все до самого предела мира. Им не было суждено разлучиться.

Когда дом рухнул, они были бездыханны, но огонь не тронул их.

II

Они собрали пожитки, как только ушел Торстейн. Они знали, что каждая минута промедления грозит им гибелью. Торвальд надел свою старую одежду, в которой пришел из Македонии, а она — бедняцкий балахон. Он натянул на голову шляпу, она прикрыла волосы капюшоном, он спрятал под одеждой лук на случай, если им придется стрелять дичь, чтобы прокормиться, а меч он оставил. Они взяли в руки посохи и вышли из дому, луна освещала дорогу, их путь лежал на восток.

Через семь дней они уже были там, где реки мелеют, деревья становятся реже, и начинается великая степь.

Они сидели под большой липой, ели хлеб и сушеную рыбу и благодарили дерево за то, что дало им тень. Ветер прилетел издалека, и Феодора смотрела, как его встречают ветви и листья. «Как будто много ветров дует одновременно, — сказала она. — Иные ветви трепещут послушно, другие не поддаются...»

«Этот ветер ничтожен и жалок, — сказал Торвальд. — У нас в Исландии его называли бы безветрием. Когда в Исландии ветер крепчает, он сбивает с ног людей и скот, сметает камни со скал».

«Разве это не жутко?» — спросила она.

«Нет, мне всегда было весело, когда ветра бушевали. По крайней мере мне кажется так сейчас».

«Тебе снова хочется туда, на север?» — спросила она.

«Сегодня ночью мне приснилось, что я на родине: сижу на склоне, и печет солнце. Я сунул голову под воду, холодную, освежающую, а потом огляделся — и увидел все, что за морем, и за горами, все вплоть до пределов мира. И ты спустилась ко мне с горы, а за тобой было небо, синее-синее — такое, какое никогда не бывает на Руси».

«А почему мы не отправимся туда?» — спросила она.

«Туда далеко идти, — сказал он, — и далеко плыть. И слишком много времени прошло с тех пор, как я уехал с родины».

Он сорвал травинку и пожевал.

«Другой мир, — сказал он, — и сок другой».

«Взгляни на это дерево, — сказала Феодора. — Верхние ветви воздеты к небу. А нижние чуть приподымаются от ствола, а затем их сила убывает, они как опущенные руки, их пальцы касаются земли».

«Они похожи на нас, — сказал он. — Они уже в летах. Они знают, что их скоро вновь примет земля».

«Этого точно никто не знает, — сказала она. — Листва на всех ветвях одинакова. Она одинаково зелена и на верхних ветвях, и на нижних, самых старых».

«И то правда, — сказал он. — А кто захочет забраться на дерево и окинуть взглядом равнину, не сможет сделать этого, не наступив сперва на наши ветви».

Они закончили трапезу, попили воды из ручья и улеглись спать рядышком в тени дерева, которое тихо шумело над ними, — и на них опустилась вечность.

Через седмицы семь дней или седмицы семь недель они оказались посреди широкой степи, поросшей высокой травой. Их лица обгорели, обветрились. Они шли медленно и часто отдыхали. Завидев вдалеке всадников, ложились в траву и затаивались. Они не знали, кто здесь живет: они все еще в краю печенегов или хазар или уже дошли до аланов? Феодора прихрамывала: ей в стопу воткнулся обломок кости. Они остановились в неглубокой низине. Отсюда им была видна лишь трава и небо над головой.

Торвальд стащил башмак с ноги Феодоры, приложился губами к ранке и стал высасывать нечистые соки. Затем вынул из котомки чистую тряпицу, оторвал от нее кусок и перевязал ногу.

«Сегодня мы дальше не пойдем», — сказал он.



Они лежали на спине и смотрели в небо — безоблачное, серо-голубое, и их глаза возрадовались, когда они увидели птицу, кружившую в вышине: они тут были не одни.

«Торвальд, — сказала она, — куда мы идем?»

«Сама знаешь», — ответил он.

«Не вполне», — ответила она.

«Мы идем, — сказал он, — в Землю Живых*. Она лежит к востоку от всех земель».

«А что ждет нас там?» — спросила она.

«Там не слышно ни плача, ни стонов, — сказал он. — Там дети не умирают во младенчестве, юноши не гибнут на войне, женщины и старики не падают замертво от голода. Там в каждом живет справедливость, ведь там нет воров и нет судей, и никто не берет себе больше, чем ему требуется. Там нет царей, а тот, кого выбирают по жребию, епископствует от праздника до праздника — не важно, мужчина он или женщина, старик или юноша, он тот, на кого укажет перст Божий. Эти люди возводят дома и сами живут в них, они разбивают сады и едят их плоды, а не так, что одни растят, а другие пожирают, или одни строят, а другие живут в этих постройках».

«А людям в такой стране не скучно?» — спросила Феодора.

«А нам вместе скучно?» — отозвался он.

«А на эту страну никто не нападает?» — спросила Феодора.

«Она лежит высоко в горах, — ответил Торвальд. — В Земле Живых нет ни серебра, ни золота, ни драгоценных камней, и все армии проезжают мимо ее ущелий».

«А эта страна существует?» — спросила Феодора.

«Мы не можем наверняка знать, существует ли эта страна, пока не придем в нее», — сказал он.

«Хватит ли у нас сил?» — спросила Феодора.

Торвальд не сразу ответил, он подвинулся к ней ближе и обнял ее за плечи.

«Жаждущие! идите все к водам**, — сказал он. — Мы будем идти долго. Мы будем прятаться от всадников и зарабатывать на хлеб у тех, кому нужно сеять или жать. Наши во-

* В православии иногда употребляется в значении «Царство Небесное», «Царство Божие», «Царство Вечной Жизни» и т. д.

** Ис. LV, 1.

лосы поседеют, спины сгорбятся, зубы выпадут, руки и ноги утратят гибкость, с каждым утром нам будет все труднее поднять голову. И все же мы будем продолжать поиск страны, которую, может быть, и не найдем, и пусть каждый мудрец и каждый глупец, кто услышит наш рассказ, смеется над нами. Ибо это путешествие — и наш подвиг, и наш ответ на все, о чем бы нас ни спросили. А также — это наше испытание и мучение, ибо силы убывают, а ветры дуют, и в мире так холодно, что нам не хочется больше находиться в нем. Но если я упаду в чистом поле, ты согреешь меня своими ладонями, и кровь в моих членах потечет быстрее, и ты вернешь меня к жизни. А если ты поранишь ноги на камнях и не сможешь идти дальше, я возьму тебя на руки и понесу. А когда я не смогу дальше нести тебя и упаду, ты помотришь на меня с упреком и спросишь: “Доколе нам терпеть эту муку, Торвальд?” — “Еще немного, Феодора, — отвечу я, — еще чуть-чуть”».

Они были одни вдвоем в степи, и лишь птица кружила над ними. Она видела два существа: два тельца, два червя, два темных пятнышка на желтом просторе, которые становились все меньше и меньше по мере того, как она поднималась и поднималась. Это был сокол? Или ворон? Или буревестник, залетевший с моря? Птица взлетала все выше и выше, пятнышки в траве почти скрылись из виду, но птица знала, что они — живые. Два человека были одни в сердце мира. Наступала ночь.

III

«Ну, ребяташки, — сказал рассказчик, — вот я стою на помосте и жду, пока эти злодеи подкрадутся к нам и приставят к крепостной стене свои лестницы. Я слышу их, но не двигаюсь, и сжимаю обеими руками рукоять моего доброго меча, и заношу его над плечом. И ко мне благосклонен Господь, которого я призвал: вдруг показываются разом три головы, одна другой уродливее, с широкими ртами. Я размахиваюсь мечом, он свистит в воздухе, и я срезаю их все три разом, скажу я вам, как травинки. И они со стуком скатились на землю, и из обрубков шей брызнули струи крови,



и мои люди издали громкий клич, потому что раньше никто ничего подобного не видел».

«Три головы одним ударом?» — спросил один из слушателей, не зная, верить ему или нет.

«Их было трое. Это был великий день, — сказал рассказчик. Это был старик с безобразным шрамом на щеке, богато одетый; он запустил в белую бороду пальцы, потом сцепил их на животе и вздохнул: — Да, ребяташки, хорошо было служить Свейну Вилбородому, много серебра было в Миклагарде, но лучше всего было служить князю Вальдимару в Кенугарде. Я был там, когда он загнал всех русичей в Днепр, утопил дьявола и выгнал всех из реки уже христианами. Мы все это видели — мой друг Торвальд Странник и я».

«Торвальд? — спросил мужчина в летах. — Брат Орма с Гиль-ау? Это он пытался крестить исландцев, а когда они не захотели его слушать, рассердился и убил много народу, за что его изгнали из страны?»

«Торвальд, — сказал Торстейн Жуть, — только карал злодеев и всегда убивал в честном бою».

«Разве он не был викингом и варягом, как и ты?» — спросил тот человек.

«Был, — отвечал Торстейн. — Он был силен и мужествен, как настоящий берсерк, но ему надоели войны, и он стал мудрецом, одним из воинов Божиих».

Тут его слушатели — исландцы, сидевшие у костра как-то вечером после завершения тинга, — захотели узнать побольше. Не каждый день им выпадало слушать человека, приехавшего из таких далеких краев и так много странствовавшего, как этот старец Торстейн Жуть.

«Торвальд отправился с варягами в Миклагард, — сказал Торстейн, — но вернулся в Кенугард в странническом балахоне гораздо позже, чем их. Там мы и встретились после долгой разлуки. Он прошел через семь стран, его ноги были сильно изранены, но в душе его не было усталости. Мы с ним ровесники, но тогда он казался мне одновременно и гораздо старше, и гораздо моложе меня».

«Как такое может быть?» — спросили слушатели.

«Он был мудр, как старец, — сказал Торстейн, — но в то же время легок в речах. Казалось, внутри него зажгли свет, у него лучились глаза, и даже как будто свет исходил от его бо-

роды и волос, чуть тронутых сединой. Было похоже, скажу я вам, что ему и солнце не нужно».

«От него исходил свет? — спросил юный священник, бывший в толпе слушателей. — Как от святого?»

«Верно говоришь, — ответил Торстейн. — Как от святого. Мой друг Торвальд и был святым».

«В чем это проявлялось? — спросил священник. — В чем была его заслуга перед Господом? Разве он не был подобен жалкому, изголодавшемуся странствующему монаху?»

«Ниший странствующий монах, это верно... — ответил Торстейн. — Но не надо судить по внешности. Он пошел стезей нишего бродяги, чтобы укрепиться в смирении и лучше узнать горести и нужды людей. А потом он построил себе дом в Кенугарде, и к нему приходили и богатые, и бедные. Он выслушивал всех и разрешал их сомнения. Его молитвы были столь истовы, что тучи небесные слушались его и проливались дождем, если засуха сжигала поля. Он был так мудр, что князь Вальдимар послал к нему своего сына Бориса учиться мудрости и святой науке. Он был так ласков и добр, что богатые женщины приносили ему свое имущество, с плачем целовали ему руки и просили отдать бедным».

«Он до сих пор живет в Кенугарде?» — спросили исландцы.

«Слава Торвальда облетела все города в Гардарики, — сказал Торстейн, и голос его стал набирать силу. — Все князья приглашали его к себе, надеясь, что одно присутствие его упрочит благосостояние их городов и их самих. Ему были почет и уважение как от простых, так и от богатых людей как надежному столпу христианской веры, и он объездил всю страну, проповедуя слово Божие. Сам император Миклагарда попросил его присмотреть за народом на Руси, чтобы тот как можно лучше затвердил правую веру и оставил всякое язычество. Ярислейв Могучий хотел поставить его митрополитом или архиепископом над всей страной, но Торвальд отказался, ведь он был велик и искренен во всем, но особенно в скромности. Он умер в Палтескье под Рождество, за зиму до того, как я отправился на север, и ангелы и херувимы сошли с небес и пели над ним. Он окончил свои дни в монастыре, который сам построил на реке, близ главной церкви, посвященной Иоанну Крестителю, и он с тех пор называется



ся в честь него — Торвальдова обитель. Там все называют его святым и призывают его для добрых дел».

Старик, вернувшийся домой из долгой поездки, посмотрел по сторонам; ему было приятно, что он не забыл своего друга и побратима, оставшегося в чужой земле. Он выпрямился и произнес вису:

Туда я ездил,
Где Торвальда
Кодранссона
Христос упокоил.
В горе высокой,
Возле Драпна*
Близ церкви Иоанна
Теперь он лежит**.

* Топоним не идентифицируется.

** Виса из «Саги о крещении Исландии».

Некоммерческое партнерство «Содействие развитию дружественных отношений с Исландией «ОДРИ» выражает сердечную благодарность всем, кто финансировал первое русское издание книги Ауртни Бергманна «ТОРВАЛЬД СТРАННИК» и особенно отмечает вклад священника Тимофея Золотуского, Бориса Иванова, Бэлы Карамзиной, Андрея Мельникова, Инголфура Скуласона, Йонаса и Натальи Триггвасон, Татьяны Шенявской, Елены Бариновой, Николая Велигжанина, Александра Мошенского, Алексея Пономаренко, Ксении Оулафссон, Станислава Смирнова, Максима Федюкина, Хаукура Хаукссона и Максима Чистякова.

Оглавление

Глава 1. На окраине мира	5
Глава 2. Зов	7
Глава 3. Я отомщу!	12
Глава 4. Друзья советуются	15
Глава 5. Натягивание лука	18
Глава 6. Убийство	21
Глава 7. На острове Пуховом	26
Глава 8. Ласки женщин	29
Глава 9. И вышли они, и бились...	33
Глава 10. На корабле	37
Глава 11. Встреча Торвальда и Фридрика	42
Глава 12. Опасная поездка в Бьяртнарборг	48
Глава 13. Господь не хочет посылать иного	56
Глава 14. Изгнание духа из валуна	61
Глава 15. Злые речи и вредоносные деяния	64
Глава 16. Злые невзгоды добрых людей	68
Глава 17. Народ на распутье	75
Глава 18. В Киеве	81
Глава 19. Сошествие Святого Духа на Русь	85
Глава 20. Радостный праздник победы	89
Глава 21. Святые образа	93
Глава 22. Церковь и дворец	101
Глава 23. Еретики	108
Глава 24. Другие еще хуже	117
Глава 25. Мечь императора	122

Глава 26. Грехопадение	128
Глава 27. Хожение по мукам	135
Глава 28. У старца Симона	140
Глава 29. Неудавшиеся переговоры	146
Глава 30. Любовь и справедливость	156
Глава 31. Аскеты	161
Глава 32. Бесы не одолели его	165
Глава 33. Молитва сердца	172
Глава 34. Мост через реку	174
Глава 35. Встреча в Киеве	177
Глава 36. Фсодора	182
Глава 37. Пастырь душ	189
Глава 38. Борис, сын Владимира	193
Глава 39. Они заключили друг друга в объятия	198
Глава 40. Хвала любви	204
Глава 41. Препятствия	208
Глава 42. Мой Бог — твой Бог?	213
Глава 43. Для чистых все чисто	217
Глава 44. Не к добру	220
Глава 45. Святополк в Киеве	224
Глава 46. Смерть Бориса	230
Глава 47. Заключение	236

- Бергманн А.
Б48 Торвальд Странник / Ауртни Бергманн. Пер. с исланд. Ольги Маркеловой. — М. : Ломоносовъ. — 2015. — 256 с. — (История. География. Этнография).
ISBN 978-5-91678-275-2

Торвальд Странник — легендарный христианский миссионер, герой исландских саг. Сведения о нем отрывочны, но даже из них ясно, что мы имеем дело с незаурядной личностью. В юности покинув родной остров, он служил Свейну Вилобородому, будущему королю викингов, но, познакомившись с христианством, оставил военное ремесло, отправился в Исландию и построил там первую христианскую церковь. Затем он пустился в странствия по миру, был, вполне вероятно, свидетелем крещения Руси князем Владимиром и добрался до Константинополя, а на обратном пути основал в Полоцке монастырь Иоанна Крестителя, где умер и был похоронен. Основываясь на том немногом, что известно о Торвальде Страннике, Ауртни Бергманн дает свою версию его полной приключений жизни и реконструирует события второй половины X века в форме романа, что придает его книге особую притягательность.

Ауртни Бергманн — писатель, философ, филолог-русист, переводчик на исландский язык «Слова о полку Игореве» и других произведений русской литературы.

УДК 94(397.3)
ББК 63.3(0)32

Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ, ст. 1, п. 2, пп. 3.
Возрастных ограничений нет

История. География. Этнография

Ауртни Бергманн

Торвальд Странник



Редактор Н. Макаров
Верстка А. Петровой
Корректор М. Малоян

Подписано в печать 20.07.2015.
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 16. Заказ 3756.

ООО «Издательство «Ломоносовъ»
119034 Москва, Малый Левшинский пер., д. 3
Тел. (495) 637-49-20, 637-43-19
info@lomonosov-books.ru
www.lomonosov-books.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов,
ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, 8(499)270-73-59

**Ауртни
Бергманн**

**Торвальд
Странник**

Торвальд Странник — легендарный христианский миссионер, герой исландских саг. Сведения о нем отрывочны, но даже из них ясно, что мы имеем дело с незаурядной личностью. В юности покинув родной остров, он служил Свейну Вилобородому, будущему королю викингов, но, познакомившись с христианством, оставил военное ремесло, отправился в Исландию и построил там первую христианскую церковь. Затем он пустился в странствия по миру, был, вполне вероятно, свидетелем крещения Руси князем Владимиром и добрался до Константинополя, а на обратном пути основал в Полоцке монастырь Иоанна Крестителя, где умер и был похоронен. Основываясь на том немногом, что известно о Торвальде Страннике, Ауртни Бергманн дает свою версию его полной приключений жизни и реконструирует события второй половины X века в форме романа, что придает его книге особую притягательность.



Ауртни Бергманн — писатель, философ, филолог-русист, переводчик на исландский язык «Слова о полку Игореве» и других произведений русской литературы.

ISBN 978-5-91678-275-2

